ОЛЬГА КАВЕЦКАЯ

VIA CRUCIS

ЖИЗНЬ ТОМАСА ЭДВАРДА ЛОУРЕНСА

ТОМ I

Ольга Кавецкая

VIA CRUCIS:

ЖИЗНЬ ТОМАСА ЭДВАРДА ЛОУРЕНСА

ТОМ I

2018

Ольга Кавецкая, «Via Crucis: жизнь Томаса Эдварда Лоуренса». Том первый

[Olga Kawecka, *Via Crucis: the Life of Thomas Edward Lawrence*. Volume I]

Published in the USA by Createspace (www.createspace.com)

Томас Эдвард Лоуренс – кто он? Писатель? Военный? Ученый? Все сразу и в то же время – ни одно сполна. Сполна он был человеком, и значение его как исторической личности – «в природе его существа». Показать эту природу и является задачей автора. Освобождая его личность от наращений легенд, автор старается явить читателю настоящего Лоуренса, основной чертой характера и жизни которого была человечность.

ISBN-13: 978-1729552056

ISBN-10: 1729552056

© Ольга Кавецкая, текст, оформление, макет, 2018 г.

Томас Эдвард Лоуренс в 1918 году

Успех Лоуренса «в природе его существа, а не в том, что он мог сделать».

В. Ричардс

The note of the author

I was writing this book for a year and a half, intending to publish it for Russian readers. When my work was almost finished, a new Russian law made impossible to bring it to readers there. I decided to publish the book for foreign libraries to preserve it.

The preface is translated into English in order to give an idea of the book.

2018

PREFACE

Lawrence – who was he? Was he a writer? Or a soldier? Or a scholar? He was all of them, but, at the same time, none of them completely. Completely was he a man, and his importance as a historical figure consists in "the nature of his being." In order to understand his complex and deep nature, the reader must understand one of his qualities – the most personal quality that defines his essence – the ability to love and be someone's friend. This is the key to his way of thinking and the logic of his actions.

He was not understood by his contemporaries, and remains misunderstood today. His true self was ignored by those literary adventurers who tried to write about him; and in place of his personality there exists a myth created in his time and elaborated by lovers of mystery afterwards. The purpose of this book is to free Lawrence of Arabia from fabrication and to show a *person*.

"In order to read a book rightly, one must re-write it together with the author," the great Russian writer Dmitry Merezhkovsky said. This biography was destined to such a reader. I am writing "was," for only during creation there is a subconscious confidence that one's word will be heard: solely this gives meaning to one's work. When a book is finished, that blissful self-deception disappears. To publish a book is just the same as to throw a bottle into a sea: will it be found by the one whom it is destined to?

Author

November 25, 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

Лоуренс – кто он? Писатель? Военный? Ученый? Все сразу и в то же время – ни одно сполна. Сполна он был человеком, и его значение как исторической личности – «в природе его существа». Для того чтобы понять эту сложную и глубокую природу, необходимо понять одно его качество, самое личное, но определяющее всю сущность: его способность любить. В этом – ключ к его образу мыслей и логике действий.

Он не был так понят при жизни и остается непонятым ныне. Его чуткое «я» оставлено в небрежении теми авантюристами от литературы, что пытались проследить его земной путь, и вместо личности представлена лишь химера, зародившаяся еще в его время и доработанная позднее любителями загадок. Поэтому цель данной книги – освободить имя Лоуренса от домыслов и явить читателю человека.

«Для того чтобы прочесть книгу как следует, ее надо написать заново вместе с автором», – утверждал Д.С. Мережковский. Именно для такого читателя предназначалась эта биография. Я говорю «предназначалась» оттого, что только в процессе написания присутствует подсознательная уверенность в том, что наше слово будет услышано: это и является осмыслением работы. По завершении же благодатный самообман исчезает. Издавать книгу – все равно, что бросать бутылку в море: найдет ли ее тот, ради кого она создавалась?

Автор

25 ноября 2012 г.

ЧАСТЬ I

1888 – 1910

Глава I

Семья Лоуренса и ее особенность. – Проклятие продолжения рода. – Отношения Лоуренса с родителями. – Отношения с братьями.

Происхождение Томаса Эдварда Лоуренса было не совсем обычным для того времени.

Его отец, сэр Томас Роберт Тайф Чэпмен (6/XI-1846 – 8/IV-1919), был зажиточным англо-ирландским землевладельцем, последним – седьмым – из баронетов Чэпменов замка Киллуа в Ирландии. Он был вторым из трех сыновей Уильяма Чэпмена (1811-1889) и его жены Луизы, дочери полковника Артура Ванситтарта (1775-1829) из Шоттесбрука. Уильям Чэпмен обладал значительным состоянием и занимал должность верховного шерифа графства Уэстмитч. Томас Чэпмен получил образование в Этон Колледже и жил в отцовском имении Саудз Хилл близ Делвина (графство Уэстмитч), обладая землей в сто семьдесят акров.

Этот род принадлежал к аристократическому сословию, и на протяжении поколений его представители заключали браки с членами равных семей из Ирландии и Англии. В жены Томасу Чэпмену была выбрана Эдит Сара Гамильтон – девушка строгих правил, сдержанная и благочестивая. Они обвенчались 24 июля 1873 года. У них родились четыре дочери: Ева Джейн Луиза (1874), Роуз Изабель (1878), Флоренс Лайвия (1880) и Мэйбел Сесил

(1881). Семейный уклад был истинно англиканским – упорядоченным и размеренным, с обязательными посещениями церкви по воскресеньям. Для Чэпмена, обладавшего весьма бурным нравом, а со временем еще и пристрастившегося к крепким напиткам, такой образ жизни представлялся скучным. Поэтому словно потоком свежего воздуха оказалось для него появление в доме в 1879 году восемнадцатилетней гувернантки Сары Лоуренс.

Сара родилась 31 августа 1861 года в Сандерлэнде, графство Дарэм. Она была незаконнорожденной дочерью Элизабет Джаннер, служанки в доме некоего Томаса Лоуренса, сын которого, Джон Лоуренс, и стал, по всей видимости, отцом Сары. Мать покинула ее, когда та была еще совсем ребенком, и ее взял на воспитание англиканский священник, живший на Айлэнд-оф-Скай. Воспринятое у него клерикальное христианство стало основой ее личности – личности сильной и властной, в отличие от тихой Эдит.

У эсквайра и гувернантки вскоре возник роман. В 1885 году беременная Сара покинула дом своего хозяина и переехала в Дублин, где Чэпмен нашел для нее жилище. В декабре родился их первенец Монтаг Роберт. Через пару лет двойной жизни Чэпмен спросил жену о разводе (возможно, по настоянию Сары), но не получил согласия. Оставив ее, он присоединился к Саре.

В конце 1887 года пара переехала из Ирландии в Северный Уэльс – уже как мистер и миссис Лоуренс. Они поселились в деревне Тремадог, и там 15 августа 1888 года родился Томас Эдвард.

Затем снова последовали переезды: в Киркадбрайт на побережье Западной Шотландии, Динар в Бретани, Айсл-оф-Уайт, Джерси. Семья стремилась выбрать место, где не было бы известно положение Чэпмена и никто не мог бы его узнать. За это время родились еще два сына – Уильям

Джордж (10 декабря 1889, Киркадбрайт) и Фрэнк Эльер (7 февраля 1893, Джерси). Потом – переселение в Фоули на побережье Саутгемптон-Уотер и, наконец, в сентябре 1896, – Оксфорд, Полстид-Роуд, 2. Здесь они имели возможность дать своим сыновьям хорошее образование. В 1900 году родился последний сын, Арнольд Уолтер. Всего детей было девять, но трое сыновей умерли в младенчестве и одна дочь – в чуть более старшем возрасте.

Осознание незаконнорожденности мучило Томаса всю жизнь и открыло ему неприглядную сущность деторождения. «Я ненавижу эту животную сторону и испытываю к ней отвращение»,[1] – признавался он в письмах. «Как вы можете с удовольствием смотреть на детей – воплощение вашей похоти?» – спрашивал он у одного из арабов. Инстинкт во всех проявлениях вызывал его неприятие: «Для меня свойственно не доверять началу, что коренится в нашей животной природе»,[2] – но более всего (и обоснованно) ему стал неприятен инстинкт репродуктивный, сводящий мужчину и женщину в судорогах продолжения рода, чтобы ребенок, «как кровавый червь», выполз из раздираемого тела матери в «убожество этого мира». Он находил отвратительным позыв (с гордой стыдливостью именуемый «любовью»), соединение, рождение – всю ту плотскую цепь, что роднит человека с животным, вскрывая нечеловеческую природу в действии плоти – нечистом вместилище бессознательных побуждений. Бездумный зов порождает мыслящее существо, которому предназначены муки жизни. «Та, которая убивает, – та, что носит, что носит...»[3] Вот это *причинение страдания* и было невыносимо для Томаса. Сколько раз, должно быть, он мысленно вопрошал, задумываются ли об этих муках те, кто с такой готовностью поддается влечению плоти ради «неги-

гиеничного удовольствия» и производит – бездумно, как зверь, – новую несчастную жизнь.

Сколько раз он, должно быть, мысленно обращал этот непроизносимый вопрос к своим родителям. У отца уже были дети, у матери – свое будущее. Зачем стоило создавать этот союз и обрекать на мучения новых существ? «Зачем?» – так в нестерпимой боли существования возникает этот вопрос к родителям – виновникам страдания. Это кажется кощунственным, но на ком, как не на них лежит вина за безмыслие – проявление животной природы человека?

«Лучше не быть рожденным, чем быть им»,[4] – говорится в одной древней книге. Обречение новой жизни на страдания – вот, в чем греховность вожделения и проклятие рода человеческого. Лоуренс писал о своей матери, вспоминая отношения с ней и свое детство: «Знание ее всегда будет оберегать меня от того, чтобы делать какую-либо женщину матерью и порождать детей».[5] Эти слова звучат, как отголосок давней клятвы: «Никогда не заведу детей, чтобы они не мучились, как я». Такие клятвы даются за дверями детской в неуютном доме и не нарушаются, ибо детская память крепка.

Для чужих же глаз семья Лоуренсов, живущая уединенно и степенно, являла собой образец прочности и порядка, и их соседи даже не подозревали об имевшемся на ней «клейме», из-за которого Сара всю жизнь ощущала себя виновной перед Богом и горько раскаивалась, а ее глубоко чувствовавший сын Томас так мучился осознанием незаконности – роковой случайности – своего болезненного существования. «Мне жаль, что я был рожден. Думаю, я буду рад, когда уйду»,[6] – признавался он в 1924 году в одном из писем и там же писал в ответ на неловко предложенную тему о деторождении: «Здесь я на опасной почве: моя собственная боль снова оживает». И из этой

боли прорывался криком распятого со креста страшный вопрос: «Зачем?!.» Зачем ты вбросил меня в этот мир?.. Именно эта боль стала основанием гомосексуальности Лоуренса – дара, данного за страдание. Так же даются и творческие таланты – в утешение и награду. Страдание оказывается благословением.

Кроме атмосферы виновности, в семье был неестественный перекос: властная, своевольная мать и мягкий, покорный отец. «Отец был широкой души человек: терпимый, опытный, важный, безрассудный, с чувством юмора, даром красноречия и от природы наделенный чертами лорда. Он 35 лет прожил более свободной жизнью и был расточительным джентльменом, лихим наездником и пьяницей»,[7] – так охарактеризовал его Томас. «Моя мать стала "виновной" (по ее мнению) в том, что увела моего отца у его жены, – продолжает он, – и для того, чтобы оправдать себя, она переделала его, превратив в трезвенника и доброго семьянина, тщательно берегущего каждый грош. Нас было пятеро детей, и никогда не бывало более чем 400 фунтов стерлингов в год. И такая гордость в отсутствии приобретений, и такая гордость в экономии, что нельзя вообразить. Отец, чтобы жить с моей матерью, должен был оставить всю свою прежнюю жизнь и всех друзей. Она же силой воли подняла себя до того, чтобы стать его спутницей. Социальные вещи много значили для него, но они никогда не ходили вместе ни в гости, ни на приемы. Они всегда считали, что живут во грехе. [...] Я знал о положении вещей до десяти лет, хотя они никогда не говорили мне об этом. Только после смерти отца нечто, сказанное мною, показало матери, что я знаю и не беспокоюсь».

Семейную проблему скрывали – в напрасной попытке

утаить от детей то, что они понимают очень рано. Кажется, что ребенка легко обмануть, убедив, будто все хорошо, именно так, как и должно быть, и он станет жить в безоблачном неведении. Но это самообман: еще несознательное существо, понимающее безошибочным чувством, видит все трещины, – только родители не видят его слез. «Не беспокоюсь», – как взрослый Лоуренс дал понять матери, так же он мог бы уверить ее и в детстве, чтобы скрыть боль, которая кажется стыдной и невыразимой. Стыд страдания: чем оно сильнее, тем глубже молчание. Сказать – словно показать свою рану. Так, не родители скрывают от ребенка свои беды, – ребенок от них свой отзыв. И тогда, когда они верят, что он счастлив от их спасительной лжи, он стоит у открытой пропасти и глотает слезы в недетской гордости страдания.

Несоответствие характеров родителей лишь усиливало напряжение домашней атмосферы. «Тот внутренний конфликт, который заставляет меня выдерживать гражданскую войну, – неизбежное следствие противоречащих природ ее [матери] и отца, а также тех вспышек силы и слабости, что последовали, когда их жизни и принципы были вырваны с корнем. *Они не должны были рождать детей* [курсив мой – *О.К.*]».[8]

У Томаса были трудные отношения с матерью. Сара желала воспитать сыновей по собственному образцу и создавала их под своим неусыпным надзором. Роберт полностью попал под ее влияние, Фрэнк и Уильям были открыты для нее и переняли основу ее мировоззрения – сведенное к форме христианство. Только Арнольд и Томас избрали собственный путь. Но, если Арнольд вырвался из-под духовного гнета будучи взрослым, то его брат отстранился еще в детские годы, с удивительной самостоятельностью

оберегая от матери свое иное «я». Доверительности с нею у него не сложилось никогда: «Она столь утверждена, столь уверена в своих суждениях. Думаю, она “утвердилась” много лет назад – возможно, до моего рождения. У меня ужас оттого, что она может что-то узнать о моих чувствах, убеждениях или образе жизни. Если бы она узнала, они оказались бы повреждены, нарушены и больше не были бы моими»,[9] – писал Томас в 1927 году. Такой ужас (продолжавшийся всю жизнь!) мог вселить не столько постоянный контроль в детстве как таковой, сколько один-единственный провал. Томас был по-особенному чуток, видел и воспринимал вещи намного глубже, чем другие люди. Эта глубина неизбежно сопряжена с ранимостью, ибо каждая откровенность тогда становится откровением, приобщением к тайне своего видения. Достаточно одного неосторожного слова, одного неловкого движения, чтобы разрушить это таинство. Ранящий не осознает, какой удар наносит, ибо он не видит под тем же углом, не следует тем же ходом мысли. Его нечаянный удар – вслепую. Но его, непреднамеренного, довольно, чтобы оттолкнуть навсегда. Так между родителем и ребенком образуется непреодолимая преграда. Причем родитель может даже не догадываться о ее существовании и, видя лишь часть, полагать, что знает всю духовную жизнь своего ребенка. А тот впредь будет взвешивать каждое слово и открывать только нечто поверхностное, нейтральное, мало значащее для него. Все сильные, истинные движения будут проходить невидимым глубинным потоком, и к этим глубинам он уже не подпустит, чтобы вновь не пережить мучительного стыда, не почувствовать боли от разрушенной интимности своей словно оскверненной тайны.

Вполне возможно, что Сара однажды нанесла подобный удар юному Томасу, вселив в него ужас перед повто-

рением. И он замкнулся от нее в мучительное, неестественное уединение, ибо что может быть тяжелее для ребенка, чем недоверие к собственной матери? Таковым оказался первый опыт одиночества. С тех пор в растущей душе стали бороться два противоположных стремления: сильное и осмысленное желание оградить свои мысли и чувства от чужого (*чужого!..*) вторжения и желание – столь естественное – поделиться ими. Первое взяло верх.

Томас никогда не открывал матери то, что было ему дорого. В письмах к ней, написанных и в юности, и в зрелости, нельзя найти ничего, кроме внешних деталей повседневности и сдержанных суждений – ничего, кроме поверхности. Немного о книгах (и то не о всякой), немного о погоде, немного о делах: нигде не встречается сильное переживание, нигде не раскрывается его глубина. Сознательное и болезненное отчуждение.

Так родная мать нанесла сыну незаживающую рану, подтвердив страшную истину: самые чужие люди – родные, ибо узы крови связывают тех, кто без этого не был бы соединен ничем. «Враги человеку домашние его»: этой библейской горечью обдало душу Томаса на всю жизнь.

Потерпев неудачу в семье, он стал ожидать понимания и принятия от чужих. Лишь однажды ему удалось обрести это, – чтобы потерять... Неудачи же повторялись, породив новый страх – перед откровенностью с возможными друзьями. «Боюсь открываться, чтобы не потерпеть поражения в столь важной попытке», – признавался он в «Семи столпах мудрости». «Неприятно открываться», – замечал в 1919 году, дав краткий ответ о причинах своего участия в Арабском восстании одному поинтересовавшемуся человеку.

Лет до тридцати пяти – тридцати семи желание открыться все же прорывалось: это можно увидеть в письмах к Э.Т. Лидсу, В. Ричардсу, Л. Кертису, Ш. Шоу. Но и

эти столь человеческие движения сдерживались – сознательно, из того же опасения вновь оказаться «вне чьей-либо глубины» и почувствовать стыд за неуместную приотворенность своей души.

Лоуренс не имел равных, и это не похвала, но констатация одиночества. «По природе, воспитанию и обстановке я сложен»,[10] – и незауряден: по своей глубине, многосторонности, мировоззрению, образу жизни. А незаурядность – залог одиночества.

Сара, однако, желала знать все, что происходило в душе независимого сына, дабы он ни в чем не отклонился от *ее* пути, и Томас ощущал ее постоянный натиск. «Она вселила в меня ужас перед семьей и расспросами».[11] Непрерывное напряжение, невозможность расслабиться там, где должна спадать всякая ноша, – дома!.. Детство Томаса не было счастливым. Но именно это несчастье и начало создавать его характер, его необычайную волю и независимость суждения, его своеобразие, определению которого способствовали его многоразличные самостоятельные занятия и штудии. Слишком часто талант происходит от некоей раны – как награда за нее. *Тяжелая* награда.

«Теперь, когда два моих брата мертвы, – писал Томас в 1927 году, – а Арни (младший) и я оставили ее, избегать ее – наше первое правило существования. Что касается моего старшего брата, то он едва ли ее равный или естественный спутник. Это страшное положение для нее, но я не вижу альтернативы. Пока она остается собой, и я остаюсь собой, так должно быть».[12]

Сама того не желая, Сара причинила страдание и сыновьям, и себе. Это было неизбежно при ее нетерпимости к «инакомыслию» в семье, при неспособности предоставить *необходимую* свободу взрослеющим детям и увидеть лич-

ность в них уже взрослых. Она хотела видеть в них только себя.

«Она делает Арни и меня глубоко несчастными. Мы столь беспомощны: мы чувствуем, что не должны причинять другому человеческому существу боль, которую она причиняет нам своими невозможными требованиями, но мы причиняем боль ей, потому что не можем в своих письмах обращать свою любовь, как кран, на нее».[13]

Если бы не разрушающая тирания матери, детство Томаса и его братьев было бы много счастливее. Сила этой женщины превратилась в своеволие, омрачившее жизнь как ее самой, так и ее семьи. Однако лишая своих детей независимости, Сара невольно научила Томаса ценить чужую свободу.

Священной стала для него личная свобода человека, этот основной дар Божий, благодаря которому (а также творческой способности) человек и является подобием своего Создателя. Посягательство же на этот дар – нанесение обиды Самому Творцу. «Для Лоуренса даже ребенок был независимой личностью, а не “эхом своих родителей,” писал В. Ричардс. – Никто не должен оскорблять – внутреннее “я” другого – того “Бога в человеке,” как Джордж Фокс называл это. Будь то турок, притеснявший и порабощавший араба, или офицер, стремившийся страхом обязать новобранца к подчинению, – это было нестерпимо. “Я заставлю его сердце кровоточить,” – сказал при Лоуренсе один свирепый сержант. И Лоуренс, сам новобранец, принял меры, чтобы замысел сержанта не удался. Сердце человека не должно страдать, если он мог помочь этому, и дух его не должен быть принуждаем сдаться, как был однажды его собственный».[14] Человечность рождается в страдании.

Домашний неуют заставил Лоуренса искать некоего убежища, где он мог бы чувствовать себя в безопасности, и это желание защищенности и спокойствия длилось всю его жизнь. В юные годы оно вызвало любовь к замкам: их неприступность и надежность давали ему эквивалент покоя, которого он был лишен дома. Он создал и «внутренний замок»: свое «я». «*Цитадель* моей целостности», – говорит он в «Семи столпах мудрости». Постоянный натиск в семье заставил его воспринимать свою личность, как осаждаемую крепость.

Но ни полуразрушенные стены старинных замков, ни вынужденные и тягостные – собственной души не приносили ему полного успокоения. Чувствовать себя в безопасности – это желание будет удовлетворено лишь однажды - и не за прочными стенами, а в ласковых объятиях любимого. Потребность в защите, в ком-то более сильном рядом – эта особенность его пассивной гомосексуальности была усилена изнурительной осадой, пережитой в детстве. Он желал, чтобы его защищала чья-то любовь, в ответ на которую он мог бы раскрыться сполна.

Что же касается отношений юного Томаса с отцом, то, если они и не были полностью доверительными и гармоничными, отец, по крайней мере, не отдалял его от себя и принимал определенное участие в его жизни – как и в жизни остальных сыновей. В частности, он передал ему свои увлечения фотографией, церковной архитектурой, ездой на велосипеде, а в 1905 году предпринял с ним небольшое путешествие по Англии, чтобы осмотреть замки и храмы. Он любил уделять время своим детям, но его влияние на них было гораздо меньшим, чем то, что оказывала Сара.

Томас был заботливым братом. В детстве он трогате-

льно опекал маленького Арни, окружая его любовью, словно добрая нянька, и даже катал его в коляске. Но ближе всех ему был Уильям. Их объединяли увлечение литературой и чувство прекрасного – та удивительная зоркость души, что проницает поверхность вещей и видит вечную сущность – Божий замысел.

В Уильяме также сочеталась красота духовная с телесной, как будто сильная и весьма чуткая душа отображалась в его облике. «Грация присутствовала во всех его действиях и во всей работе его разума. ... Он, казалось, ... обладал совершенством даров природы: красота разума, соединенная с красотой тела, – и все освещено любящим духом теплоты: так, что его присутствие было благословением и поводом воздать благодарность Богу за то, что он создал человека таким образом. Поэтому говорить о нем означает, возможно, идеализировать его, но мы можем идеализировать лишь то, что подразумевает идеал, а он, по крайней мере, имел большую принадлежность к этому, чем многие из людей»,[15] – писал его друг Эрнест Баркер.

Уильям окончил Колледж св. Иоанна в Оксфорде и с осени 1913 года до весны 1915-го блестяще преподавал историю в Колледже св. Стефана в Дели. Он был религиозен – согласно образцу своей матери, как уже отмечалось, и в этом его отличие от Томаса, у которого был более трудный духовный путь, что привел его к собственной вере.

Это было не единственным различием братьев. Они по-разному относились к своей семье: насколько Уильям был привязан к ней, настолько же Томас – отстранен. Уильям, когда путешествовал во время каникул по Франции и когда позднее жил в Индии, тосковал по родным и стремился домой. Томасу подобные чувства были незнакомы. Для первого дом был убежищем, для второго – про-

странством напряжения и неуюта.

Уильям был неистовым патриотом, тогда как его брат не ощущал духовной связи с Англией, в которой, по его собственному признанию, любил только природу.

Различались они и в интересах: Томас презирал спорт, а Уильям не увлекался архитектурой. В самой любви к чтению они не были равны: Томас мог читать даже на верблюде – книги являлись для него необходимостью, тогда как для его брата они нередко имели альтернативу, будь то физическая активность или сладкое «ничегонеделание».

В Индии Уильям с удовольствием ходил на охоту – без потребности в ней, лишь оттого, что находил это хорошим отдыхом, и, случалось, забавлялся отстрелом ястребов... Томас, уже в 1923 году, едва не разбился на мотоцикле, резко свернув в сторону, чтобы не сбить выпорхнувшую навстречу птицу. При этом он вовсе не испытывал любви к животному миру, но, поскольку и в нем есть жизнь, она должна быть сохранена.

Томас отличался большей строгостью к себе в том, что касалось сна, пищи, работы. Так, например, в Кархемише он спал около пяти часов. Если имелась необходимость, он мог бодрствовать сутками – таков был результат его упражнений. Для Уильяма отход ко сну в час ночи при подъеме в семь был событием чрезвычайным. В питании Томас был крайне воздержанным, тогда как Уильям находил вкус в пище – хотя и в разумных пределах. То же и в работе: для одного пятнадцать часов занятий, включавшие раскопки и домашние дела, были только занятым днем – без упоминания об усталости, а для другого несколько часов лекций в Колледже и один-два часа индивидуальных занятий (не каждый день) казались перегрузкой.

Уильям был общителен. Например, во время пребы-

вания в Индии он вел обширную переписку со своими английскими друзьями и знакомыми, тогда как Томас писал из Сирии в Англию только к В. Ричардсу, Э.Т. Лидсу, Д.Дж. Хогарту (по работе) и очень редко – к Ч.Ф. Бэллу: столь широким кругом знакомств он не обладал. Он всегда держался в стороне и был одинок в любом обществе, ибо был сложен.

Но самое главное то, что Уильям в отличие от Томаса не был гомосексуалистом. Только одно это могло бы воспрепятствовать полному взаимопониманию братьев. Они могли быть близки в детстве и в ранней юности, но по мере становления личности неизбежно должны были отдалиться друг от друга. Их привязанность являлась не абсолютной, но только сравнительной: остальные члены семьи были для Томаса более чуждыми.

Есть стихотворение Уильяма, посвященное Томасу, где отчасти выражено его отношение к нему:

Т.Э.Л.

И с советниками, и с лордами говорил я уже,
Чьи слова казались острее ножей;
Видел двух императоров и пять королей
И троих, что имели преклоненье людей;
И с восточными всадниками летел на ветру;
И сидел с мудрецами на их пышном пиру;
И знал неких властителей судеб своих,
Кому годы стлались цветочным ковром.
Но даже теперь в мыслях длится одно:
Нет столь великого места, чтоб не стало твоим.

18 февраля 1914 г.

Он ценил Томаса, видел его незаурядность, желал, что-

бы тот однажды приобрел известность. А тот, в свою очередь, находил в общении с Уильямом некоторое отдохновение среди своего осажденного существования. «Сказать друг другу все, что возможно» они едва ли могли.

Томас был уважительным сыном и заботливым братом, но теплоты и доверительности в отношениях с родными он не знал. Он был отдален от семьи, отделен своим особым, тщательно оберегаемым внутренним миром. Даже дома он был одинок.

Глава II

Аскетизм. – Быт Лоуренса. – Привычки: питание, сон, внешний вид. – Отношение к деньгам. – Отношение к власти, почестям и славе.

Лоуренс был аскетом – человеком духа, чувствовавшим пульс бытия под грубой коркой существования. Для того чтобы ощутить это живительное биение, потребовались упорные упражнения.

Благодаря сильной воле, созданию которой способствовали сами условия его существования в детстве, он в юношеские годы сумел установить над собой жесткий контроль и занялся самовоспитанием, целью которого являлось преодоление плоти. Он приучал себя обходиться подолгу без еды, воды, сна, мириться с неудобствами и терпеть боль. Изнуряя тело, он укреплял дух, в чем и заключается смысл известного монашеского «умерщвления плоти» – понятия, полностью подходящего к данному случаю. Таким образом выработанные привычки, несгибае-

мость воли и система ценностей остались с ним на всю жизнь и помогли выжить в гибельных условиях – не только физически, но, что важнее, духовно. И именно этими упражнениями он воспитал ту внутреннюю зоркость, что позволяет отличать истинное от ложного – видеть мироздание в его сущности.

Этот мир двойственен: под материальной преходящей поверхностью, к которой примыкает большинство, существует духовный бытийственный обертон, открытый зрячим единицам. Следовать ему и означает жить. Этот путь невозможен без отречения от тела, соединяющего с материей. Плоть и дух не могут существовать на равных: что-то неизбежно должно преобладать. Потворство телу – половое сладострастие, бытовое роскошество, избыток пищи и сна, леность – расслабляет душу, лишая ее силы и жизни. «Следи, чтобы чрево твое не заглушило твой дух», – предупреждал в VI веке св. Колумбан. «Праздность – враг души», – утверждал св.Бенедикт. Жизнь тела – смерть духа.

Плоть дается во испытание, как возможность в ее преодолении укрепить свою душу. Это укрепление души и ее воли подразумевает отказ от лишнего в пользу необходимого, от материального в пользу духовного, от смерти в пользу жизни. Живо лишь то, что духовно, и жив лишь тот, кто следует духу.

Но отказ от так называемых «жизненных благ» – орудий духовного изничтожения – только внешняя сторона аскезы. Сущность ее – в жизни духа, которой этот отказ способствует. Отказаться от лишнего и ложного, чтобы увидеть необходимое и истинное. Увидеть и начать жить.

Держащиеся материального – уже мертвецы, ибо их душа пребывает словно в смертельном сне в отмеренное для ее работы время. Смысл земной жизни – в создании себя для жизни будущей: что здесь сделаем и возьмем, то и пребудет с нами и нами в вечном бытии. Но что спо-

собен создать спящий? Так бессмертная душа уничтожается при жизни.

Тот же, кто отрекается от плотского и материального, что тленностью своей, как трупным ядом, заражает и убивает душу, преодолевает саму смерть, ибо она – лишь переход, и он возможен только для *живой, действенной* души. Не смерть страшна, но духовная гибель – от преизбыточества и бездействия.

Средневековые монахи вглядывались в глазницы черепов, пытаясь рассмотреть в них бренность мира. С еще большей ясностью его можно увидеть в пустых глазах тех, кто погряз в плотскости: вот, где ужас конца. Сегодня ублажаемое тело, а завтра – смрадная гниль. Сегодня «богатство», а завтра – ничто. Тело изначально мертво в своей обреченности, и из этого мира в тот не забрать с собой ни крупицы. Это «ни крупицы» должно прийти однажды, как прозрение, тогда жизнь и откроется в своей сути, тогда и начнется бесконечное бытие души.

Как для Савла на пути в Дамаск вспыхнул свет, так к Лоуренсу в какой-то момент пришло это животворящее – жизнь творящее – откровение, а вместе с ним – презрение к мнимым благам, ложному блеску, животным удовольствиям, то презрение, что стало зрением души на всю его жизнь. Пришло и побудило к аскетическим упражнениям его юности, что развили способность наслаждаться истинными благами, получая настоящее удовольствие, и дали возможность не существовать, но жить – даже в боли. Вера, братство, красота искусства – единственное богатство этой жизни, которое открывается только зрению живой души. Такой была душа Лоуренса.

Быт Лоуренса отображал его аскетизм. В его жилищах – временных пристанищах – не было никаких излишеств:

для него были важны только чистота и простота.

В Оксфорде он жил поначалу в общей с братьями комнате, но в 1908 году, когда стало неудобно жить и заниматься вместе, для Томаса, искавшего уединения и покоя, был построен в саду небольшой уютный домик, состоявший из «полутора» комнат. В полной он занимался, в половинной спал. Там были камин, электричество, вода и телефон к дому. Стены он обил зеленой материей, чтобы приглушить доносившиеся с улицы шумы. Этот домик напоминал обитель отшельника: свободный от мебели, с пустыми стенами, только бронзовый слепок с греческой скульптуры Гипноса на подоконнике да еще несколько небольших вещичек. «Сам Лоуренс был счастливейшим человеком, когда располагался на полу около огня, отсветы которого падали на его раскрытую книгу и на те немногие сияющие бронзовые изделия, которые там были»,[1] – писал В. Ричардс. «Незагроможденная жизнь» назвал он эту простоту.

Столь же безыскусной была обстановка жилища Лоуренса в Клаудз Хилл (Дорсет), которое он приобрел в 1923 году. То был маленький белый домик, восстановленный им почти из руин.

На «первом этаже» располагалась его обширная библиотека: все стены были закрыты книжными полками. Посреди комнаты стояла поражающе огромная кровать – для приемов... На «втором этаже», то есть переоборудованном чердаке, была музыкальная комната: в углу граммофон («Ginn», лучший по тем временам), у окна – письменный стол и в центре, под окном в крыше, – диванчик.

Такая скромность обстановки, вместе с чистотой и атмосферой покоя, означала для Лоуренса тот уют, который он любил, но наслаждаться которым мог столь редко в своей бесприютной жизни. Даже простота была для него роскошью.

Лоуренс был крайне умеренным и в еде. Ему было достаточно одного блюда в день, причем самого простого. Мясо он не употреблял вовсе: «Отвращение к виду, ощущению и запаху свежего мяса сделало меня почти вегетарианцем».[2] В студенческие годы, путешествуя по Франции, он питался молоком и фруктами, иногда с добавлением хлеба и жил на несколько пенсов в день.

Его друг Э.Т. Лидс вспоминал, как в начале ноября 1910 года тот зашел к нему около трех часов дня. «Удивленный его появлением, я спросил:

– Откуда ты выскочил?

– Из Франции, – ответил он.

– Но когда? – поинтересовался я.

– О, я прошлым вечером добрался до Ньюхейвена.

Рассчитав время, я с трудом мог представить, как он проехал поездом столь быстро, и так и сказал.

– Да нет, я ехал на велосипеде.

Еще более пораженный, я заметил:

– Но ведь у тебя даже не было времени позавтракать.

– Позавтракать! – повторил он. – Я никогда не езжу на полный желудок: это большая ошибка».

Иногда Лоуренс мог вовсе забыть о пище – как, например, во время работы над «Семью столпами мудрости». «Я взял за правило избегать правил в питании».[3] И«страшным» же признаком показалось ему некое изменение в образе жизни, о чем он сообщал в одном письме из Индии, когда ему было около сорока лет: «Впервые задумался о еде. Должно быть, старею».

Не злоупотреблял он и сном. В годы учебы в университете бодрствовал по ночам и спал днем около шести часов: такого распорядка требовали его самостоятельные занятия. Иногда он пренебрегал и отдыхом.

Эта способность «мало» есть (столько, сколько нужно

для поддержания сил) и мало спать, выработанная в юности и ставшая обыденностью, пригодилась ему в Аравии, где иногда не было иной пищи, кроме незрелых фиников, и порой приходилось бодрствовать в продолжение четырех-пяти суток. За «годы самоконтроля»[4] и аскетических упражнений Лоуренс «привык к отсутствию привычки вообще»[5] и так открыл в себе огромные возможности.

Лоуренс никогда не курил и не употреблял спиртного. Однажды, в 1909 году, он по ошибке отпил брэнди и тут же с отвращением выплюнул: «Какие же люди ослы, что пьют такое».[6]

Он был непритязателен в одежде: внешний вид для него, как для многих глубоких личностей, не имел значения. Самым важным во внешнем виде являлась чистота – и одежды, и тела. Он регулярно брился (даже в пустыне) и мылся так часто, как только мог. Так, во время службы в авиации, в Крэнвелле, принимал ванну каждое утро. Зимой 1912 года был на раскопках в Египте. Оттуда писал домой: «У меня все довольно хорошо, только очень грязный. В этом лагере моются всего дважды в неделю».

Что касается материальных средств, то по меркам Лоуренса они не должны были переходить границ необходимого для существования и приобретения книг и пластинок – его сокровищ. Так, заступая в 1921 году на пост политического советника в Министерстве по делам колоний, он запросил у возглавлявшего Министерство У. Черчилля вознаграждение столь малое, что тот был удивлен: ему еще никто не называл подобной суммы.

Лоуренс не желал извлекать выгоду и из своей книги «Семь столпов мудрости». Основной причиной было нежелание «зарабатывать на крови своих друзей и врагов», но и отношение к деньгам, как к чему-то нечистому, тоже

оказало здесь свое влияние.

В конце 20-х он одно время писал рецензии на книги – под чужим именем и бесплатно. Вся выгода заключалась в том, что это позволяло ему получать экземпляры данных произведений.

Одной из причин зачисления в армию было желание «вновь познать бедность, чтобы очиститься после периода пользования деньгами» (на посту политического советника, получая 1600 фунтов в год).

«Есть вещи, о которых я забочусь больше, чем о деньгах»,[7] – писал он в одном из писем. И в другом месте: «Некоторая интуиция говорит мне, что люди, которые суетятся вокруг денег, находятся на ложном пути».[8]

Лоуренсу также «было известно об опасности для духа, которую таят в себе власть и высокие чины».[9] Христос бежал в пустыню, когда узнал, что его собираются сделать царем. Бежал от ложного величия, «чтобы заставить нас бояться его».[10] «Мой Спаситель не признавал на земле никакого другого возвеличения, кроме Креста»,[11] – говорит Боссюэ. Кроме *Креста* – «самого достойного положения, чтобы взглянуть на мир», по слову Лоуренса. Как Иисус – в пустыню, так Лоуренс после войны бежал в армию, чтобы, кроме прочего, оградить свою душу от гибельного блеска, унизительной власти и ложного величия.

Он не желал высоких постов, дабы не притеснять свободу других и вместе с этим не лишиться своей; дабы, проявляя власть над другими, не потерять ее над собой. Так, выполнив свой долг, он покинул должность политического советника и, какими бы заманчивыми ни были предложения ему, он не хотел принимать ничего и пошел служить рядовым, будучи в звании полковника.

Уход в армию был для него очищением через униже-

ние: «Самоунижение есть моя цель».[12] Армия представлялась ему «яркой вспышкой в Нитрийскую пустыню»,[13] где, пройдя через телесные и духовные страдания, возможно возродить дух. «Я хочу оставаться здесь, пока это не перестанет ранить меня»,[14] – чтобы дойти до предела, за которым начинается восхождение. «Много ли было монахов моего убеждения?»[15]. Его стремление к смирению и самоумалению было тем же, что возводило истинных монахов к вершине духовной чистоты. Одна цель в разных условиях: казарма – не тихая келья...

В этом самоунижении Лоуренса как очищении – абсолют его смирения и презрения к каким бы то ни было ложным отличиям и обманчивым возможностям возвыситься. Это самоумаление – чисто христианское действо: «Не считайте себя лучше других, хотя бы и грешников, но хуже всех»,[16] – учил Савонарола...

Лоуренс рано осознал сладость от принижения себя при *величии* собственной души: «Длилось послевкусие свободы от двух недель смирения, проведенных в юности в Порт Саиде, где днем я грузил уголь на пароходы вместе с другими изгнанниками с трех континентов, а ночью спал, свернувшись на волнорезе у Де Лессепс, рядом с которым вздымалось море».[17]

Унижая себя, Лоуренс себя возвышал: «Кто возвеличит себя, тот унизится, и кто унизит, тот возвеличится».[18]

Такое же презрение, как высокие должности и сопряженная с ними власть, вызывали у него и разного рода почести и награды. «Он отвергал почести и важность, чтобы они не извратили его внутреннего “я”».[19] Лоуренс, не желавший возвышаться над другими даже за счет своих дарований, как он мог бы принять искусственные знаки отличия, в которых видел не только клеймо за собст-

венные «бесчестные» (по его мнению) деяния в Аравии и после, но и манифестацию гордыни – смертельной опухоли человеческой природы? Это отвращение к ложному величию было характерно для него на протяжении всей жизни. Так, в юности он с неодобрением и тревогой относился к увлечению Уильяма спортом, поскольку видел в состязании опасность, способную нарушить чистоту души брата, предоставив ему возможность почувствовать себя лучшим в бессмысленном деле. Однажды Уильям одержал победу в соревновании по бегу и получил заслуженную награду. Томас написал после скупых слов поздравления: «Это стало для меня неожиданностью. Я думал, Вилли ... слишком занят более серьезными вещами».[20] И далее: «Это не принесет ему ни малейшей пользы для той работы, которой он намерен заниматься, – так же, как эти голубые значки и награды не принесли бы ее мне. За границей такие пустяки занимают свое должное место. И, знаете, большинство английских вещей являются такими пустяками. Мы называем себя великой державой и наших соседей великими державами – и проматываем свои деньги, ум и время на полный вздор. Германия увлечена вооружением, Англия – страховыми акциями, и обе – чепухой». Существовало ли опустошающее стремление к величию в микрокосме отдельного человека или в сложной системе государства, он видел в нем гибельную суету, которая в первом случае изничтожает личность, а во втором – разрушает мир, поскольку гордыня в масштабах государства слишком часто оказывается предпосылкой войны.

Он никогда ни в чем не соревновался с другими, а в детстве даже отказывался участвовать в играх: не только из-за легкости развлечения, но еще более оттого, что неравенство и притеснение другого за счет собственного «превосходства» было ему невыносимо. Состязался он

только с самим собой – в мучительном стремлении достичь совершенства в чем бы то ни было. Это желание, заставлявшее жить в непрерывном усилии, не отпускало его почти до конца, и лишь в последние несколько лет, потеряв надежду состояться в каком-либо деле, он примирился с собой. Так его смирение и самопринижение являлись еще и уважением к чужой личности и ее свободе.

Спаситель мира совершил вход в Иерусалим верхом на ослице и тем самым попрал мирские почести и величие. «Славы от людей не приемлю»,[21] – сказал Христос и более: «Прославь меня Ты, Отец».[22] Истинная слава – в Боге, тогда как слава мирская – только разрушающая волна. «О, тщеславие, – восклицал Боссюэ, – уговаривающее мое сердце прислушаться к твоей лести, я знаю опасность, которой ты хочешь подвергнуть меня. Ты хочешь обратить на меня взоры людей, чтобы отвратить от меня взор Божий. Ты изображаешь, что желаешь вознаградить меня, но только для того, чтобы лишить меня моей награды».[23] Почести ослепляют и делают человека рабом мирской молвы, отвращая от Бога и лишая человечности. И «так же, как для тела есть свое целомудрие, разрушаемое нескромностью, так же есть некая целостность души, что может быть нарушена похвалами».[24] Эту целостность души, ее чистоту и свободу Лоуренс и оберегал, отвергая ложный блеск мира сего, который слепит глаза столь многим, кто не может видеть глубже поверхности.

Глава III

Терпение в страдании. – Своя чужая боль. – Дар теплоты и безысходность одиночества.

Благодаря своей аскетической природе, Лоуренс проя-

влял необычайное терпение в страдании.

В 13 лет он во время игры на школьном дворе сломал ногу. Однако не только не подал виду, как ему больно, но даже дождался окончания уроков и самостоятельно добрался до дома. Позднее немало времени потребовалось для излечения повреждения, которое и спустя десяток лет напоминало о себе болью, возникавшей после длительной ходьбы.

В 1912 году он сломал два ребра. «Это были неважные ребра, – писал он домой, – всего лишь небольшие и ничтожные нижние. Я думаю, что в цивилизованных условиях мы не нуждаемся в них по-настоящему. В любом случае, они хорошо поправлены (одно срослось немного криво), и жаловаться не на что».[1]

Во время войны он получил девять ранений, в авиакатастрофах – переломы позвоночника и ребер, трещину в лопатке, а ключицы были повреждены столько раз, что стали узловатыми. Служба в армии тоже стоила ему сломанных ребер. (К слову можно сказать, что Лоуренс перенес также серьезные инфекционные заболевания: тиф, гемоглобинурийную лихорадку, дизентерию (в 1911 году в Сирии, после чего, не успев оправиться, предпринял поездку в Англию, и в 1917 в Аравии – не в постели, а во время трудных переходов на верблюде через пустыню). С 1908 года до конца жизни он страдал хронической малярией. При этом он отличался удивительной стойкостью к простуде).

И ничто не стоило того, чтобы жаловаться. А ведь Лоуренс панически боялся боли и всяческих повреждений: это было наваждением его детства, когда мать порола его, как и других сыновей, за провинности – или то, что считала таковыми. Но и этот *телесный* страх был со временем преодолен. Боль стала для Лоуренса не только терпимой, но в некоторых случаях даже доставляла опреде-

ленное наслаждение. В этой «радости страдать» – окончательная победа духа над плотью.

Не жаловался он и на духовные тяготы. Но в этом случае причина была уже не столько в его выдержке, сколько в отсутствии того, кому он мог бы поверить все. И он молчал в своем одиночестве. Страдание в одиночку – страдание вдвойне.

Но тогда как Лоуренс терпеливо переносил свою боль, чужая была для него невыносима. «Сердце человека не должно страдать», и он делал все, что мог, чтобы облегчить чью-либо муку. Облегчить боль другого – не в этом ли истинная сила? И не в сострадании ли суть человечности? Мы люди, пока сострадаем, и звери, когда бежим.

Не только утишить боль, но и предотвратить ее стремился Лоуренс. Однажды раненный в собственной семье и опасавшийся того, что его чувства могут оказаться повреждены грубым вторжением, он так же страшился потревожить чувства другого. Довольно одного примера: в Аравии, после очередного подрыва поезда, он отправил одного из арабов за верблюдами, чтобы погрузить на них взрыватели и поскорее покинуть место диверсии. Верблюдов он не дождался: слишком велика оказалась радость того от добычи. Казалось бы, суровый выговор в дальнейшем был бы уместен, однако Лоуренс ограничился лишь *мягким* упреком: подавлять кого-либо было для него немыслимо.

Лоуренс отличался редкостной чуткостью и умением воспринимать человека «изнутри» – тем качеством, которое называется эмпатия – вчувствование. Эта способность объяснялась его силой самоанализа (знание себя помогает понимать других) и внутренней зоркостью, открытой страданием. Страданием одиночества, которое единственно

позволяет осознать ценность и человеческих взаимоотношений, и самого человека, являющегося смыслом мира и необходимостью в жизни. Можно достичь успеха в своем деле, окружить себя самым прекрасным, что только существует, но без близкого человека счастье никогда не будет полным, – если будет вообще. Отсутствие друга – та пустота, что поглощает все, и одиночество – наибольшее из несчастий. С другом можно выдержать все, без него и радость тяжела.

Именно непоправимое одиночество научило Лоуренса понимать себя и любить других, именно из этой боли произошла его удивительная теплота, приносящая утешение и дарующая силы. «Он спас мне жизнь, – признавалась С. Кеннингтон, жена скульптора Эрика Кеннингтона, с которой Лоуренс поговорил, когда она почти умирала от депрессии. – С тех пор я хорошо чувствую себя духовно». Человеку необходимо понимание. «Понять – значит, спасти»,[2] – утверждал Леонард Генри Грин. Лоуренс понимал. Он успокаивал и придавал уверенности даже без слов: «В его присутствии я ощущал в себе огромную легкую силу, как если было бы можно и должно жить вечно»,– вспоминал Генри Уильямсон.

Рядом с Лоуренсом человек чувствовал себя равным ему, ибо он относился к каждому как к равному, никогда не возвышая себя ни над кем, даже не помышляя о такой возможности. Он умел слушать и откликаться – взглядом, жестом, словом, понимающим молчанием; умел внушить человеку, что тот необходим и любим, а его печали или радости – разделены. «Ни один своеобразно мыслящий, искренний посетитель не уходил от него несогретым»,[3] – писал Ричардс. Теплота была «самым ценным из его дарований», – отмечал он дальше, этими словами выразив сущность Лоуренса. Теплота проницала все его существо, как ласковый свет, исполняя не только его чуткую, чувст-

вительную душу, но и сам облик. Она было силой и очарованием его личности, и даже без аравийской эпопеи – крестного пути во имя любви, без «Семи столпов мудрости» и «Чеканки» – только за одно это качество Лоуренс был бы достоин того, чтобы жить в сердцах – образом спасительной нежности.

И горькая ирония есть в том, что он, так понимавший других и позволявший им ощущать себя на одном уровне с ним, не имел действительно равного, кто понял бы его самого во всей глубине. У него были хорошие товарищи до войны и множество знакомых – после, с которыми он вел переписку (цифру в триста-четыреста адресатов называет он в одном из писем 1928 года), но он не мог найти никого мировоззренчески близкого. Его внутренний мир образовывали аскетизм, гомосексуальность, собственная вера, любовь к духовным удовольствиям и творческий порыв – сочетание, сделавшее эту личность незаурядной и потому *не имеющей равных*. Лишь однажды он встретил того, кому смог довериться полностью, но это, его действительное бытие, длилось только три года. В одиночестве, как и в отсутствии дела жизни, – его трагедия. Выжить ему помогла вера.

Глава IV

Вера, Христос и Библия в жизни Лоуренса

Лоуренс вырос в религиозной семье, где строго соблюдались каноны Англиканской Церкви. Его мать, воспитанная священником, всю жизнь следовала христианской догме и внушала ее своим детям. Однако религиозность и вера – не одно и то же. Христианство Сары было формалистическим и, соответственно, лишенным того согреваю-

щего света, который должна являть человеку вера и которым тот должен одаривать тех, с кем соединен. Сара же знала букву Закона, но не дух, и это являлось особенно страшным потому, что она была непоправимо «утверждена» в своей клерикальной набожности. «Косны люди во всем, а в религии особенно»,[1] – с горечью замечал Д.С. Мережковский. Пример матери с ее подавляющим, а не животворящим убеждением заставил Томаса избрать собственный путь.

Из всех духовных поисков религиозный наиболее тяжел, поскольку касается самой жизни, ее смысла и цели, а также посмертного бытия или небытия. Этот долгий процесс, идущий мучительно и трудно, как кровь в перетянутой жиле, то остро осознается, то уходит на глубину подсознательного. Разум, охваченным тягостными раздумьями, мечется в кажущихся безысходными исканиях, иногда получая короткую передышку – словно оцепенение от крайней усталости, и не успокаивается до тех пор, пока решение не будет найдено. Не найти его – все равно что потерять себя.

Такие борения должен был пережить и Лоуренс, ибо он верил, а вера желает некоего формального выражения. Для того чтобы верить совершенно «по-своему» надо или быть слишком простым человеком, или слишком редко думать о Боге. В конце концов, он отказался от англиканства, но остался христианином, хотя и вне какой-либо Церкви. В середине 20-х годов он писал: «Жадное время год за годом забирало от меня клаузулы Кредо, и теперь для меня остаются только первые четыре слова».[2] Эти слова – “I believe in God” – «Я верю в Бога». Это его Кредо – освобожденное от формализма и пафоса, сокращенное до самой сути, до пульса бытия: сама жизненная основа.

Приведенная цитата – единственное письменное исповедание веры Лоуренсом. И наверняка единственное вы-

раженное вообще: многие из его знакомых ничего не знали о его религиозных убеждениях.

«Если человек воспринимает что-то глубоко, он скорее умрет, чем скажет что-нибудь об этом»,[3] – писал он в 1915 году. Вера – самое глубокое для каждого истинно верующего. Какой же глубины и силы она могла достигать у Лоуренса, в ком осуществилось предписание св. Франциска Ассизского: «Проповедуйте Евангелие и, если необходимо, используйте слова»? Личность и жизнь Лоуренса с его аскетизмом и человечностью – это ли не явленная проповедь Слова Христова?

Мать отвратила его от формальной Церкви – *куска* заповеданной целостности, и он стал христианином по духу, то есть истинным. «Бог есть Дух, и любить Его следует в духе», – напоминал Савонарола. Эта любовь сосредотачивается в четырех основополагающих словах, освещая душу и всю жизнь. А ее высшее выражение – в любви к человеку.

«Жил в Эдессе, во дни Трояна, старец такой древний, что не только ровесники его, но и дети и внуки их вымерли давно, а правнуки уже не помнили, кто он такой; называли его просто "Иоанном" или "Старцем," Presbiteros, и думали, что это тот самый Иоанн, сын Заведеев, который возлежал на груди Его, и о котором, по воскресении Своем, Он сказал Петру так загадочно: "Если я хочу, чтобы он пребыл, пока Я приду, что тебе до того?" (Ин. 21,22). ...

Когда он ослабел и не уже не мог ходить, ученики носили его на руках в собрания верующих, а когда те просили наставить или вспомнить что-нибудь о Господе, он только повторял все одно и то же, с одной и той же улыбкой, одним и тем же голосом:
– Дети, любите друг друга!

Это, наконец, так наскучило, что ему однажды сказали:

– Что это, учитель, ты повторяешь все одно и то же?

Он помолчал, подумал и сказал:

– Так Господь велел, и этого одного, если только *исполнить,* – довольно...

И опять:

– Дети, любите друг друга!»[4]

Бог есть Любовь, и человек, *подобие* Божие, создан из любви и ради нее, и все Евангелие – призыв к ней. В ней – сущность бытия, и любить – значит, быть воистину сыном Божиим, услышавшим слово Христово и исполнившим его.

Лоуренс исполнил – всей своей жизнью, исполнил на кресте своей боли. Человечность, как и вера, рождаются из муки одиночества: этот ужас надо познать, чтобы понять ценность человека и осознать Бога.

Любовь к человеку – вот в чем сущность и сила личности Лоуренса, вот в чем ее значение. Перефразируя В. Ричардса, можно сказать: важно не то, что Лоуренс сделал, а то, что он был. Важно то, что была эта осуществленная любовь.

А его теплота, которой он с готовностью делился с ближними и *желал* делиться, она длится сквозь пространство и время, и надо лишь понять его, чтобы тоже ощутить этот удивительный дар, утверждающий такую простую и дорогую истину: любовь сильнее всего, и человек человеку брат – по крови Христовой, из любви пролитой («Последний вздох Его на Кресте был вздохом любви»[5]). Надо только страдать, чтобы услышать Христа и научиться любить.

«Христос для нас, – писал Лоуренс о себе и Арнольде, – не символ, но личность, обкраденная наращениями таких верующих, как она сама [мать]».[6] Здесь, в видении Спасителя как *личности*, мы встречаем то, о чем писал Д.С. Мережковский: миру, чтобы спастись, надо увидеть в

Христе – Иисуса, то есть человека. Для большинства христиан Он только привычный символ, как для матери Лоуренса, образ абстрактный, а потому непостижимый и недостижимый: нелюбимый и неподражаемый. Увидеть же в Нем личность означает понять смысл Его страдания как проявления высшей, братской, любви к человечеству. Христос-символ и Иисус-человек различаются так же, как изображение распятие и голгофский Крест. Крест надо увидеть – страшную меру любви Бога, понявшего нас до самой глуби смерти. Только тогда Слово Иисуса будет воспринято.

Именно так увидел Лоуренс, и крестные раны через сострадание отобразились на сердце – любовью, озарившей его существо спасительной теплотою.

Библия сопровождала Лоуренса всю жизнь. В 1909 году, когда он путешествовал по Палестине, святая Книга была с ним, оживая в свете Земли Обетованной.

В 1926 году, на пути в Индию, пустынный воздух слов Экклезиаста в который раз напоминал ему о тщете земного, «ловле ветра», бесплодности его собственных усилий. Это почти отчаяние древнего опыта открывало на вершине своей мудрость терпения, как пространство для дыхания.

6 мая 1935 года, за неделю до катастрофы, Лоуренс спрашивал у одного знакомого издателя экземпляр Библии: та, что имелась, стала слишком запачканной, чтобы быть читаемой: «Грязные места, мастерские ВВС».[7] Последняя из его немногих просьб была – о Писании.

«Что положить со мной в гроб? Ее. С чем встану из гроба? С нею. Что я делал на земле? Ее читал».[8] «Странная книга: ее нельзя прочесть; сколько ни читай, все кажется, что не дочитал или что-то забыл, чего-то не понял;

а перечитаешь – опять то же; и так без конца. Как ночное небо: чем больше смотришь, тем больше звезд».[9] Множество звезд сияло в темноте боли Лоуренса, какой была его жизнь, вечностью освещая ее.

Четыре слова как Кредо, Библия как храм и любовь к человеку как исполнение учения: таковы основы бытия Лоуренса, христианского подвижника духа. Именно благодаря вере он обладал этим бытием и выживал в тех состояниях, в которых обычно находят лишь один выход. Тот, кто имеет веру, имеет все.

Глава V

Школа. – Археология. – Средневековье: архитектура, крестовые походы и военное дело. – «Миссия» Лоуренса. – Любовь к литературе. – Стремление к творчеству. – Увлечение музыкой. – Ручная работа и фотография. – Навеянная Уильямом Моррисом мечта об издательстве. – Полнота радости.

Мы только что увидели, какой была личность Лоуренса в главных чертах. Теперь обратимся к его познаниям и увлечениям.

Уже в четыре года он умел читать, а к 1896 году, когда пошел в школу, знал французский язык и обладал большим запасом сведений, почерпнутых из книг. Неудивительно, что школьные уроки оказались для него неинтересны: «Школа была бесполезным и отнимавшим много времени занятием, которое я ненавидел от всей души», – писал он впоследствии, а в другом месте называл ее «отчасти кошмаром и отчасти досадой».[1] Досадой – по сравнению с чтением уже на трех языках и страстью к архео-

логии.

Археология увлекла Лоуренса очень рано. Если в Оксфорде велись какие-либо дорожные или строительные работы, он просил рабочих сохранять для него черепки, которые могли им встретиться. Он сам выискивал обломки римской и средневековой посуды и скоро привлек внимание сотрудников музея Эшмола – посредством своих дарений и необычайных для его возраста познаний. К 1905 году он был знаком с помощником хранителя Музея Ч.Ф. Бэллом (1871 – 1966), а также с Ч.Л. Вулли (1880 – 1960).

Письмо Томаса к Уильяму от 16 августа 1906 года показывает, насколько серьезны были тогда его знания в этой области: «Если ты найдешь человеческие кости, не тревожь их, но окопай вокруг, чтобы выяснить, мужские они или женские и достать полный скелет, если возможно. Череп является самой важной частью для датировки. Любые бронзовые предметы, которые могут встретиться, не надо сразу тревожить – постарайся проследить рукоятку, что сузиться до тонкости карандаша. Ты найдешь это трудным, но результат вознаградит старания. Если холм небольшой, просеивай землю, которую отбрасываешь, – Фрэнк и Арни могут в этом помочь, пока ты с Бобом копаешь. Работай очень осторожно, чтобы не сломать какой-нибудь хрупкий предмет. Если холм большой, ты должен начать таким же образом с вершины и двигаться вниз, пока не будешь уверен, что слои не были потревожены, то есть если найдешь чистую глину без примеси земли, – тогда можешь быть уверен, что она не перемешивалась. Ты можешь обнаружить, что весь холм естественный (ты называешь его “неестественный”: большинство археологов используют термин “искусственный”). В таком случае, только три верхних фута должны быть раскопаны, если это большой холм».

Археологию он избрал своей профессией, но смог по-

святить ей только три года перед войной. Интерес же к этому делу, как бы ни подавляли его обстоятельства, сохранился на всю жизнь.

Излюбленным временем юного Лоуренса являлось Средневековье. От отца он перенял увлечение церковной архитектурой этого периода и в 1905 и 1907 годах осмотрел некоторые церкви в Оксфордшире и Уэльсе, а в 1906-10 годах – во Франции, в том числе вдохновенный Шартр. Он делал оттиски мемориальных табличек в храмах и наиболее выразительными из них украшал чердачную комнату, которую делил со своими братьями до постройки отдельного домика. «Можно представить большие гротескные фигуры на стенах, пляшущие в колеблющемся свете свечи, в то время как он рассказывал долгие романтические истории».[2]

Этот мирный интерес сочетался с «воинственным», который оказался весьма далеко идущим. Однажды занявшись изучением средневекового оружия, Лоуренс увлекся военным искусством, а затем – военной архитектурой и во время поездок по Франции, кроме соборов, посещал замки. Изучение военной архитектуры пробудило интерес к осадным операциям, а потом – к экспедициям, частью которых эти операции являлись. Так он пришел к теме крестовых походов, причем его симпатии были на стороне противников крестоносцев. Ричард Львиное Сердце и Саладин стали его любимыми героями, а идея, лежавшая в основе крестовых походов, захватила его воображение, породив мечту о новом походе – ради освобождения народа от рабства. Во главе он представлял себя, а нуждавшейся в освобождении нацией видел арабов. Он симпатизировал этому народу, который некогда был столь велик, что смог создать грандиозную цивилизацию и внести неоценимый вклад в мировую литературу, философию

и науку, а ныне изнемогал под турецким игом.

Под влиянием новой мечты интерес Лоуренса к военном стороне истории усилился. Он занялся изучением истории войн и в особенности тех, что порождались восстаниями. «Со своей обычной дотошностью» он углубился в исследование этой темы и читал все, что только мог достать. Сначала это были технические трактаты по вопросам постройки замков и ведения осад, затем – Клаузевиц и его школа, Кемерер, Мольтке, Гольц, некоторые из французских военных писателей, появившихся после 1870 года, Наполеон и попутно – Жомини и Виллизен. У Лоуренса возникло желание ознакомиться с учебниками, по которым Наполеон изучал военное искусство, и так он добрался до Гибера, Бурсы и Морица Саксонского, причем последнего он считал «величайшим мастером военного дела».

Именно благодаря этим познаниям и, главное, способности соотносить теорию с практикой (ценность знаний – в их применении) и выводить собственные заключения Лоуренс смог позднее создать свою собственную стратегию ведения войны в пустыне.

Едва ли можно считать, что он предчувствовал свою миссию: то был только глубокий интерес, как к археологии или поэзии. Да и вообще вряд ли можно назвать его деятельность в Аравии «миссией», поскольку ход событий был не провиденциальным, но цепью сознательных действий. Юношеская симпатия к арабам вызвала желание их освободить (вспомним, как дорога была Лоуренсу свобода), – и так романтически настроенный мальчик со всей серьезностью погрузился в изучение путей, надеясь, что однажды он сможет это осуществить. Позднее, в Сирии, его мечта приобрела конкретное выражение – завоевать свободу для любимого. Разразилась война, ставшая воистину громом среди ясного неба эпохи, и такой случай

представился.

Его «миссию» можно увидеть в ином: в его жертве во имя любви – жертве, что неоспоримо утверждает чудо любви между мужчинами. В этом утверждении – основное достижение Лоуренса и его дар – не только Дахуму, но каждому, кто способен увидеть красоту этих отношений.

Еще одним увлечением Лоуренса являлись книги: на протяжении всей жизни он был страстным читателем. «Чтение было его насущной потребностью»,[3] – отмечал В. Ричардс. В юности Лоуренс читал ночи напролет, из пяти-шести книг за ночь, пока рассвет не начинал брезжить над туманным Червелллом. «Когда я закрываю дверь, а весь город спит, я знаю, что ничто, даже рассвет, не потревожит меня за моими занавесками, – только угли будут медленно шуршать в камине. Они становятся красными и отбрасывают великолепные отсветы на Гипноса и оттиски… А после долгого блуждания в лесах с Персивалем или Саграморсом ле Дезироном, приятно открыть дверь и смотреть, как над Червеллом сквозь туман сияет солнце. Почему нам не нравятся вещи, когда вокруг другие люди? Почему мы можем заставить книги жить только ночью, после часов напряжения? Причем, это должны быть наши собственные книги, и мы должны прочитать их не один раз. Думаю, они принимает что-то из личности человека и его окружения: знаете, побывавшая в руках книга иногда намного живее, чем новая. И почти страшно думать, что наши идеи, мы сами в своих книгах, может быть, даем жизнь для поколения читателей, которые придут, когда мы будем уже забыты. Как раз это заставляет нуждаться в хороших книгах, которые будут достойны того, что мы собираемся вложить в них. Что бы вы подумали о великом скульпторе, который растрачивает свой дар, моделируя

глину или песок? Воображение должно быть помещено в самое драгоценное обрамление, и только поэтому мы можем жить в будущем или в прошлом, на Утопии или в лесах за гранью мира», – так писал Лоуренс матери в августе 1910 года, когда путешествовал по Франции. «Отец не поймет всего этого, – продолжал он, – но, если Вы можете взять нужную книгу в нужное время, то Вы почувствуете радость – не только телесную, физическую, но еще и духовную, которая выходит за пределы нашего жалкого “я” будто сквозь обширное веяние, следуя за светом мысли другого человека. И уже невозможно снова стать прежним: что-то забылось или, скорее, вытеснилось долей вдохновения из того, что есть бессмертного в том, кто прошел до нас».

Его любимыми авторами были Т. Мэлори (книга «Смерть Артура» была с ним и в Аравии, и в Карачи), Кристина Россетти, Л. Гусман (поэт, входивший в объединение «Chaeronea»), в юности – У.Моррис. Некоторые книги он перечитывал по шесть раз, а «Richard Yea and Nay» он перечитал девять раз (на февраль 1912 г.).

Лингвистические познания открывали ему широкий выбор: он знал, по меньшей мере, восемь языков (латинский, древнегреческий, французский, итальянский, испанский, арабский, датский, немецкий). «Читай в оригинале столько, сколько можешь, – советовал он Уильяму. – Каждый раз, как ты можешь оценить образ мыслей другой эпохи или страны (или даже человека), ты открываешь для себя новый мир».[4]

Еще больше, чем прозу, Лоуренс ценил поэзию. Он был ее талантливым читателем, чье прочтение являлось равнозначным творчеству: он проводил дни с отдельными стихотворениями, отображавшими его умонастроение, а места или действия навевали ему запомнившиеся строки так же, как новые – поэту: он заново создавал стихи,

узнавая их в мире. Он цитировал отрывки стихотворений в своих ранних письмах домой, вспоминал стихи тогда, когда они от трагичности момента становились в значении своем молитвами, собрал собственную антологию «Minorities», куда вошли сто тринадцать стихотворений. Его библиотека в Клаудз Хилл содержала три сотни поэтических сборников.

Лоуренс чувствовал пульсацию бытия так, как чувствует поэт, и проживал чужие стихи, ее эхо, так, как если бы сам слышал это. Истинная поэзия в своей сущности – отзвуки бытия, и воспринять ее во всей полноте может только читатель, равный поэту – его заочный и необходимый друг, являющийся его осуществлением. Именно такие читатели, как Лоуренс, – сбывшаяся надежда поэта.

Лоуренс желал создавать и сам: в нем было очень сильно стремление отобразить свой внутренний мир. Он обладал многими способностями – к прозе, поэзии, рисованию, но не смог выбрать нужной и точной формы для того, что в нем жило. Он рассеялся при выборе (как сам это осознавал) и потерпел поражение в стремлении к идеалу в том, на чем остановился: прозе.

Именно в слове более всего хотелось ему выразить себя: «Писание всю жизнь было моим глубинным “я,” и я не могу сполна применить свои силы в чем-либо еще. ... Постоянные же усилия писать подобны попытке бороться с периной».[5] Он не был доволен своими работами. Первую книгу, написанную до войны о своих путешествиях по Востоку и аранжированную в нисходящей каденции, «как моральная симфония»,[6] он счел «нескромной» и уничтожил ее в 1914 году, перед зачислением в армию. От этой работы сохранилось только название, использованное впоследствии еще раз: «Семь столпов мудрости». Затем

последовали те «Столпы», которые мы знаем, и «Чеканка» – фактически дневниковые записи армейских лет, оформленные в виде автобиографической повести. Обе последние книги также оказались для него разочарованием, ибо он не смог достичь намеченного для себя уровня. Его не покидало чувство, что при большем усилии, при использовании максимума своего потенциала он мог бы сделать лучше. Это было только ложным впечатлением при слишком высоких требованиях к себе – следствии духовных масштабов, но он верил в возможность «последнего усилия» и испытывал разочарование от невозможности этой кульминации – фортиссимо своих душевных сил, а также чувство слабости и беспомощности. «Я говорил со многими, кого считаю великими писателями. У них всех есть сходство в том, что они получают некое удовольствие от фраз во время их создания. Но, возможно, что не от завершенной работы. Оглядываются с удовольствием очень немногие, но есть радость в творении, а у меня никогда не было ничего, кроме усталости и разочарования».[7]

Радость создания редка, чаще всего творчество оказывается «ловлей ветра» – самоизнурением от почти болезненной активизации умственных и душевных сил (нередко сознательной) в попытке выразить невыразимое. Именно усталость и разочарование – наиболее частый итог творческого усилия, ибо замысел неизбежно лучше созданного: невозможно явить внутренний образ во всей полноте, но можно дать только его кальку. Знать это Лоуренсу помешал недостаток опыта, а отчаяние в неистовой борьбе с собой заставил его счесть себя бездарным. Его как творца уничтожила собственная сила.

Второй, после литературы, страстью Лоуренса, длив-

шейся с юности до конца, являлась классическая музыка. Его любимыми композиторами были Бах, Брамс, Моцарт, но прежде всего – Бетховен. Интересовался он и произведениями современников. Так, одно время у него в Клаудз Хилл нередко звучала сюита Густава Хольста «Планеты». Эта композиция, написанная в 1914-16 годах, состоит из десяти частей, каждая из которых раскрывает настроение планет Солнечной системы в соответствии с их мифологическими именами. Любопытным является яростный «Марс», созданный за несколько месяцев до начала войны, но удивительно предвосхитивший картину механического сражения.

В послевоенные годы, когда Лоуренс находился в тяжелом душевном состоянии, музыка оказалась для него еще и утешением. «Соната Делиуса для виолончели, симфония Элгара, "Двойной концерт" Брамса ... были моими радостями в течение трех лет»,[8] – писал он в 1930 году.

В Клаудз Хилл у него была значительная коллекция грампластинок, а граммофон, наряду с многочисленными книгами, являл сущность его скромного жилища. Он и в армии имел возможность слушать свои любимые композиции: «Джаз для вас в ваше время, классика для меня – в мое». И... изумлял всю казарму бетховенским «Похоронным маршем»!

Кроме умственных занятий, Лоуренс увлекался в юности также ручной работой. Он вырезал из дерева и известняка, делал фонари из ажурной меди и «особенно восхищался мощными луками старинных всадников-стрелков и их разящей стрельбой на галопе; кроме того, его радовало изготовление кольчуг. ... Если бы вы посетили его дома и он не читал бы на полу, это объяснялось бы тем, что он занят какой-нибудь тонкой работой по металлу или

проявлением фотографий».[9] Фотография была еще одним увлечением, воспринятым от отца. Лоуренс брал фотоаппарат во все свои довоенные путешествия по Франции и Сирии и не расставался с ним даже в Аравии. И в этом деле он был талантлив, равно как и старателен. В одном из ранних писем он замечает: «Фотографии [интерьер церкви] должны получиться хорошими: я потратил три часа, выбирая ракурс». А однажды он провел три дня, избирая наилучшее сочетание облаков и света для того, чтобы заснять Мон-Сен-Мишель. На раскопках в его обязанности входила также фотосъемка находок.

Даже к обустройству жилища он подходил творчески: так, дом археологов в Кархемише он украшал восточными ковриками и живыми цветами, создавая приятную цветовую гамму, и располагал в комнате гармоничным образом древние вазы, ступки, чаши, найденные на раскопках или купленные у антикваров.

Ручные работы не всегда бывали творческими: Лоуренс умел выполнять разнообразные бытовые усовершенствования и ремонт – от исправления фитиля керосиновой лампы до проведения воды в дом.

В юношеские годы, когда археология уже перестала быть просто увлечением и обозначилась как будущая профессия, идея крестовых походов осознавалась как нечто смутно-настойчивое, а чтение стало естественным состоянием, Лоуренсом овладела мечта о практическом, но в то же время бытийственно важном деле – собственном издательстве. «Для меня книга – самое лучшее, что может быть сделано»,[10] – будь она написана или издана. К тому же «это был один из путей в мир Уильяма Морриса – мир, состоявший наполовину из мечтаний и наполовину из изысканного мастерства, что пленял столь многих в на-

чале этого века»,[11] – писал В. Ричардс.

Уильям Моррис (1834–1896) был английским художником, писателем, поэтом и создателем эскизов для текстиля. Стремлением всей его жизни являлось привнести искусство в жизнь, соединив высокий идеал с ручным мастерством – именно ручным, в противовес «бездушному» машинному производству, – и пробудить чувство прекрасного у людей всех классов. В книгоиздании он желал возродить традиции XV века, времени инкунабул. Он открыл собственное издательство, «Kelmscott Press», взяв за основу в оформлении книг венецианскую и немецкую гравюру и стремясь к гармонии между переплетом, печатью, бумагой и иллюстрациями. Кроме того, вместе с художником Эдвардом Берн-Джонсом и художником и поэтом Данте Габриэлем Россетти он основал товарищество эскиза, которое оказало значительное влияние на церковное и бытовое убранство начала XX века. Его поэтическое творчество вдохновлялось, по большей части, древней историей германских и скандинавских народов, а в своих романах он рассказывал о фантастических мирах (“The Wood Beyond the World,” “The Well at the World’s End”). Также в его наследие входят переводы на английский язык исландских саг и ряда античных произведений, включая «Одиссею» Гомера (1887). «Он был неутомимым тружеником с сильной волей и самозабвенной преданностью своему делу, а также – поэтом, чье практическое творчество было вдохновенным гимном красоте и жизни».[12] Но, прежде всего, он был великим мечтателем, ибо его мечта об искусстве, возвышающем жизнь, не более чем утопия: искусство исходит от жизни, образуя сферу бытийственного, и не может быть привнесено обратно. Однако порыв к красоте, давший начало идее облагороженного быта, не оставляет равнодушным.

Юный Лоуренс сполна поддался очарованию морри-

совского идеала, равно как его книг и гобеленов. В студенческие годы и некоторое время после он страстно мечтал повторить его опыт, открыв свое издательство, где книгопечатание осуществлялось бы по канонам мастера, и готовился к осуществлению своего желания. Он разделял его с Леонардом Грином, но еще более серьезно – с Вивьеном Ричардсом, с которым распределил обязанности в будущем деле и приобрел участок для строительства типографии. В Кархемише он потерял интерес к этому предприятию и только после войны, обосновавшись в Клаудз Хилл, вернулся к своему плану, намереваясь основать там типографию, а кроме того, собрал значительную коллекцию хорошо изданных и прекрасно оформленных книг, в основном частного издания. Когда же дело коснулось издания его собственной книги «Семь столпов мудрости», он подошел к нему со всей серьезностью и изобретательностью потенциального издателя. Книга, «самое лучшее, что может быть сделано», должна быть сделана наилучшим образом и быть доступной для читателя. Если бы каждый издатель имел своей целью именно это!..

Для Лоуренса всегда было важно найти того, кто разделил бы его интересы, кого можно было бы «зажечь восхищением перед каким-либо собором, или Акрополем в Афинах, или стихотворением Кристины Россетти, или какой-нибудь современной новеллой»[13]: ибо радость полна только тогда, когда разделена. Стихотворение или музыка в одиночестве говорят сильнее всего о нем, но, разделенные с другом и воспринятые им, они соединяют в своем мотиве бытия.

Служа в авиации, Лоуренс стремился увлечь своими любимыми книгами и музыкой новообретенных товарищей. Но не все отвечали его стремлению. «Грубые созда-

ния, не понимают абстрактных вещей», – с горечью писал он А.Э. Чемберсу о неудавшихся слушателях музыки.

Делиться своими увлечениями – значит, открывать себя. «Имеющий уши да услышит» – то, что является ему в этом интимном по сути действе. Вслушайтесь в чью-либо любимую музыку, вчитайтесь в стихи, – и вам приоткроется душа этого человека, приоткроется путем удивительным и объединяющим. Подчас это единственно возможное для нее выражение.

Глава VI

Первая любовь Лоуренса. – Идеи Леонарда Грина и его образ.

Лоуренс обладал легковозбудимой чувственностью, гомосексуальной изначально: мать внушила ему неприятие к женскому полу, которое не оставляло ни малейшей возможности для возникновения интереса к этому даже в пору становления сексуальности.

Первой любовью Лоуренса стал писатель Леонард Генри Грин (8/X-1885–1966). Он познакомился с ним в 1904 году, еще будучи школьником. Грин был тогда студентом Колледжа св. Иоанна. Несмотря на свои девятнадцать лет, он уже обозначил себя как способный писатель и примкнул к тайному гомосексуальному обществу «Chaeronea» – кругу тех поэтов, писателей и художников, что позднее стали называться «ураническими» (Uranian) и вдохновением которых являлись невинность и чувственность мальчиков.

Свидания влюбленных были героическими. Для этого оба сбегали с занятий: Леонард – с удовольствием, а Томас – с гордостью (ведь он совершал это ради возлюбленного и, к тому же, таким образом рассчитывался со своей «до-

садой и ночным кошмаром»). Соединившись, они могли позабыть весь мир и предаться своей любви и мечтаниям. А мечтали они жить вместе на мысе, который омывало бы море, и, как уже вскользь упоминалось, открыть свое издательство.

Лоуренс ценил работы Грина и в 1910 году говорил ему, что даже если тот не находит издателя, он все равно не должен отступать от своей линии, привнося в произведения «чувство греха или что-нибудь нечистое». Издателя Грин все-таки нашел, но только для двух небольших сборников рассказов, вышедших в 1916 и 1919 годах. Можно лишь пожалеть, что своеобразный потенциал не раскрылся в полной мере: духовный опыт и мировоззрение Грина могли бы стать спасительным ответом для ищущих примирения между религией и гомосексуальностью.

Возможно, что именно от Грина Лоуренс воспринял чистое (то есть должное) отношение к гомосексуальной любви. Согласно Грину, любовь между мужчинами являет собой божественную красоту, она – отражение той высшей Красоты, что есть Бог. Наслаждение прелестью любимого – это предвкушение той прелести, что откроется в вечном соединении с ним, а сами любовные отношения являются прообразом будущего бесконечного единения. Сознание же этого обертона вечности, звучащего в любви, как некий абсолют, приносит душе полное успокоение: «Тот, кто любит красоту, должен быть всегда полон беспокойного желания, пока не сможет сделать прекрасное своим или потеряться в соединении с той совершенной любовью, для которой красота – золотой ключ и, возможно, формальное выражение. Но осознание *абсолютного* наполнит его некоей космической эмоцией, посредством которой эти мимолетные и упорные видения красивых вещей не завершатся в себе, – что оставляет теряющую их душу неудовлетворенной и мятущейся, – но будут индивидуальными

намеками той высшей красоты, которая превосходит всякую красоту, соединяя душу каждого человека со Вселенной; будут образами, являющими ту красоту, что есть Бог.

Тогда утешься, о душа моя. Блуждая по пустынным пространствам мира, всегда можно встретить видение прекрасного. Те локоны, гладкие, как ласточкино крыло, с голубым отливом в них, – целуй их и гладь, забавляясь и наблюдая, как они ускользают от тебя. Думай, как твои губы вкушают мед с тех алых губ; созерцай озерные глубины в тех глазах, обрамленных густыми ресницами, – глазах, что на миг встречаются с твоими в толпе; ощущай щеки, столь гладкие на рассвете юности, кожу свежую и ясную, как горы поутру. Наслаждайся этим и пребывай в мистерии их и их цвета. Вкушай от золотого граната, принимай его меж губ, что недавно безумно целовали и покусывали твои... Это пребывание во внешних дворах храма красоты даются как предвестники того единения, что приходит к отважной душе после того, как она испытана в горниле бесконечной любви».[1]

Грин был искренне верующим человеком. Он умел «созерцать те вещи, что имеют свое начало в Боге»[2] и наслаждаться ими. Всевышняя красота открывалась ему в природе, приводя в экстаз его чуткую душу. Он видел внешне простые явления в их глубине, исходящей из вечности, и, принимая их как откровения, сливался в восторге с Богом. Одно из таких откровений было явлено ему в окрестностях Оксфорда.

«Долина, из которой я поднимался, казалась удивительно выразительной. Я осознавал, что я не один, но какой именно природы были мои спутники, еще не начал задумываться.

Чем ближе я подходил к вершине кряжа, тем шире становилась узкая полоса оранжевого, которая словно под-

черкивала горизонт. А когда я взошел на вершину, то был на пару минут почти ослеплен.

Тяжелые тучи неслись по небу, их темные, туманные обрывки висели ближе к земле, а на западе, как раз напротив меня, блистало вечернее солнце – огромный круг живого льющегося пламени: оранжевого, алого, медного – всех этих цветов, однако ни одного из них. Именно таково, должно быть, пылающее сердце Любви.

Горы в отдалении, прямо под этим заревом, выглядели глубокой полосой сапфирового, мерцавшего сквозь туман.

И, пока я шел, великолепие этого поглощающего пламени, казалось, слилось с неким белым обществом "освобожденного воинства," что шествовало со мной. То и другое словно выражало неким образом страсть, великолепие и сияние жизни.

Это сердце восторженного пламени передо мной казалось говорящим.

Оно будто требовало, как топлива, в котором не нуждалось, всю энергию, пока та еще молода, горяча и сильна; и я чувствовал, что ответ был бы одновременно завоеванием и подчинением, войной и миром.

Никакой мольбы о пощаде после оргии эгоистичного усилия; никакого перемещения исчерпанных сил после того, как они были выпиты и отброшены; никакого смутного доверия к неизвестному после того, как все, что известное может предложить, было испробовано и оказалось горьким. Только сосредоточение всех тех не иссякших источников энергии с этим огнем как их целью, как их ареной действия – с объятиями Бога.

И тогда я ощутил – смутно, не улавливая форму, мимолетно, – как руки Бога стискивают меня, как Его поцелуи сжигают меня, ощутил экстаз, что меня убивал и в то же время открывал новую жизнь. И духи мертвых вокруг твердили и твердили "Аминь"».[3]

Так же, как воздействию красоты, Грин был открыт влиянию прошлого. Однажды, в безлюдной местности в Глостершире, он пережил мистическое соприкосновение с теми, кто прошел там до него. Та древняя земля была полна следов «тех множеств, что пахали ее, или сражались на ней, или молились там».[4] Она стала путем прошлого. Там было невозможно оставаться одиноким: «В этой символической местности я бывал один физически в течение многих дней подряд, но один духовно – никогда».[5] В этом уединенном краю, «восприимчивость к влияниям не может быть замутнена ни поездами, ни машинами, ни праздными личностями, ни другими чуждыми вещами механического превосходства».[6]

Грин неторопливо шел по этой земле воспоминаний, пока дорога не привела его в долину, полную странной тишины, похожей на затаенное дыхание в ожидании близкого рассвета или грозы. «Это означало неимоверное сосредоточение природных сил в некоем месте – сосредоточение, которое давало передышку даже беспокойному человеческому духу».[7] Грин опустился на обочину и стал ждать того, что нарастало в безмолвии.

«И тогда, не нарушая спокойствия, но поднимаясь из него, как туман из озера, возникло движение великого воинства.

Никаких деталей я не замечал и не могу ничего вспомнить сейчас. То могли быть римляне, или английские солдаты, или пилигримы, или торговцы. Не знаю. Все, что я чувствовал, было прохождением некоего великого воинства со всеми его свойствами, настроенными на одну всезначимую цель.

Многочисленное. Неосязаемое. Сосредоточенное.

Его сосредоточенность была необычайной – или, скорее, такова была живость моего восприятия. Я был захвачен силой этого, оно избавило меня от всех неопределен-

ных, не связанных с ним вещей. Некоторым образом я был сделан сотоварищем в поиске, какой бы ни была его цель, и я приветствовался.

Это было другой любопытной вещью: дружественность великого воинства. Ибо, хотя казалось, что оно окружало меня на многие мили, было надо мной и проходило сквозь меня, хотя оно стремительно двигалось со своей удивительной сосредоточенностью, – великая дружественность словно излучалась им. Вот почему я думаю, что это была армия: из-за духа товарищества.

Я поднялся и пошел дальше; и весь тот день "дружба счастливого мертвеца," казалось, была со мной.

Позднее я посмотрел на свою артиллерийскую карту и нашел, что там находились два британских лагеря, отмеченные к востоку от церкви Кондикота, а место окружено курганами».[8]

Для того чтобы ощутить дружественность мертвых, надо быть очень одиноким среди живых. Такое одиночество не только позволяет услышать ушедших и стать счастливым от их всепонимающей дружбы, но оно еще создает вымышленных товарищей – своего рода отображение нашего «я» и его потребности. «Я предполагаю, – писал Грин, – что каждый, кто обладает воображением, создает для себя компанию друзей, которые сопровождают его, когда он прогуливается, особенно в уединенных местах; приветствуют его, когда он просыпается, и желают спокойной ночи, когда он погружается в сон.

У того, кто был одинок в детстве, будет больше товарищей из мечтаний, чем у других, и он никогда не потеряет их, разве что близость станет глубже, и узы прочнее с течением лет. Ибо это желание товарищества очень реальная и жизненная вещь: оно происходит от побуждения создавать и от необходимости любить».[9] Как часть души, они всегда рядом – слышащие и понимающие, всегда го-

товые утешить своим присутствием. Они те, кого мы не нашли, но кого хотим любить.

«Любовь может проецировать наших товарищей из мечтаний в будущее, может вызывать их из прошлого. Каким бы ни было наше настроение, мы всегда имеем друга, с которым можем его разделить».[10] С таким другом можно разделить радость, чтобы она не стала горька от одиночества; с ним можно поделиться тоской и ощутить понимание, которое могло бы спасти, если бы исходило от живого человека. Этот друг – невстреченная душа – утешает в детстве и юности. И сколь страшно, если он остается на всю жизнь...

Он – ответ на наш зов, эхо собственного голоса в мертвящем пространстве, отдавшееся от «дальних скал у тающей черты»,[11] за которой открывается вечность, где нет одиночества. Если бы живой человек мог любить нас так, как этот образ, то была бы «искупительная любовь»,[12] спасающая своим пониманием.

Эти «товарищи из мечтаний» помогают нам так же, как и уверенность в том, что и любовь к другу небывшему, и любовь к другу потерянному однажды найдет свое осуществление, «когда сердца будут очищены в пламенном великолепии сердца Христова, Возлюбленного и Товарища всего человечества».[13]

Грин обладал чуткой и чистой душой, для которой вера и братство были основополагающими. Лоуренс должен был найти в нем отклик на собственные устремления – услышать эхо свое души, получать от него то животворящее тепло, в котором он так нуждался, и дарить ему свое. Этот живительный взаимообмен должен был озарить их юность редкой радостью.

И не раз они могли проводить счастливые часы единения друг с другом в восторге «божественной красоты» и предвкушении вечности. Эти встречи могли быть именно

такими, как свидание с неназванным возлюбленным в одном из рассказов Грина.

«В воздухе ощущался аромат ночных сосен, ибо в июне теплый, легкий ветер, что блуждает над известняковыми холмами, когда люди и животные спят, шепчет пламенные мысли влюбленного, в то время как он тайно пробирается сквозь лес. Он находит сосны наиболее отвечающими его обожанию, и они источают в ответ свое тонкое благоухание, тогда как торжественная белизна луны озаряет мерцанием землю, создавая переплетения теней.

Я стоял на одном из хребтов Котсуолдса, и хребет был увенчан соснами. Деревья широко вырисовывались передо мной – темные, как мерцание изумруда в сумерках.

Ниже я мог видеть серые, призрачные фронтоны монастыря, где я присутствовал на мессе этим утром. Фронтоны были тронуты лунным серебром и выглядели, как крошечные остроконечные островки в море индиго, ибо ниже них была только глубокая тень.

Нечто из мистерии благословенного таинства еще сохранялось в моей душе – как человечность, которая является его сущностью, – и в крови чувствовалось возбуждение от этой абстрактности.

Ибо, когда я вкушал Тело Господне, я этим действием обозначал свою веру в порядок мироздания, в дело, долг, труд жизни; и, когда пил из чаши, я обновлял принятие страсти жизни, ее поэзии и радости.

Что суть страсти Господни как не незапятнанный образ любви, которой жаждет человечество? Что есть труд человека как не усилие приблизиться к бескорыстному тяжкому труду Бога?

Своим присутствием на мессе и участием в ней в это утро я свидетельствовал об убеждении, что наша любовь к красоте мира и наша страсть к его великолепию и мистерии не только эмоции, хорошие сами по себе, но предвест-

ники той дальнейшей и беспримесной красоты, что сосредоточена за внешним убранством. Одним словом, я свидетельствовал о своей вере в воплощение Бога.

Есть ли какая-нибудь возможность, спрашивал я себя, пробираясь тайниками леса, что абстракция, которую я почитал на рассвете, обретет какую-либо человеческую форму вечером?

И, пока я спрашивал, я пришел к поросшей травою поляне, где были озерцо и замшелый ствол дерева. И на стволе сидел мой любимый, пристально глядя в озерцо, словно в зеркало, тогда как ветерок и сосны шептали над головой свои свистящие признания. ... Когда я с ним, время останавливается и мира не существует. Я не осознаю ничего, кроме проникновения его присутствия и чистого, свежего великолепия человеческой красоты.

Он бросился ко мне, полный приятности и силы во всех своих членах. Я вкушал маков цвет его губ, я прижимал его к груди; и биение наших сердец и быстрое движение пульса подхватывались ветром, струившимся в деревьях, и смешивались с ним...»[14]

Отношения Лоуренса и Грина продолжались до 1911 года, когда для Лоуренса мечту о морском мысе вытеснила действительность древнего холма на берегу библейского Евфрата.

Глава VII

Путешествие по Франции в 1906 году. – Первый армейский опыт. – Поездка по Уэльсу в 1907 году. – Поступление в колледж и особенности учебы Лоуренса.

В августе 1905 года Томас предпринял с отцом небольшое путешествие по восточной Англии, в частности по Колчестеру, «полному римских остатков»[1] и краснокирпичных церквей, а спустя ровно год он вместе с товарищем Ч.Ф.Ч. Бисоном (Скроггсом) отправился в путешествие по северной Франции. Переправляясь через Ла-Манш, Лоуренс любовался игрой лунного света на воде: «Луна была полной и великолепной. ... Не могу сказать, что было лучше – эффекты ли облаков или отражение на воде, но “ансамбль” был совершенен, и более нечего было желать. Я никогда прежде не понимал должным образом слова Теннисона “долгие великолепия Осенней Луны,” но теперь вижу причины, которые заставляли его упоминать об этом столь часто: это так отличалось от бледной луны суши. Луна светила примерно с семи до четырех, и небо покрывали тяжелые облака, с постоянным светом на востоке».[2] К шести часам утра пароход причалил в Сен-Мало. К этому времени уже задул сильный ветер, взволновав море. Счастливой особенностью Лоуренса являлось то, что он не был подвержен морской болезни.

В Динаре он посетил знакомых и заглянул в местную церковь, а через несколько дней отправился с Бисоном на велосипеде дальше, осматривая по пути замки и церкви, а на ночь останавливаясь в гостиницах. В одной норманнской крепости он взобрался на тридцатифутовую башню: «Это было довольно безопасно и сильно впечатлило Скроггса».[3] Бисон вспоминал, как Лоуренс поднимался на одну башню, цепляясь за малонадежные камни и заметно

подрагивая от волнения. Он протянул ему руку, но тот не принял его помощи: преодоление себя происходит без поддержки.

Путешествуя, Лоуренс каждые несколько дней писал домой, сообщая о своем маршруте и осмотренных замках и церквях. Их он описывал с фотографической точностью, иногда добавляя чертежи и почтовые открытки. Так, например, Тонкедеку посвящены более трех страниц (печатного текста в сборнике его писем), на которых он «уменьшил великолепие Тонкедека в попытке описать его».[4] Его багаж состоял из самого необходимого: запасные рубашка и брюки, пара носков, мочалка, блокнот и, с 1907 года, фотоаппарат.

Свой 18-й день рождения Лоуренс встретил в Сен-Серване: «Я стал экстравагантен и купил себе на день рождения подарок – “Камни Венеции” Рескина за 4 франка. У меня с собой нет никакой прозы для чтения».[5]

К третьей декаде месяца Бисон вернулся в Англию, а Лоуренс продолжил свою поездку.

В один из чрезвычайно жарких дней (было 42° С) он посетил Фужер, где явлением из прошлого вздымался замок, по периметру неприступных стен которого поднимались тринадцать круглых башен. Этот замок был возведен в 1173 году, а в XIII веке был дарован Раулем III Людовику IX Святому. Он не раз выдерживал осады, а когда их эпоха миновала, привлек внимание писателей: в октябре 1828 года Бальзак провел в Фужере несколько недель, а Виктор Гюго подробно описал башню Мелюзен в «Девяносто третьем». Сказочно живописный Фужер являлся «раем для фотографа», по мнению Лоуренса, которому оставалось только пожалеть, что с собой не было фотоаппарата.

В свободное от поездок и осмотров время он читал. В одном месте он весьма уютно расположился с книгами на

скале, выступавшей в море, а когда оторвался от чтения, обнаружил, что прилив отрезал путь назад. И, хотя скала была выбрана с расчетом, чтобы в любом случае с нее можно было спуститься, с книгами в руках это оказалось затруднительным. Этот уголок описан в одном из его писем к семье, которое заслуживает того, чтобы привести его большею частью.

«Динар,
воскресенье, 26 августа 1906 г.

... Этот день был чудесным:

День был ясным и солнечным. Море и небо
Пили его вдохновляющий блеск, а мятежный ветер
Дул с берега, помрачая волны.

Я пошел к своему сиденью на скале и читал там. Под этой выступающей скалой море

О голые, черные, четкие островки
Ударяется тяжелой волною.

Поскольку я начал приводить цитаты, вам придется потерпеть подольше или же сжечь письмо. В самом деле, это место по-особенному красиво. Оно находится как раз за Шато, у основания небольшой бухты. На каждой стороне скалы спускаются почти до уровня низкого прилива, а напротив есть островок – очень фантастического вида, с изрезанными очертаниями. Его склоны снизу покрыты водорослями, которые, когда их полощет вода, колышутся “словно власа девы.” Я добрался туда сегодня еще до двух часов дня и пробыл там до семи. Думаю, августовский день – лучшее время в году.

Я люблю закаты

Солнечных осенних дней,
Когда с каждого листа и цветка
Мягко отлетает дневной свет.

И разве вы не согласитесь, что

День становится торжественней и яснее,
Когда полдень минует?

Утро, как всегда кажется мне, создает впечатление новой незавершенности:

есть гармония,
Что утром невидима и неслышна,
Будто не может быть, будто бы не была.

Прогуливаясь в тех местах прежде, чем продолжить чтение, я оступился в небольшой заливчик, между двух скал, и промочил ноги. Это была

Тихая соленая заводь в песчаной ограде,
Оставшаяся на берегу.

Со своего читального места

Я вижу волны на берегу,
Как Свет, растворенный в звездном дожде,

и слышу, как волны

Вздымаются, падают
И ревут в каменной борьбе под зиянием гротов,
Ниже железной ограды.

Прежде чем я покинул это место, солнце зашло, и образ

“Великолепие тумана на осеннем потоке”

был точно исполнен. Поднялся туман, тяжелый и плотный:

Смертельно-белый мрак спал над песком и морем
И, вдаль катясь вдоль мрачных берегов,
Нес голоса дней будущих и прошлых.

Но, прежде чем солнце зашло окончательно,

Ветер унес из тихого пространства
Весь пар, что затмевал закатный луч,
И бледный вечер сплел сиянье влас
В темнеющие локоны по сторонам глаз дня.

Есть и другое для вас, тоже подходящее:

С движущимися лестницами света и тени,
Смутное в цвете и форме,
Над вратами ночи солнце висело,
Взирая навстречу шторму.

А позднее:

Сумерки, медленно всходя с востока,
Добавили темные складки к волшебному покрывалу
Над ясным челом и сияющим светом дня.

Однако потом появились

Пустые резные тени
Вечера и стенания ветра.

Когда я уходил,

После заката по берегу, то услышал
Странную музыку и, оглянувшись
На мирное побережье Лайонесса, –
Когда звезды маяков сияли над головой
И свет дикого моря длился у ног, –

Увидел их: пламя за пламенем
Вдали, в пылающем сердце запада.

Действительно, около пяти маяков можно было увидеть над

Поднимающимся миром вод, просторным и глубоким.

На обратном пути я помедлил, восхищаясь вечером,

пока луна,
Возводя в облачное величие
Законную королеву, не раскрыла ее бесподобный свет
И не бросила над тьмой ее серебряную мантию.

В самом деле, вы должны извинить эту батарею цитат, но я приобрел привычку цитировать для себя подходящие строки и на этот раз решил их записать. Действительно, сцена была совершенной и приятной; и каждая из этих строк могла бы быть написана, чтобы соответствовать ей, – так же, как многие другие фразы, которые я помню, но я буду милостив и освобожу вас после этой:

Закатные лучи бросали радужные краски
Меж двигавшихся куполов вздымавшихся брызг.

Море было удивительного синего цвета, какой иногда встречается здесь, все являлось совершенным; и там *больше никого не было*. Это последнее многое добавляет к нашему наслаждению природой и ее щедрой красотой. Вся эта сцена была сохранена для меня одного: это удивительная и превосходная мысль, чтобы поразмышлять. Я могу только желать, чтобы мой разум был более восприимчив, а эмоции – глубже затронуты. Природа содержит тот дух и силу, о которых мы можем свидетельствовать, но не можем их оценить; можем внутренне воспринимать, но не можем понимать; можем любить, но не ограничивать,

представлять, но ни определять, ни описывать. Природа недоступна пониманию, она обладает свойством ускользать и к тому же является бессмертной, а любовь к ней и к производимым ею впечатлениям неискоренима».[6]

Позднее Лоуренс посетил шато Ла-Юнодэй, начало строительства которого датируется 1220 годом. Пятиугольное в плане, оно располагается в долине на небольшой возвышенности и окружено рвом. Целью его возведения было обеспечение контроля над рекой Арганон, что являлась границей между землями Ламбалль и Динан, которые тогда враждовали. Лоуренс зашел в одну из башен, высотой в пятьдесят футов и состоящую из пяти этажей. Наверх вела лестница, начинавшаяся у почти погребенного камнями входа в кромешную тьму. Его следы оказались единственными на многолетней пыли древних ступеней... Он исследовал башни, залы и переходы; в полутьме взбирался по трудным камням стен, чтобы достичь рельефов, расположенных иногда на середине башенной стены. «Было бы намного интереснее, если бы у меня была лестница, чтобы добраться до разных уголков, обычно недоступных. Комната со скульптурами самая чарующая. Представьте удовольствие от прохода вокруг по 4-дюймовому выступу и попытки сделать надписи на скульптурах, видимых лишь наполовину. Друг со свечой был бы полезным добавлением»,[7] – писал он и продолжал: «Невероятно количество живописных частей и превосходных видов в замке. Если бы у меня был фотоаппарат, я сделал бы три дюжины снимков, не фотографируя одно и то же место дважды».

Свои впечатления об этом посещении он изложил в огромном письме (в печатном виде – семь страниц), обращенном одновременно и к семье, и к Скроггсу. Лоуренс не постеснялся побранить его: «Скроггс был таким ослом в поездке: категорически отказывался верить, что может

быстро ехать, а потом однажды проехал 8 миль за полчаса (от Гинкампа до Шато-Лодрена). Я каждый день обсуждал с ним этот вопрос, но он не поддавался убеждению. Ожидаю, что теперь он верит в свои силы. Если нет, я возьму его в поездку или две, и мы сделаем 18 миль в час. Не забочусь, что он скажет тогда».[8]

Сам Лоуренс ездил на велосипеде необычайно быстро, преодолевая большие расстояния. Так, 14 августа 1906 года он сообщал из Гинкампа, что за 40 секунд проехал полкилометра (по песку, с попутным ветром). «Но до сих пор 30 миль в час было замечательно хорошо».[9] За все это путешествие он проехал около семисот миль.

В том же, 1906, году Лоуренс, не выдержав натисков матери, сбежал в армию, где прослужил около полугода, пока его оттуда не освободил отец. Армейские условия произвели на него, столь чувствительного, неприятное впечатление, что, однако, не помешало ему спустя шестнадцать лет повторить этот опыт.

В следующем году он продолжил свои путешествия и изыскания, посетив в апреле замки и церкви Уэльса. Поначалу его сопровождал брат Роберт, а далее он следовал по своему маршруту один. В гостинице в Кидуэлли он случайно услышал разговор хозяйки с ее родственниками, где он был предметом обсуждения. «Семейный совет пришел к заключению, что я, возможно, буду чем-то. Весьма бессмысленный вывод, я думаю».[10]

В июле 1907 года Лоуренс окончил школу и в октябре поступил в Колледж Иисуса на исторический факультет. Там он был «странной фигурой».[11] Как в любом обществе, он оставался в стороне, «потому что его путь отличался от путей других»[12] (каждая своеобразная личность имеет

свой собственный путь, который всегда одинокий) и с удовольствием нарушал условности, которых не терпел вообще, а ныне это оказывалось неизбежным. «[Когда] большинство из нас едят и спят слишком много, было ли неестественным для него сидеть в Холле за обедом, не прикасаясь к пище (если он там вообще появлялся)? – спрашивает его товарищ В. Ричардс. – Или прогуливаться взад и вперед в спокойствии ночи по университетскому двору, когда остальные спали?».[13] Как и прежде, Лоуренс не принимал участия в играх, даже не смотрел на них – «из жалеющего отвращения»[14] и уже подчеркнутого нами нежелания выделяться.

В колледже он прожил первый год, остальное время (до июля 1910) жил дома.

В учебе он проявлял самостоятельность, присущую оригинальным умам, которые отчасти сознательно, отчасти интуитивно избирают то, что необходимо для становления их талантов. Мало обращая внимания как на рекомендуемые пособия, так и на необходимость регулярно посещать лекции, он продолжал собственные штудии: «Единственное, чем стоит обладать, – это тем, что наработано самостоятельно».[15]

Глава VIII

Вивьен Ричардс. – Его отношения с Лоуренсом. – Его образ. – О книге Ричардса.

Когда Лоуренс жил при колледже, он имел обыкновение прогуливаться ночами по двору. Во время одного из таких задумчивых блужданий он повстречал Вивьена Ричардса (1886–1968), тогда студента третьего курса. Ричардс давно приметил этого привлекательного юношу;

поэтому маловероятно, чтобы их встреча была случайностью.

Они познакомились. С тех пор Ричардс утратил покой: он безумно влюбился в Лоуренса. Но тот, принимая его дружбу, не проявлял к нему никакого любовного интереса. «Для меня это была любовь с первого взгляда, – вспоминал Ричардс. – Но он не имел ничего плотского, в том числе и плотской чувственности: он словно не понимал этого. Принимая, как должное, мою привязанность, самопожертвование, полную покорность, в конце концов, он никогда не давал ни малейшего намека на то, что понимает мои мотивы или воспринимает мои желания. В ответ на все, что я дарил ему (со скрытыми мотивами, надо признаться), он одарял меня чистейшей привязанностью, любовью и уважением, каких я не получал ни от кого». Однажды Ричардс не выдержал и откровенно сделал Лоуренсу интимное предложение, но тот ему отказал.

Лоуренс должен был хорошо понимать его желания и действия, однако отвечать на них он не мог, потому что его собственные потребности были достаточно удовлетворены: у него был Грин. Только это являлось причиной его странной «холодности», но Ричардс, по всей видимости, так и не узнал об этом.

Зато Лоуренс оценил его как товарища. Хотя они были противоположностями друг другу, их объединяли чувствительность, чуткость, способность увлекаться. Однако Ричардс не обладал равной ему глубиной, не было у него и столь многообразных интересов.

В письме к Уильяму от 31 января 1911 года, Томас пишет о своем приятеле: «Твоя характеристика кажется мне очень подходящей и замечательно полной, но я должен сказать, что, по моему мнению, “снобизм,” который придает неприятную чванливость его суждениям, происходит скорее от недостатка понимания, нежели умышленно.

Ричардс чрезвычайно узок в своих взглядах и интересах и склонен приговаривать все, в чем не находит того особенного оттенка и рода мысли, которые его привлекают. Он вовсе не интеллектуал, но художник до кончиков пальцев. ... Как только направляешь его к тому, что он считает хорошим, он полностью теряет свое критическое чувство и становится самым пылким пророком. Он говорил мне вещи такой интимности и прямоты, каких я ни от кого не слышал. Он ... очень многосложная и трудная личность». «Метафизик по природе»,[1] «невероятно искренний, невоспитанный уэльский философ»,[2] – отмечал Лоуренс годы спустя.

Лоуренс, несмотря на свою чувствительность, был сверхрационален, и интеллектуальная сила имела для него даже большее значение, чем душевные качества. «Он потерпел поражение скорее от придания чрезмерного значения разуму», – писал сам Ричардс в его биографии. Сила ума была одним из необходимых условий для создания близости, и как раз в этом Ричардс уступал ему.

Ричардс был пылок, мягок, покорен – скорее ведомый, чем ведущий. Его мягкость находила ответ в теплоте Лоуренса, и ему было хорошо рядом с более уверенным товарищем, обладавшим ярким и упорядоченным духовным миром. Но Лоуренс сам нуждался в ком-то более сильном, и это являлось второй причиной его неудовлетворенности: Ричардс не обладал той внутренней силой, что привлекала его. Он смотрел на Лоуренса влюблеными глазами, готовый исполнить любое его желание, а тому хотелось интеллектуального равенства и превосходящей волевой силы. Личностной гармонии у них не могло быть.

Но благодаря своей человечности, Ричардс остался товарищем Лоуренса на всю его жизнь: именно в человечности заключалось соединявшее их начало. Достаточно

прочитать «Портрет Т.Э. Лоуренса», написанный Ричардсом, чтобы уловить его способность сочувствовать и стремление понять, а также ощутить теплую порывистость души навстречу человеку. От этой маленькой книги исходят искренность и теплота: в этом ее достоинство, равно как и в емкости слова. Так, заключение Ричардса, что успех Лоуренса состоит «в природе его существа, а не в том, что он мог сделать», – пожалуй, лучшее, что сказано о нем. Важно то, что Лоуренс *был*, а не то, что он сделал.

К сожалению, восхищенный взгляд любящего Ричардса исказил в книге образ его друга. Через написанную им биографию проходит лейтмотивом утверждение «превосходства» (supremacy) Лоуренса – не как факта (разве не был он на самом деле незауряден?), но как доминанты его духовного образа, всенаправляющего качества: «Всю жизнь он должен был быть превосходен во всем» (с. 3). И в подтверждение своих слов он пишет, например, что Лоуренс не рассказывал смешных историй про себя: «Его превосходство не должно казаться пострадавшим» (с. 5), «он никогда не должен казаться поверженным никоим образом» (с. 20). И тотчас приходят на память забавные случаи, рассказанные Лоуренсом Э.Т. Лидсу (в будущем мы познакомимся с ними), истории из «Чеканки» (которая даже начинается эпизодом не только веселым, но и весьма неловким для рассказчика). Возможно, он не сообщал о подобных происшествиях *Ричардсу*, и тот счел это правилом поведения. То, что Ричардс воспринимал как некую позу, основанную на осознании своего «превосходства», являлось в действительности уже упомянутым стремлением к совершенству в любом деле, которое вело к постоянному состязанию с самим собой и повторяющемуся поражению – от собственной силы и чрезмерной требовательности к себе.

«Я такой же человек, как другие», – утверждал Лоу-

ренс и бежал всяческих возвеличиваний. Однако их не избегали его разнообразные «поклонники» – даже биографы: «Эти люди настолько все преувеличивают, что делают меня скорее горой, чем человеком».[3] Ричардс, всю жизнь любивший его, тем более не мог быть свободен от субъективности.

Так писал тот, кто знал Лоуренса-*человека*, а не химеру, созданную его позорящей славой, что привлекла к нему немало чуждых, только любопытствующих людей. Едва ли стоит удивляться горчайшей пристрастности иных, кто осмеливается считать себя его биографами – разного рода психопатологов, критиканов и живодеров, которые являют неискушенному читателю свои умственные выкидыши как откровения. Наивное преклонение Ричардса при его завораживающей теплоте невозможно осудить: он ошибается из-за любви, и его книга – ласковый поцелуй образка, хранимого с благоговением. В суждениях о Лоуренсе трудно быть беспристрастным: он был слишком сложен – даже для тех, кто знал его всю жизнь, не говоря уже о потомках. И, если субъективности не избежать, предпочтительнее ласкать его образ, чем сдирать кожу в поисках истины. Человечность даже в своих ошибках лучше жестокости и зломыслия.

Ричардс понимал своего друга, насколько было для него возможно, и был честен с ним, а его критические замечания относительно «Семи столпов мудрости» оказались по-настоящему полезны и являлись наверняка единственными замечаниями, к которым стоило прислушаться. И только несоответствие духовных глубин и отсутствие в Ричардсе той силы, что требовалась Лоуренсу, воспрепятствовали созданию союза, который избавил бы последнего от одиночества.

Из всех товарищей Лоуренса Вивьен Ричардс был самым близким.

Глава IX

Путешествие по северной Франции в 1907 году.

В августе 1907 года Лоуренс предпринял второе путешествие по северу Франции. Вначале его сопровождал отец. Они посетили Бовэ, Жизор и добрались до Птит-Андли, у замка которого, Шато Геллар, одно из самых живописных расположений. В этот раз Томас взял фотоаппарат – и не напрасно: «Шато Геллар было величественным, а почтовые карточки столь жалкими, что я провел там лишний день и не делал ничего, кроме как фотографировал – с 6 утра до 7 вечера».[1] Он был зачарован открывшимся ему зрелищем: «План Шато удивителен, исполнение восхитительно, а расположение совершенно».[2] Они с отцом остановились в гостинице, неподалеку от черного входа которой протекала Сена: «Временами мимо гостиницы проплывают длинные вереницы барж, которые тянет паровой буксир».[3] Томас нашел превосходным купание с небольшого, поросшего деревьями острова на середине реки.

Позднее он расстался с отцом, который вернулся в Англию, и направился к югу. Он снова посетил Фужер и полюбовался им при лунном свете: «Я редко видел более изысканное зрелище».[4] Затем – Ле-Ман, в соборе которого он сфотографировал изображение Беренгарии – дамы Ричарда I, Сомюр, «что до сих пор местами такой же, каким его изобразил Бальзак в “Евгении Гранде”»,[5] Анжер, «очень причудливый город, испорченный электрическими трамваями»,[6] Сен-Мало и Динар. «В Динаре я обошел 5 гостиниц, но все были полны, – сообщал Лоуренс домой. – Так как было 8 часов вечера, я пошел к Шеньонам и бродил, пока они ужинали. Когда я заговорил и представился, произошла самая живая сцена: все

принялись приветствовать меня, настаивать на том, чтобы я остался на ужин и ночлег, и, передавая разного рода послания вам, говорить, что я там всегда друг, что меня всегда рады видеть, когда бы я ни пришел. Они были чрезвычайно огорчены тем, что я собирался уйти на следующий день. Там присутствовал месье Корбей и был сражен, когда узнал, откуда я прибыл. Я дал им тему для разговора на неделю. "Deux cent cinquante kilometres, Ah la-la, qu'il est merveilleux. Deux cent cinquante kilometres... [Двести пятьдесят километров! О, это удивительно! Двести пятьдесят километров...]". Кстати, Шеньоны и Ламбали сделали комплимент моему французскому: меня дважды спросили, из какой части Франции я прибыл».[7]

На следующий день Лоуренс достиг Ламбаля, откуда намеревался добраться до Гинкампа. Однако начался сильный дождь, и он там задержался, получив, таким образом, возможность исследовать местную церковь, где на него сильное впечатление произвело каменное кружево крестной перегородки. На другой день он сделал ее фотографию, потратив три часа для выбора ракурса, а затем поехал в Ла-Юнодэй. Там его обеспокоило состояние замка, и он написал соответствующему человеку, попросив принять меры для его сохранения.

В третьей декаде месяца Лоуренс посетил Мон-Сен-Мишель – аббатство времен раннего Средневековья, венчающее высокую скалу в бухте Ла-Манша. «Мечта многих лет исполнилась. Сейчас прекрасный вечер, прилив высок и поднимается примерно на 20 футов над уровнем улицы. К тому же звезды чудесно сияют, и скоро, говорят, взойдет луна. Особенно меня интересует фосфоресценция на воде: я видел это лишь один-два раза и никогда так хорошо, как этим вечером. Море, когда в него погружается весло, кажется объятым пламенем на несколько футов вокруг».[8] Вспыхивали мириадами звезд черные воды, и ничто не

нарушало внутренней тишины – на этом острове белого монастыря, где красота оберегала спокойствие души так же, как готические арки клуатра – покой Вечности. А самым прекрасным было радостное сияние голубых глаз, которым предстояло увидеть и грязь, и кровь и смотреть на мир сквозь слезы.

Глава X

Знакомство с Э.Т. Лидсом. – Жизнь Лидса. – Его отношения с Лоуренсом.

Весной 1908 года Лоуренс познакомился с Эдвардом Тарлоу Лидсом (1877–1955), прибывшим в конце марта того года в Оксфорд для трехмесячного испытания в качестве помощника хранителя музея, должность которого занимал Артур Эванс. Первым делом Лидс приступил к замене этикеток в коллекции средневековой утвари. «А несколькими днями позднее перед моими глазами появилась очень юная личность, вопрошая, что я делаю. Моим первым движение было ответить уклончиво, скрывшись в своей скорлупе “Занимайтесь-своим-делом,” но я удержался. Вопрос сопровождался смелой и к тому же привлекательной улыбкой, а замечания незнакомца тотчас показали мне, что я имею дело хоть и с юным человеком, но знавшим коллекцию гораздо лучше, чем я».[1] Так произошло знакомство «двух весьма застенчивых людей»,[2] которому предстояло длиться – с большей или меньшей интенсивностью – до самой смерти Лоуренса.

Тарлоу Лидс был вторым сыном землевладельца Альфреда Николсона Лидса, члена Геологического общества, приобревшего европейскую известность как палеонтолог

(его коллекция морских рептилий, несколько разновидностей которых носят его имя, позднее перешла в отдел естественной истории Британского музея). Юный Лидс сопровождал отца в его походах по округу Петерборо в поисках окаменелостей и так сам вскоре сделался сведущим палеонтологом. Морские фоссилии стали предметом его первых публикаций (1907-08). Значительное влияние на сферу его интересов, а позднее научных выводов оказало проживание в Айбери, на болотистой земле, что являлась ключевым пунктом для иммиграции, особенно англо-саксонской, в восточную и центральную Англию.

Лидс окончил школу в Аппингаме и затем Колледж Магдалины в Кембридже, где изучал классическую филологию. В 1899 году, по окончании Колледжа, он поступил в колониальные войска и провел два года в Китае, изучая язык. Китайский язык и культура этой страны стали другим его увлечением. Однако долго служить ему не пришлось. Здоровье, хрупкое с детства, на Востоке было потеряно окончательно, и ему пришлось отказаться от выбранного пути. Последовали пять лет выздоровления в Айбери. Этот вынужденный досуг он посвятил изучению коллекции отца и поискам новых материалов. Во время изысканий в карьерах ему иногда встречались следы стоянок первобытного человека. Их коллекционирование дало начало интересу к археологии – тому, что стало делом его жизни.

В 1908 году Лидс случайно познакомился с Артуром Эвансом, и эта встреча решила его судьбу: он был назначен помощником хранителя Музея. Обширные познания (в том числе в языках), внимание к деталям и стремление дойти до сути создали из него прекрасного ученого.

Вскоре после занятия Лидсом новой должности, Эванс ушел в отставку, чтобы получить возможность вести исс-

ледования на Крите, и хранителем Музея стал Дэвид Джордж Хогарт. Областью его изучения являлись Средиземноморье и Ближний Восток, так что территории Северной Европы и Англии оказались в ведении Лидса, который также занимался регистрацией и распределением того многочисленного материала, что поступал из различных регионов, где проводились раскопки: из Египта, Крита, Сирии. Основными же в его штудиях до войны были англо-саксонская и тевтонская сферы.

В 1913 году был опубликован труд Лидса «Археология англо-саксонских поселений», положивший начало новой области исследований и ставший источником первостепенной важности для последующих изучений. В 1917 году Лидс поступил на работу в разведку, где его знание языков оказалось чрезвычайно полезным. Однако работа слишком утомила его, так что в 1919-м он был вынужден взять длительный отпуск из Музея. После войны он вел раскопки в Великобритании, привлекая к участию в работе добровольцев, в основном студентов, что тогда было новшеством. В 1928 году он вступил в должность хранителя музея Эшмола и Отдела древностей. В 1936-м перенес два тяжелых сердечных приступа, от последствий которых полностью так и не оправился. Однако любовь к своему делу помогает преодолевать многое: в 1938-м он вернулся к своим обязанностям и работал вплоть до своей отставки в 1945 году.

Лоуренс и Лидс были противоположностями, которых соединила любовь к археологии и к знанию. В годы учебы Лоуренса в колледже он был для Лидса неоценимым помощником при составлении коллекций в музее, а позднее, находясь на раскопках в Сирии, писал ему чаще, чем кому-либо другому, кроме своей семьи. Его довоенные пись-

ма к Лидсу являют собой интересное исключение из его эпистолярного наследия. Они полны того живого, веселого духа, что был присущ юному Лоуренсу. «О, Лидс», – обращался он и рассказывал о раскопках и своей деятельности с жизненной, а не «научной» стороны. Радость, восхищение, надежда, иногда разочарование пронизывают эти строки, написанные в особом, торжественно-шутливом, тоне. В годы войны интонация изменилась, и именно в этих письмах прорывалось истинное настроение Лоуренса – то «возрастающее напряжение»,[3] которое ясно уловил его адресат. После пары записок 1918 года переписка с Лидсом прекратилась: Лоуренс имел возможность иногда видеть его.

Лидс был одним из немногих, кто сумел хотя бы отчасти понять «безумство» Лоуренса – уход в армию. «Неистовый поиск умственного спокойствия»,[4] – назвал он этот шаг.

Во время их последней встречи, в конце первой декады апреля 1935 года, Лоуренс вновь, как прежде, заговорил о вопросах археологии, и Лидсу показалось, что тот возрождается и, может быть, вернется к работе, «которую никогда не забывал».[5]

В 1938 году Лидс написал очерк о Лоуренсе – шестьдесят восемь страниц рукописного текста (возможно, не предназначавшегося для публикации). Когда Дэвид Гарнетт готовил издание писем Лоуренса (впервые увидевшее свет в том же, 1938, году), Лидс разрешил опубликовать лишь четыре из пятидесяти трех писем к нему, причем без указания имени адресата – с заголовком «К другу».

В своем очерке Лидс вспоминает некоторые случаи, связанные с Лоуренсом, пару из которых стоит здесь привести.

Однажды они обсуждали назначение Лидса как научного руководителя при написании Лоуренсом диссерта-

ции. «Я выразил свое удивление, поскольку он не нуждался ни в каком руководстве с моей стороны. На его лице появилась озорная улыбка. "В этом-то и причина, – что я не нуждаюсь в руководстве," – сказал он».

«[Другой случай произошел], возможно, до того, как он уехал в Сирию (я не могу точно припомнить год). Однажды он пришел в Музей и сообщил мне, что испытывал мотоцикл. Я спросил, было ли испытание успешным. Он ответил, что нет: он разбил мотоцикл вдребезги на вершине Камнор Хилл. "Собрал ли ты его?" – спросил я. "О, да! Все, кроме некоторых частей, которые я счел ненужными для его счастья"».

Глава XI

Путешествие Лоуренса по Франции в 1908 году: Цель. – Рацион. – Интерес к событиям в Турции. – Испытания вне представления древних. – «Таласса!» – Эг-Морт. – Средиземное море. – Безье. – Каркассон. – Тулуза. – Альби. – Корде. – Несносные собаки Лимузина. – Шартр.

Лоуренсу посчастливилось, что профессора в университете были достаточно проницательны и либеральны, чтобы оценить его способности и позволить ему защитить диссертацию по какому-либо специальному вопросу, поскольку он пренебрегал обычным курсом. Он выбрал тему «Влияние крестовых походов на средневековую военную архитектуру Европы» и в июле 1908 года снова отправился во Францию – на этот раз с целью собрать материал для своей работы.

До Гавра его сопровождал Уильям, а дальше он ехал один, на велосипеде, по направлению к югу. Днем он осматривал встречавшиеся по пути замки и храмы, а на ночь

останавливался в гостиницах. Его пищей были молоко и фрукты – персики, абрикосы, вишни. Молоко он заказывал в гостиницах с вечера – один литр, что удивляло их работников: «Забавно наблюдать их попытки убедить меня в том, что я ошибся: “Месье не имеет в виду литр: это слишком много”».[1] Также в его рацион иногда входили «восхитительные зеленые сливы»: «Кто сказал, что они неполезны? Однажды я съел 126 штук и проехал 90 миль, на следующий день я ими позавтракал, пообедал и поужинал (в самом деле, весь день не прекращал их есть) – и никаких последствий».[2]

Тем летом стояла сильная жара, заставлявшая всех скрываться от солнца в полуденные часы. Но Лоуренсу ничто не мешало наслаждаться красотами природы, замками и храмами, а также сохранять интерес к событиям в мире: «Сообщите мне, что происходит в Турции, – писал он домой. – В том хламе, который здесь называют газетами, сегодня пишут, что волнения распространяются среди населения и совершается революция, а завтра, что все спокойно, и султан пьет чай, как обычно, в 6 часов на террасе. Сегодня, как я вижу, провозглашена конституция, и он намерен отменить ее. Обязательно дайте мне знать какие-нибудь надежные факты, если в этом что-то есть: это вполне может быть важным».[3] Внимание Лоуренса было приковано к Востоку – к Турецкой империи, под игом которой находились любимые им арабы. То, что его заинтересовало, было революцией младотурок – националистической реформистской партии. 22 июля 1908 года группа турецких офицеров взяла контроль над 3-й оттоманской армией в Европе, а 24-го предъявила ультиматум султану Абдул Хамиду II, прозванному «Абдул Кровавый»: предоставить конституцию или оставить трон. Султан предоставил конституцию, став номинальным правителем. Власть младотурок сохранялась до 1918 года.

В конце июля Лоуренс посетил Везелэ: «Я нашел его грандиозным, но скорее по скульптуре, чем пропорциям».[4] Путь к красотам был нелегким: так, на участке Невер – Мулен – Ле-Пюи ему пришлось сделать двадцать миль по дороге, что, в основном, шла в гору: «Она вела вверх по великолепному ущелью, на дне которого пенилась река, а с каждой стороны высились скалы и холмы. Это было самым прекрасным пейзажем из всех, что я проезжал. Поистине, Овернь – удивительный округ, но не для велосипедиста. Когда-нибудь я пройдусь здесь пешком. Вулканы (все, конечно, потухшие) смотрятся странно, так как беспорядочно и бессвязно нашлепаны по всей местности. Их состав различен (песок, скалы и т.д.), и выглядят они безобразно. ... От Ле-Пюи я проехал еще 10 миль, утешая себя мыслью о том, что мои страдания превосходят представления античности, поскольку они были комбинацией (в похожем климате) страданий Сизифа, который катил тяжесть в гору, Тантала, для которого не было ни питья, ни фруктов, и Тезея, обреченного вечно сидеть.

Наконец, я достиг вершины, проделал 15 миль вверх и вниз до "св. Некто-кого-не-хочу-больше-встречать," за чем последовал стремительный спуск в 4000 футов до Роны. Он проходил вниз по долине, где дорога выбита на краю пропасти, и все это было великолепно волнующим. В самом деле, настолько, что от всего этого и от жары я чувствовал себя довольно болезненно, когда спустился вниз. Ту ночь я спал в Крюссоле, прекрасном замке XII столетия, возвышающемся на 500-футовом обрыве над Роной».[5] Затем он побывал в Авиньоне, Тарасконе и Арле. «Из Арля я доехал до Ле-Бо. Это странный разрушенный и умирающий городок, расположенный на одинокой, "в оливковые рощи обутой" горе. Здесь меня ожидал самый восхитительный сюрприз.

Я смотрел с края обрыва вниз на долину, уходившую равниной вдаль, и наблюдал, как зеленый цвет переходит в коричневый, а коричневый – в серую линию на дальнем горизонте. Вдруг из-за облака выглянуло солнце, и словно серебряная дрожь прошла по серому. Это произвело на меня такое впечатление, что я невольно воскликнул: "Таласса! Таласса!" Эхо моего голоса прокатилось по долине и вспугнуло орла с противоположного холма, а также двух французских туристов, которые бросились наверх, надеясь обнаружить там второго из тех отвратительных убийц, о которых столько шумят, предполагаю, их газеты. Они были разочарованы, когда услышали, что это "всего лишь Средиземное море"!»[6]

Из Ле-Бо Лоуренс добрался через Арль до Эг-Морт – забытого миром старинного городка с узкими улицами в кольце полностью сохранившихся стен, откуда некогда выступил в свой крестовый поход Людовик Святой. Именно здесь Лоуренс впервые увидел Средиземное море: «Я купался сегодня в море, в великом море, величайшем в мире, – рассказывал он в письме к матери. – Вы можете представить мои чувства... День был приятный – солнечный, теплый, с легким ветром. На море вместо привычных для нас длинных, катящихся бурунов была короткая танцующая рябь, *"и из волн звуки, как наслаждение, устремлялись вперед."* Жесткий песок покрывал берег настолько, насколько хватало глаз, и на песке была такая же рябь, как на волнах. Все это было мелким и самым приятным, самым восхитительным:

> ... Я люблю все бескрайние,
> Уединенные места, где мы понимаем
> Удовольствие верить, что все перед нами
> Не имеет границ, как души в наших желаниях.

Вы сильно заблуждаетесь, дорогая мама. Гора может

быть значительной, великой, “но, если лучше пребывать в мире, спокойствии и чистоте, pacata posse omnia mente tueri,[7] если это наилучшее из состояний, тогда равнина – наилучшее место.” Очищающее влияние равнины бесподобно. Там мы можем спокойно присесть и подумать о чем-нибудь – или ни о чем, что, по словам Уордсуорта, лучше всего. Там мы чувствуем мизерность вещей и деталей и огромную, ненарушенную безмятежность целого. Нет, дайте мне равнину, уходящую вдаль, насколько хватает глаз, и там я найду достаточно красоты, чтобы быть удовлетворенным, а также спокойствие! Именно этого мы не находим в горах: там никогда не покидает ощущение, что идешь вверх или вниз, что будешь чувствовать себя лучше и видеть яснее на вершине, чем в долине...»[8] Спустя восемь лет ему открылась бескрайняя равнина, сливавшаяся с горизонтом: аравийские пески под бьющим солнцем, где ровная линия земли являла уже не умиротворение природы и духа, но границу надежды и отчаяния.

«Что же касается моего купания, это было приятное время. Надеюсь, что “услышу, как над моим умирающим разумом дышит море в последней своей монотонности”[9] в такой же день, как этот, а еще на закате. Тепло было столь приятным, каким только может быть, а вода – восхитительно освежающей. Я чувствовал, что достиг, наконец, пути на юг и всего великолепного Востока. Греция, Карфаген, Египет, Тир, Сирия, Италия, Испания, Сицилия, Крит – все они были там... и все... в моей досягаемости».[10] Так воды Средиземного моря принесли Лоуренсу в радужном сиянии волн и отсвет Сирии, где ему предстояло встретить и счастье свое, и трагедию.

Затем он посетил Ним, Агд и Безье. Последний «известен тем, что стал свидетелем резни, учиненной в годы войны против альбигойцев под предводительством Де Монфора. Город был взят, и крестоносцы хотели убить

еретиков, но в городе также было много католиков. “Что будем делать?” – спросили у легата, Питера из Кастельно. “Убейте их всех, – ответил он, – Бог узнает своих.” И около 8 тысяч человек были хладнокровно перерезаны. Милые люди, те крестоносцы XIII века!»[11]

Оттуда Лоуренс направился в Нарбонну, а потом в Каркассон, замок которого привел его в восторг: «Это место совершенно не поддается описанию. Оно хранит следы всех эпох: много римской работы, много вестготской, великолепная сарацинская башня, некоторая каролингская работа и средневековая разного рода до конца 14-го столетия – *ничего позднейшего*, кроме весьма незначительной современной реставрации. Потому это место – интереснейший и ценнейший пример военной архитектуры (так как во все времена это было первоклассной крепостью), и к тому же оно удивительно живописно. Художник, работающий в черном и белом цвете, мог бы достичь здесь самых изумительных эффектов (нет никакого другого цвета в строении и никаких вьюнков и растений).

Из Каркассона я поехал в Тулузу – под проливным дождем и добрался не по гладкой дороге, но по болоту: за несколько минут все дороги покрылись водой на дюйм. Пострадали виноградники и хлеба, цена на фрукты возросла вдвое, все залито – или, скорее, было. ... Я промок до нитки за минуту (длилось это 30) и высох за час, так как солнце выглянуло потом с палящей силой, и дул яростный встречный ветер. Мне потребовалось ровно семь часов, чтобы достичь Тулузы (70 миль). Тулуза – ужасный современный промышленный город, только с одной церковью, но красивой. ...

На следующий день я поехал в Альби, где кафедральный собор меня разочаровал – своим интерьером. Скульптуры, о которых я слышал так много, были ренессансными и определенно второсортными. Их были целые ярды.

Удивительно, что удалось сделать так много. Все место покрыто живописью (итальянской, XV века) и, главным образом, безвкусной. Внешне собор изумителен и сильно напоминает мне пивную бочку – или целую серию пивных бочек, наваленных вокруг формы для бланманже. Все это из розового кирпича и одно из самых поразительно оригинальных строений, которые существуют. Не забуду гигантскую раздувшуюся массу апсиды, что довольно внезапно поднимается над небольшой рыночной площадью. Люди и даже дома поблизости выглядят крошечными, как колония муравьев».[12]

Из Альби Лоуренс перебрался в небольшое местечко под названием Корде: «Это самый живописный городок из всех, что я видел на своем пути. Он находится в Тарне – округе, что изолирован от остальной Франции диалектально, географически, этнологически и даже климатически. Люди здесь совсем не похожи на французов и не говорят по-французски».[13] Старинные домики с красными крышами и украшенными резьбой фасадами покрывали крутой холм в долине. «Каждый дом – предмет для художника. Краски просто бесподобны. Здесь можно жить месяцами, рисуя ежедневно – при условии, что удастся избежать лихорадки или подобных пустяков. Визит сюда – это взгляд на три века назад».[14] «Окрестности представляют собой разворачивающуюся картину холмов и долин, поросших тополями, со страшными ущельями, где Тарн протекает меж гор. Лодка может пройти по большей части него, если гребец знает скалы, и, говорят, это одно из самых невероятных путешествий в мире. Утесы (часто 400-700 футов высотой) местами сближаются до 60 футов у вершин (есть даже естественные мосты), и река на дне мчится в полутьме со скоростью 8 миль в час. Все это, с водопадами и стремнинами, имеет протяженность 60 миль. Все селения (городов нет) освещены, конечно, эле-

ктричеством, хотя, общим счетом, меньше, чем Бегбрук [селение близ Оксфорда]. Гостиницы встречаются изредка, и в каждой я – единственный постоялец».[15]

Пища там тоже была своеобразной: «Вчера omelette aux pommes de terre [омлет с топинамбурами] и другие блюда, неопознаваемые и неописуемые. Хлеб подобен... Может вообразить кожу, вымоченную в рассоле и затем проваренную до мягкости, с железной коркой и запахом, как у коньячных вафель? Мне потребовались значительные умственные и физические усилия, чтобы "продегустировать" кусочек. О молоке в последнее время неслышно; у масла запах, как у сливочного сыра, но вкус, как у "Грюйера" (спасибо за "Рокфор" – это его округ, и его сила сделала бы съедобной (или неопределяемой) помойную яму). В самом деле, обед для меня подобен экспедиции в Испанию, Неаполь, Северный и антарктический регионы, Центральную Австралию, Японию и т.д. Никогда прежде не бывало за 3 франка такого трепета, нервного ожидания и гальванического шока. Пусть каждый, кто чувствует скуку или пресыщение, приезжает в "Тарнэз Отель" на недельку. Здесь нет фруктов, вода в высшей степени подозрительна, и больше нет ничего, кроме вина. Я был в отчаянии, когда сначала увидел плантацию дынь, а потом кондитерскую, ощетинившуюся от choux à la crême [капуста под сливками]. Такая диета имеет недостатки, как в отношении цены, так и пользы для здоровья. Надеюсь уехать завтра из этого департамента. Кстати, моя привычка пить воду является предметом всеобщего изумления – гораздо большего, чем я мог ожидать. В гостинице после того, как я заказываю воду, мне приносят все, что угодно из имеющегося у них на первом месте. И я слышал вчера вечером, как прислуга говорила жильцам из соседнего номера, что здесь живет англичанин со странной шляпой, который пьет воду и любит ее больше, чем вино! Соседи решите-

льно заявили, что это blague, вздор, и ей пришлось вызвать хозяина, чтобы убедить их. Люди, кажется, не думали о воде как о питье, они воспринимают ее, как мы – масло или средство для мытья: полезно, конечно, но для кухни или чистки, не больше».[16]

Из Корде Лоуренс направился через холмистую местность в Нажак: «Я нашел там великолепный замок XIII века, совершенно нереставрированный. Город столь же живописен, как Корде, если не больше (улицы не вымощены, но вырезаны в цельной скале, дома нередко тоже). Есть великолепный фонтан XIV века, с бассейном в XII футов ширины и 3 глубины, весь из целого камня».[17] Затем – Вилльфранш, Каор, Фюмель и Монпазье – небольшой городок, выстроенный на холме англичанами около 1270 года. Об пребывании в последнем Лоуренс пишет: «Я спал в огромной комнате, где были издания Шатобриана, Корнейля и т.д.; с прекрасным ренессансным окном и великолепным полированным полом, со старой резной мебелью, хорошими картинами и т.д. ... Это было бы подходящим местом, чтобы провести месяц с читающей компанией».[18] Вечера наполняло мягкое пение цикад: «На террасе вокруг Монпазье это было великолепно. Сотни их пели в деревьях в прекрасное время в сопровождении хора лягушек в лугах и при полной луне, что озаряла графство, как день, на мили вокруг, так что я мог видеть огни, мерцавшие в окнах Ле-Шато де Бирон, расположенном в 15 километрах. Эти огни были отражением лунного света, поскольку Шато необитаемо».[19]

Следующим был Кастильон, что дал название сражению, завершившему Столетнюю войну, и Монтень, где жил знаменитый мыслитель: «Мне было чрезвычайно интересно посетить те места, которые он описывал».[20] Свой 20-й день рождения Лоуренс встретил в Шалю, где Ричард I получил рану, ставшую причиной его смерти. «Я

привыкаю к обстановке, – подытоживал Лоуренс. – Кажется почти естественным прогуливаться в дневной зной, писать письма в 10 часов вечера и слушать цикад».[21]

Он пересек на велосипеде всю Францию с севера на юг и вернулся в Нормандию: «Здесь, в Лимузине, все выглядит более привычным, но есть одна вещь, которую я не выношу: собаки. У каждой своя территория вокруг дома и, если она ее покидает, весь город просыпается от самого ужасного воя. Собака может быть заперта внутри, но тогда будет вне себя от ярости, чем и заразит всю округу. Прошлым вечером по временам около сотни собак лаяли одновременно (в гостинице – четыре). В эти дни я спал неглубоко и был четыре раза разбужен гамом. И в течение всего дня ни на минуту не остаешься без шума. Я с ума сойду, если останусь здесь дольше. Бешенство очень распространено. Предполагаю, что причиной погода. Неприятно, когда за тобой 4 мили гонится зверь размером с осла ... и так быстро, как только может. ... К счастью, дорога шла под гору, так что я легко победил. Что бы он сделал, если бы догнал? Он не мог пуститься в такой бег в жару для упражнения или развлечения».[22] Это письмо Лоуренс завершил поспешно: шум не позволял размышлять.

На следующее утро он выехал в Монбрюн, где осмотрел «очаровательный маленький замок с башней XII века». Оттуда – в Ангулем и после в – Коньяк. В конце августа он посетил собор Шартра. Этот храм, посвященный Деве Марии, был построен в конце XII – начале XIII, после того как четыре предыдущих уничтожил огонь. Простой в рисунке фасад обрамляют две колокольни разной высоты: правая, возведенная в XII веке, поднимается на 106,5 метров, а левая, XVI века, – на 115. Собор, имеющий в основе латинский крест 130 метров на 46, разделен на три нефа, каждый с отдельным входом. Двери образуют тройной арочный портал, украшенный в XIII веке более

чем семьюстами скульптурами, изображающими сюжеты из Ветхого и Нового Завета. Столь же богат и интерьер.

«Я ожидал, что Шартр, как и большинство французских кафедральных соборов, испорчен реставрацией. Так что я ускользнул до завтрака, чтобы “сделать” это. То, что я нашел, я не могу описать. Это абсолютно нетронуто и неиспорчено, находится в превосходной сохранности и является самым благородным зданием (тогда как Бовэ – лишь наполовину) из всех, что я видел или ожидаю увидеть. Если бы вы только могли представить его красоту, его совершенство, не отправляясь взглянуть на него! ... Он не огромен, но резьба на 3 порталах столь же прекрасна, как лучшие греческие работы. До вчерашнего дня я не поставил бы ни одного скульптора рядом с греками V века. Сегодня французы раннего Средневековья *могут* быть ниже, но я так не думаю. Ничто в воображении не может быть более великим, чем аранжировка трех огромных гротообразных порталов (30 с лишним футов глубиной) гигантской высоты, со статуями повсюду для пилястр, с барельефом для ровной поверхности, статуэтками и с верхними частями ниш для лепнины. Вся стена собора вырезана и обработана, как флорентийская табличка, и сделано это рукой мастера! Вы можете подумать, что отдельные фигуры застылы в обработке, детали грубы, все жестко и узко, – допускаю, но, когда видишь целое, когда можешь уловить одновременно обрамление *и* картину, тогда должно допустить, что ничто не может быть более великим, – кроме Парфенона, каким его создали руки Фидия. Это, должно быть, одна из самых благородных работ человека, как и самая прекрасная из наследия Средневековья. Это невозможно описать, кроме как в превосходной степени, но такое описание кажется столь жалко формальным, что я почти готов вычеркнуть все, что написал. Шартр – это Шартр, то есть галерея, построенная скульп-

торами, чтобы хранить более прекрасную коллекцию, чем мрамор Элжина.

Я вышел, как уже сказал, до завтрака и ушел, когда уже стемнело. Весь день я бегал от одной двери к другой, находя в каждой нечто, что мне казалось более прекрасным, чем то, что я оставил, и затем возвращался, чтобы найти, что самое прекрасное было напротив. Ибо это – место, которое совершенно невозможно вспомнить или вообразить, – во всяком случае, мне. Это огромно. И когда наступила ночь, я был совершенно изнуренный и промокший до нитки (весь день лил дождь), но с чувством, которого я никогда прежде не испытывал в такой степени: словно я нашел тропу к вратам Небес и заглянул внутрь сквозь приоткрытую дверь. Вы поймете, что я чувствовал, хотя я не могу это выразить. Определенно, Шартр – видение жизни, воистину должное место для почитания Бога. Средние века были в этом правдивее, чем мы, вопреки их узости, жесткости и незнанию истины, как мы самодовольно выражаемся. Истина гроша ломаного не стоит, если люди только верят в то, что говорят, или готовы показать, что они действительно во что-то верят».[23]

Лоуренс сделал, среди прочих, фотографию маленькой фигурки Философа, высотой около 18 дюймов: «Это может дать представление о том, что мельчайшие детали здания завершены с такой же заботой, как и центральные колонны главных входов. И если бы Философ был из греческого мрамора, его фотографии были бы в каждом альбоме, рядом с Гермесом Праксителя и Софоклом Латерана. Это великое произведение».[24]

В начале сентября Лоуренс вернулся в Оксфорд.

Глава XII

Первое путешествие Лоуренса в Сирию, 1909 год: Задача. – Предостережения. – Путь по морю. – Порт-Саид. – Бейрут. – Сидон. – Местные блюда. – Гостеприимство. – Восточные жители и их жилища. – Набатийе. – Дорога в Баньяс (Кесарею Филиппову). – Баньяс. – В Сафед. – Генисаретское озеро и Тивериада. – Палестинский зной. – Харошет. – Обратно в Бейрут. – Джебейль. – Калаат аль-Хосн (Крак-де-Шевалье). – Происшествие у Масияда. – Путь к Халебу. – Халеб. – Неприятности продолжаются. – Итоги.

Идеей дипломной работы Лоуренса являлось утверждение, что крепости крестоносцев на Востоке являются повторениями западных (французских) образцов, но не византийской архитектуры, как полагали в то время историки. Для того чтобы подкрепить свою теорию фактическим материалом, он решил использовать летние каникулы 1909 года для осмотра замков крестоносцев в Сирии. Хогарт предостерегал его, указывая на то, что лето является неблагоприятным временем для подобного путешествия и что потребуются значительные расходы на носильщиков и лагерное оборудование. Европейские путешественники на Востоке обычно нанимали драгоманов с вьючными животными и палатками со всей обстановкой, нередко избыточной (как табуретки или вешалки), а кроме того могли брать с собой поваров. Для Лоуренса при его аскетизме и с опытом поездок по Франции, в которых он не был стеснен никаким удобством, все это было излишне. Он собирался путешествовать один, пешком и налегке, рассчитывая на традиционное арабское гостеприимство в тех селениях, что встретятся на его пути. «Возможно также, – допускал он в дальнейшем, – что это приведет к моему немедленному аресту недоверчивыми турецкими властями, хотя лорд Керзон выхлопотал для меня у турецкого правительства открытое письмо к своим

губернаторам в Сирии с просьбой оказывать мне всяческое содействие. Это, несомненно, будет довольно пикантным паспортом для бродяги, странствующего по Сирии».[1]

Перед поездкой он взял уроки разговорного арабского языка у сирийского священника и 18 июня вступил на борт парохода «Монголия». Там он писал домой: «Вилли понравился бы мой стол в салоне с антропологической точки зрения: девушка-француженка, немец, швед, два испанца, индиец, итальянец, араб и грек. Швед и индус говорят по-английски, всем остальным я перевел объявление об остановке в Гибралтаре. Непохоже, чтобы испанцы много знали о моей версии их языка... Грек клялся, что я пишу, как Демосфен, но “пароход,” уверен, не имеет классического эквивалента».

Время тянулось очень медленно, словно обратившись в бесконечность моря и неба. «Для меня морское путешествие – монотонная трата времени, – замечал Лоуренс. – К работе не чувствуется никакой склонности, хотя удавалось ежедневно пару часов поговорить и около 6 часов почитать (на арабском). Без этого я бы погиб – или переел».[2]

21-го числа позади остался Гибралтар. Дальше море было неспокойным, и пароход раскачивало, как скорлупку, на вздымающихся волнах. 24-го был достигнут Марсель. Ровно через сутки «Монголия» покинула его порт и вечером прошла между Корсикой и Сардинией. В сгущающихся сумерках Лоуренс смог уловить очарование их берегов. 26-го миновали «окутанный дымом» остров Стромболи и затем, в полутьме, – Мессинский пролив. Потом на горизонте показался Крит, а к утру 29-го – египетский берег.

В Порт-Саиде Лоуренс был вынужден несколько задержаться, поскольку пароход, на котором он собирался плыть до Бейрута, был полон русских паломников, а сле-

дующий ожидался только через два дня.

Порт Саид, основанный в 1860-е годы при строительстве Суэцкого канала, представлял собой быстро растущее поселение, разделенное «нейтральной полосой» в двести ярдов шириной на две части: восточную – европейскую, где проживали греки, итальянцы, французы, армяне, турки, русские, немцы, испанцы, португальцы и небольшое число англичан, и западную – местную, населенную представителями восточных рас. Лоуренс жадно высматривал на улицах бедуинов, но смог увидеть только трех. «Я познакомился с самым космополитичным абиссинцем ... который указывает мне все типы и подробно рассказывает об их качествах. ... Он говорит на одиннадцати языках, в том числе – в совершенстве на арабском. Я могу заставить себя понимать, но не могу – за редким исключением – вести долгую беседу».[3]

От жары Лоуренс не страдал: температура воздуха составляла 34° С в полдень и 30° С вечером. 3 июля он отплыл в Бейрут, куда прибыл 6-го в 6 часов вечера. Белый с прозеленью садов город гнездился около лазоревой бухты. Было «восхитительно тепло»: «Здесь даже англичане не говорят о погоде. Говорить каждый день в течение 6 месяцев “Прекрасная погода” они находят монотонным».[4] Светлое время суток оказалось для него коротко: солнце всходило в четыре часа, а в восемь вечера уже было совсем темно. В день его приезда по узким улицам города, где продвигалось множество верблюдов, ослов и мулов, были пущены электрические трамваи.

С 1888 года Бейрут являлся центром одного из вилайетов Сирии. Он был весьма космополитичным городом, имевшим прочные связи с Европой и Америкой, и стал центром миссионерской деятельности: в частности, там был открыт Колледж Американской миссии, с которым соперничала австрийская иезуитская миссия. Самым

сильным являлось влияние Франции. Французские инженеры выстроили в 1894 году порт и провели железнодорожную линию до Дамаска, а в 1907-м и до Халеба. На 1911 год население Бейрута составляло 36 тыс. мусульман разных толков (сунниты, измаилиты, метавиле...), 70 тыс. христиан во всем многообразии (католики, протестанты, марониты, копты, последователи Сирийской Церкви Антиохии, православные греки, армяне различных убеждений) и 2,5 тыс. иудеев.

Лоуренс провел в Бейруте несколько дней, после чего направился пешком в отстоявший на тридцать миль Сидон. Его вела прибрежная дорога, начинавшаяся в песчаных холмах и тутовых плантациях и переходившая к оливковым рощам, чтобы, наконец, достичь «бесплодных земель и пустых саркофагов в Хелдуа».[5]

Сидон был небольшим рыбацким городком с населением в десять тысяч душ и с улочками столь узкими, что там едва могли разойтись два человека и не было никакого колесного транспорта. Некогда же он являлся одним из важнейших финикийских городов, последующая история которого была весьма бурной: его покоряли ассирийцы, вавилоняне, египтяне, греки, римляне и арабы. Сидон упоминается в Библии: там творил чудеса пророк Илия (I Кн. Царств. 17, 9-24; Лк. 4, 26), Иисус удалялся «в страны Тирские и Сидонские» (Мт. 15, 21), апостол Павел, направляясь морем в Рим, видел эти берега: «На другой [день] пристали к Сидону» (Деян. 27,3).

Лоуренс нашел этот городок весьма интересным в своей застройке и преизобилии древностей, открываемых на его окраинах: «Окрестности являются кладезью сокровищ».[6] Здесь он попробовал местный хлеб, который стал неотъемлемой частью его питания на протяжении всего путешествия: «Он двух сортов. Один в маленьких буханках, около 6-10 дюймов шириной, круглый, двойной. С ви-

ду он комковат, но не толще достаточно плотного картона и, когда свежий, очень хорош. Каждый любит есть его горячим. Когда я захожу в какой-нибудь дом в этом округе и спрашиваю буханку (предлагая пол-пенса), тотчас выходит женщина с подносом (слегка вогнутым, из туго сплетенной соломы, около 2 футов в диаметре), на котором лежат буханки, уже слепленные, но не испеченные. Примерно через 6 минут она возвращается с готовым хлебом, посыпанным зернами кунжута и тмина. ... В общем, хлеб № 1 хорош, когда не черствый. ... Хлеб № 2 более сомнительный. По цвету он сероватый, темнеющий до коричневого, очень широкий, иногда до 3 футов шириной, и, конечно, круглый. Он очень тонкий – почти, как обычная оберточная бумага, прочный и гибкий, как кожа, когда свежий, но, высыхая, становится хрупким, словно сырное печенье или овсяная лепешка. ... Для того чтобы его испечь, его прикладывают к стороне печи, так что на поверхности он слегка припорошен глиной. Когда с ним едят лебен* или бургуль (вареную пшеницу), что принято, то отламывают кусочек буханки и складывают, как ложку, или в виде шляпки: этим удобно черпать. Лебен, когда свежий, довольно жидкий и комковатый, а старый становится похожим на сыр (т.е. сливочный сыр) и имеет выраженный кислый вкус. По цвету он чисто белый, с кисловатым запахом».[7] Из напитков были кислое молоко и халиб – молоко с сахаром, кипяченое или подогретое. Лоуренс завтракал обычно халибом с хлебом № 2, иногда добавляя к завтраку опунции. В полдень у какого-нибудь источника или по до-

---

* Лебен – простокваша из козьего молока, заквашиваемая на сливочном масле. Этот продукт был известен в Палестине еще в библейские времена. «Никакого другого столь превосходного, здорового и целебного напитка не может быть найдено в жаркой стране» – *J. Neil*.

роге он съедал еще хлеба № 2 (в пути смачивал его водой из бутылки). Ужин состоял из хлеба и лебена, реже халиба. Иногда он доставал фиги, виноград, арбузы. Последние ему очень нравились, поскольку были замечательно освежающими. Часто можно было найти помидоры.

Надежда Лоуренса на восточное гостеприимство оправдалась сполна. Вот как его принимали: «Когда я захожу в дом местного жителя, хозяин приветствует меня, я отвечаю. Затем он что-то говорит одной из женщин, и они приносят толстое одеяло, и, сложив его, кладут на циновку на пол, вместо стула. Я присаживаюсь. Хозяин спрашивает меня четыре-пять раз о моем здоровье, и каждый раз я отвечаю, что оно хорошее. Потом иногда подают кофе, и после этого следует ряд вопросов: например, является ли мой штатив револьвером, кто я, откуда пришел, куда иду, почему пешком, почему один и все остальное, что только можно придумать. Когда же я ставлю штатив (что бывает нечасто, лишь как особое удовольствие), это вызывает удивленные восклицания: "Машаллах!", "Клянусь жизнью Пророка!..", "О, небеса!", "Слава Всевышнему!" – и тому подобное. Такой курьез здесь еще никогда не видели, и все селение собирается посмотреть на него. Затем меня расспрашивают о жене и детях, как много их у меня и так далее. В самом деле, я здесь немного стыжусь своей молодости. ... Мне обычно дают 15 лет и изумляются на то, что я путешествую один и пешком. ... Тем временем, женщины готовят мой ужин, располагая его на одном из тех соломенных блюд, о которых я упоминал (поднос с головой Иоанна Крестителя в арабском варианте). Затем они льют воду мне на руки из кувшина ... и, если они очень вежливые, предлагают вымыть мне ноги. Следующая вещь – постель, что является тем же одеялом, на котором я сидел. Его кладут в доме либо на крыше пристройки или веранды. Другое поверх служит покрывалом, к тому же есть по-

душки. ... Ко сну отходят после 9 часов и поднимаются на рассвете (около 4.30.). Мои утренние процедуры состоят из причесывания и умывания в ручье из кувшина, что потом повторяется в пути после хлеба и лебена. За ночлег иногда берут деньги, иногда нет».[8]

Образы и быт Ливана и Палестины сохранили вплоть до времени Лоуренса основные черты библейской эпохи: обычаи, продукция, основные природные особенности – все это осталось неизменным. Дома были большею частью одноэтажными глиняными мазанками с плоскими крышами из хвороста, неостекленными окнами, которые на день закрывали ставнями, и глиняным полом, застеленным циновками из тростника в пять футов длиной и дюйм шириной. Обстановку составляли сиденья из дерева и тростника около восьми дюймов высотой, большой сундук, часто инкрустированный костью или перламутром, и соломенные блюда, развешенные по стенам.

«Люди приятные: очень ребячливые, простые, конечно, и поразительно несведущие, но до сих пор довольно честные, – писал Лоуренс. – Многие из мужчин во всех горных селениях бывали в Америке и любят похвастать перед односельчанами своим английским».[9]

Одеждой жителей прибрежных земель были мешковатые штаны, короткие жакеты или рубашки с широким поясом, феска либо куфия с черным витым укалем. Во внутренних областях одеяния более напоминали бедуинские. И так же, как в древние времена, все были основательно вооружены, ибо на земле провозвестия мира его не было никогда: клановая вражда, набеги бедуинов, налеты грабителей то и дело нарушали покой. Только мечи и пращи были заменены револьверами и ружьями: «Вы можете увидеть этих людей в полях за плугом или дома за обедом с патронташем в 150 патронов, чего вполне достаточно для сражения».[10]

Из Сидона Лоуренс прошел по иссушенным холмам к Набатийе. «Так как в городе был праздник, я увидел обычные вещи: в магазинах спорили о ничтожных суммах, на улицах продавали сладости, продавец сиропов выкрикивал: “Позаботься о зубах,” “Освежи свое сердце,” “Это за металлик.” Один человек торговал простой водой из бурдюка с медным носиком, а продавцы зелени зазывали покупателей: “Если старая женщина ест мой салат, наутро она молодая”. Но самыми забавными из всех были мужчины в женских украшениях, выкрикивавшие: “Умиротвори свою тещу.” И пока на все это смотришь, за спиной раздается хриплое дыхание осла, или же на тебя натыкается носильщик с недавно зарезанной овцой за спиной или с грузом угля, или в толпе бродит верблюд с колокольчиком на шее, возвещающим о его появлении. Если кто-то этим пренебрегает, то оказывается сбитым с ног, как кегли: верблюды кажутся непреодолимыми».[11]

Здесь Лоуренс нашел проводника и отправился в Баньяс (Кесарею Филиппову). По пути он посетил замок Бофор, выстроенный в начале XIII века на высоте в тысячу шестьсот футов над уровнем моря, откуда открывался вид на побережье и ущелье Литани. На востоке виднелся Гермон, еще со снегом в долинах. «Затем мы должны были пройти к реке, что означало часовой спуск по козьей тропе. Самым скверным было то, что мой провожатый оказался удивительным певцом, лучшим в своей округе, а в ущелье было эхо. Он вопил все время, как Сирена».[12] На дне ущелья протекал мелкий, но стремительный поток с олеандрами по берегам. Там Лоуренс с удовольствием искупался, несмотря на то, что вода была очень холодной. Ночь он провел в одном из селений, а на следующий день достиг Баньяса, оказавшегося небольшим поселением у подножия холма, на вершине которого возвышалась крепость, привлекшая его внимание. «Я осмотрел все это

место и под конец поджег кустарник во внутреннем дворе. Горел он все утро, а вечером я смог полностью осмотреть строение, чего не удавалось никому в последние 20 лет: оно завалено хламом. Собственник был несколько удивлен, однако не возражал против моего присутствия, поскольку это был двор, недоступный никому, кроме скалолаза или паука. Он сам никогда туда не заходил».[13]

У Лоуренса была с собой Библия. Устроившись где-то в бестревожном уголке, он читал: «Придя же в страны Кесареи Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: “За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?”»[14] (Мт, 16-13). «Несомненно, что такие выдержки лучше всего читать на месте. Может быть, Преображение произошло на одном из соседних выступов Гермона... Конечно, это неизвестно, но весьма вероятно».[15] Древняя земля простиралась, как палимпсест Священного Писания, и было необходимо только особое зрение, чтобы увидеть сквозь перемены строки Вечности.

Из Баньяса Лоуренс с проводником прошел через холмы, скалы и живописную долину, где журчали ручьи и зеленели сады, и остановился на ночлег в Хунине. Там находилась небольшая крепость, и он обследовал ее. «Она оказалась незначительной по выразительности, но блохи!.. Я хотел сделать план бойницы в одной башне, так что простоял там около 10 минут и после обнаружил, что ноги черны от них по колено. Арабы говорят, король блох живет в Тивериаде, но я могу заверить, что его летние резиденции находятся в другом месте!»[16] На следующий день он в одиночку вышел в Тибнин, а оттуда – в Сафед, по пути освежившись в источниках Кадеса, родины библейского военачальника Варака. «За дневной переход я преодолел вверх и вниз высоту Мон-Блана, – и вся Палестина такова: собрание небольших раздражающих холмов, сгрудившихся как попало, где дороги либо идут все

время вверх и вниз, либо вьются в скалистых долинах и вообще никуда не приводят. Здесь никто никогда не строил дом кроме как на вершине холма или посередине его, и тропа представляет собой только участок земли, с которой убраны более мелкие камни. Весь день ступаешь с одного острого куска скалы на другой, что утомительно не только для ног, но и для ума тоже, так как постоянно нужно сохранять бдительность, чтобы найти лучшее место для следующего шага и не поскользнуться. Такая дорога быстро надоедает. Альтернатива – полевая тропа, что намного лучше. Эти тропы очень легко делаются и обладают странным свойством исчезать посреди квадратной мили чертополоха от одного до трех футов высотой, голубовато-серого цвета и очень жесткого. Идти через него сколько бы то ни было очень тяжело: оказываешься подушкой для иголок».[17]

Сафед, довольно крупный поселок, располагался на холме в две тысячи семьсот футов высотой. Гостиницы не оказалось, и Лоуренс устроился у английского врача, который оказал ему самый радушный прием. Здесь он провел четыре дня. Несмотря на очередной приступ хронической малярии, он прогулялся из Сафеда по Иорданской долине к Галилейскому озеру и обратно, повсюду встречая заросли чертополоха, а на следующий день сошел в Тель-Хум – Капернаум, где проповедовал Христос. «И пришел [Иисус] в Капернаум, город Галилейский, и учил их [народ] в дни субботние».[18] Оттуда открывался вид на озеро, берега которого осеняли олеандры. Вокруг озера поднимались невысокие изломанные холмы коричневато-пурпурного цвета, богатого от игры светотени. Само озеро было ярко-голубым и находилось в непрестанном волнении. Из этого места Лоуренс прошел по плодородной Генисаретской равнине к Тивериаде, ступая, может быть, по следам Спасителя. «Пошел Иисус на ту сторону моря

Галилейского, [в окрестности] Тивериады».[19] Под ногами росла мягкая зеленая трава, столь редкая в Палестине, над головой смыкались цветущие олеандровые кусты, а берег был покрыт тонким белым песком. Через три мили Лоуренс достиг Магдалы, откуда ему пришлось пробираться час по скалистой тропе до Тивериады – бедного старого поселка с довольно живописным портом. Затем он прошел вдоль озера до истока Иордана и еще несколько миль по его берегу.

Область Галилейского озера и Иорданской долины является самой жаркой частью Палестины. В Тивериаде, где Лоуренс провел пару ночей, было 40° С в полдень в глубине гостиничного зала, в котором для освежения таяла глыба льда, и это казалось прохладой по сравнению с воздухом снаружи. Около Тивериады есть горячие источники, в которых температура воды достигает 85° С. «В горах прохладнее, хотя, когда оказываешься среди огромных скал, задыхаешься: кажется, будто они отдают пар – или дыхание жары, что ужасно. Добавьте к этому сирокко – ветер, который иссушает всякую зелень на своем пути и, обжигая лицо и руки, создает впечатление, что направляешься к некой гигантской печи, – и вы получите представление об этом климате».[20] Как бы то ни было, Лоуренс легко переносил зной и даже не делал перерыва в самое жаркое время дня, как это было принято у местных жителей и что обычно перенимали чужестранцы.

Из Иорданской долины он поднялся на две тысячи футов к замку Бельвуар и оттуда прошел напрямик через Эндор в Назарет, не встречая по пути ничего достопримечательного, а из Назарета, по окраине равнины Эздраелон, – к Харошету, где мать Сисары выглядывала из-за оконной решетки, представляя, как сын делит добычу. «Что это за великолепная песнь!»[21] – вспоминал Лоуренс библейское предание. Возвращаясь из Харошета, он пересек задний

склон горы Кармель – над местом жертвоприношения, где друзы продолжали отмечать жертвоприношение Илии, – и устремился к Хайфе, а затем, через Акр, Калаат-Каарн, Скандалиум, Тир, Сарепту и Сидон, – назад в Бейрут. В Бейруте он оставался до 6 августа, а потом направился на север, к Нахр-эль-Кельб, Собачьей Реке. «Там имеются надписи Ассаргадона, Рамзеса, Салманасара, Марка Антония и многих других. Это удивительно – думать о 14 надписях – египетских, вавилонских (Навуходоносора II), ассирийских, греческих, римских, арабских и французских, – находящихся на одном мысе. Все эти народы использовали каменную дорогу, высеченную в скале. Сама река широкая и холодная».[22] Затем он пересек реку Адонис, воды которой становятся иногда кроваво-красными, и пошел по направлению к Джебейлю.

Джебейль, в древности именовавшийся Библ (по-гречески) или Гевал (по-финикийски), является древнейшим из городов мира: его история насчитывает шесть с лишним тысяч лет. В третьем тысячелетии до Р.Х. он был заселен финикийцами, в начале второго тысячелетия настало время его расцвета как средиземноморского порта и центра производства керамики. В 1800 году до Р.Х. в Библе был изобретен шрифт, состоявший из восьми знаков-слогов и перемежавшийся буквами, произведенными от египетских иероглифов. К 1000 году до Р.Х. он начал играть значимую роль на Востоке как поставщик лесоматериалов, в VIII веке до Р.Х. он подпал под власть ассирийцев, в VI-м до Р.Х. оказался вассалом Персии, в IV-м до Р.Х. был завоеван греками, а в эпоху Крестовых походов являлся важным военным оплотом Иерусалимского королевства.

Лоуренс провел в Джебейле несколько дней, проживая у мисс Холмс из Американской Миссии. Условия были великолепными: «Множество книг, зал с мраморным по-

лом, вода в изобилии и в саду деревья (настоящие зеленые)»[23]. Целью Миссии являлось образование. В открытом ею университете работали двести преподавателей и обучались восемьсот студентов. Основными предметами были медицина и фармакология. Преподавание велось на английском языке. «Сейчас английский распространен в Сирии, и в ближайшие 10 лет никакой другой язык не будет нужен»,[24] – отмечал Лоуренс в августе 1909 года. В апреле 1920-го, через десять лет и семь месяцев, Сирия оказалась подвластной Франции.

После Джебейля Лоуренс посетил Батрун, Мсейлху и Энфе, где осмотрел небольшие замки, затем – Триполи и Аарку, а потом направился к замку XIII века Калаат-аль-Хосн (Крак-де-Шевалье), который считал прекраснейшим замком в мире. По пути он провел первую ночь на крыше дома в одном из селений, а другую – у араба, чье жилище, похожее на крепость, было выстроено на вершине горы, куда вела трудная лестница.

Пепельно-серая громада неприступного Крак-де-Шевалье – шесть башен разной формы над грандиозным оборонительным валом, в кольце стен с девятью полукруглыми башнями – возвышалась на вершине обрывистого холма в две тысячи сто футов высотой, склоны которого покрывала выжженная солнцем трава. В сиренево-голубой, на сон похожей, дали тянулась спокойная линия холмов, лишь местами слабо взволнованная, словно от легкого вздоха. Голубое, пепельно-серое, бледно-золотое: таковы были цвета этого древнего края, где только изредка встречались, как радость, пятна зелени – деревца, кусты, пучки травы... В Калаат аль-Хосне Лоуренс провел три дня. Ночевал он у каймакама (губернатора), а все светлые часы проводил за исследованием замка. Потом, с предоставленным каймакамом эскортом, отправился в Сафиту. Там он тоже остановился у каймакама и осмотрел местную кре-

пость. «На другой день я предпринял большой переход еще к двум замкам. Спал на гумне, на куче тибна (молотой соломы), слушая, как арабы отбивают дурру при лунном свете. Они продолжали свое занятие посменно всю ночь, примерно до 2 часов, когда разбудили меня и сказали, что они все утомлены и не мог бы я посторожить, так как я "инглези" и у меня есть пистолет. Я оказал эту услугу, думая, что это обычная чепуха (каждое селение не доверяет своим соседям), но мне на другой день в Тарту сказали, что не воры, а *землевладельцы* были вокруг! Разве это не мило? Те приятные люди хотели скрыть часть урожая».[25]

Из Тарту Лоуренс отправился в Масияд. Когда он приближался к этому месту, некий человек выстрелил в него из ружья с расстояния в двести ярдов. Лоуренс, имевший при себе маузер, ответил, выпустив пулю над его головой. Нападавший не ожидал этого и поспешно скрылся. Лоуренс обратился к каймакаму, и тот немедленно отправил полицию на розыски, которые, однако, не увенчались успехом. Лоуренс же теперь стал передвигаться только с сопровождением.

Побывав в Кадмусе, Алейке, Баньясе, Джебеле и Латакии, он форсированными переходами устремился к Халебу. Проходя по тринадцать часов в день, он преодолел за пять дней сто двадцать миль, «спотыкаясь и шатаясь на этих ужасных дорогах»,[26] тогда как за ним следовал конный эскорт. Не понимая, почему этот странный маленький англичанин упорно бредет пешком, ему едва ли не каждые полчаса предлагали лошадь. Лоуренсу была присуща некоторая брезгливая неприязнь к животным, отчего он избегал верховой езды, однако не это заставило его исходить пешком Палестину и Сирию. Причина заключалась в желании натрудить ненавистное тело до изнеможения: это было одним из его аскетических упражнений.

Путь на Халеб лежал через весьма привлекательную местность, «местами почти английскую»,[27] а затем вверх по скалистым ущельям, что были полны византийских захоронений и руин V-VI веков – базилик, лавр, частных домов. «В некоторых местах я был, кажется, первым европейским посетителем»,[28] – отмечал Лоуренс. В Харине он обнаружил замок, сильно разрушенный и перестроенный, с весьма занимательными подземными переходами. «Я исследовал их со свечами, в сопровождении очень нерасположенного к этому эскорта, который клялся, что это пахнет “джиннами.” ... Я, определенно, чувствовал немало, но не видел ничего. А проходы вели к источникам».[29] Потом он заглянул в Антиохию и продолжил путь на Халеб, «по самой плохой дороге из всех, что существуют на лице земли (или где-нибудь еще на ее теле)».[30] В Халеб он прибыл 6 сентября и провел там несколько дней.

Этот город, как многие города Востока, имеет долгую и неспокойную историю. Первое поселение на том месте возникло еще восемь тысяч лет назад. В 1600 – 1800 годах до Р.Х. Халеб являлся столицей аморитского царства Ямхад. В XVI веке до Р.Х. оно было разорено хеттами, но вскоре восстановило свое положение. В XV веке Халеб завоевали хурриты из царства Митанни, а век спустя им снова завладели хетты. После падения хеттского царства в XII веке до Р.Х. он был занят арамеями, в IX-м завоеван ассирийцами, в VII-м вавилонями, позднее персами-ахеменидами, а в 333 году до Р.Х. был покорен Александром Македонским и перешел во власть греков на триста лет, – пока Сирия не стала римской провинцией. В VII веке по Р.Х. его взяли персы-сассаниды, которых вскоре вытеснили арабы. 9 августа 1138 года город оказался стерт с лица земли сильнейшим землетрясением, от которого погибло около двухсот тысяч человек. В конце XII века он оказался во владении Саладина и затем династии айюбидов, а ме-

нее чем через век претерпел нашествие монголов, у которых был отвоеван мамлюками спустя несколько месяцев. В 1400 году его завоевал Тамерлан, а в 1516 году он вошел в состав Оттоманской империи и на два века приобрел важное значение благодаря своему расположению на торговом пути из Анатолии на восток. В начале XX века Халеб был весьма крупным городом – с населением в сто десять тысяч душ – и являл собою калейдоскоп народностей и вероисповеданий.

Из Халеба Лоуренс направился в Урфу (Эдессу). Когда он проходил в окрестностях Мейры (у Евфрата), к нему пристал нищий-турок. Приняв медные часы Лоуренса за золотые, он напал на него и, ударив его камнем за ухом, отобрал часы вместе с деньгами и скрылся. Лоуренс, с сильной головной болью, добрался до ближайшего поселения и добился помощи полицейского. Бродяга был задержан, а его «добыча» возвращена. Этим неприятности не закончились. На обратном пути Лоуренса из Урфы его повозка остановилась в Серудже. Он отлучился, оставив извозчика присматривать за вещами, а вернувшись, ужаснулся: извозчик уснул, и тем временем был украден фотоаппарат. Лоуренс обращался в полицию и к властям, но никто не смог ему помочь.

Он собирался посетить еще Иудею и Иерусалим, осмотреть замки в Шобеке и Кераке, но из-за недостатка денег должен был отказаться от своих намерений. Проведя несколько дней в Дамаске, он отправился в Бейрут, а в октябре вернулся в Англию.

За время своего путешествия Лоуренс прошел пешком тысячу сто миль, преодолевая за день в среднем двадцать две мили, самое большее – тридцать шесть, и осмотрел более пятидесяти замков. Ботинки были изношены в кло-

чья, равно как и ноги, что были сплошь в порезах, ссадинах и воспалениях. Только борная кислота спасала его от заражения крови. Он перенес четыре малярии, но ни разу за эти три месяца не страдал расстройством желудка, несмотря на то, что пища была непривычной и разнообразной, а вода зачастую сомнительной.

По возвращении Лоуренс незамедлительно приступил к написанию своей диссертации, материал для которой был собран с таким трудом. Старания увенчались успехом: его работа получила первую награду.

Глава XIII

Последнее путешествие Лоуренса по Франции, 1910 год: Замок Куси. – Бовэ: храм и книги. – Еще торжественный Реймс. – В сени Шато-Геллар. – Благодать в Каэне. – Канун новой жизни.

В июне 1910 года Лоуренс с отличием окончил университет. Пока еще не была найдена работа, он решил использовать свободное время для путешествия по Франции и в августе отправился туда, взяв с собой брата Фрэнка, которому тогда было семнадцать лет. Сойдя с парохода в Булони, они выехали на велосипедах в Нойон. Посетив кафедральный собор начала XII века, они направились в Амьен, также обладающий великолепным средневековым собором, а оттуда – в Куси, где тщательно исследовали замок, для чего им пришлось ускользнуть от гида. «Взламывая замки и перелезая через двери и перегородки»,[1] они сумели добраться до самых сокровенных уголков и даже спуститься в подземелье. Там юноши долго бродили под мрачными сводами между неразличимыми в темноте колоннами, на которые то и дело натыкался Фрэнк, и представляли картины прошлого, когда Томас вдруг по-

чувствовал, что земля уходит у него из-под ног. «Древняя ловушка?..» – должно быть, мелькнула у него страшная мысль. Метнувшись в сторону, он сумел спастись. Но что же это было? Вернувшись к разверзшейся яме со спичками, он посветил туда и обнаружил, что это всего лишь провал в полу и глубина его не более шести футов. Затем, покинув подземные переходы, они прошлись вокруг замка по дну рва, заросшего высокой густой крапивой. Томас, пробиравшийся первым, на этот раз едва удержался, чтобы не провалиться в яму с водой. Потом они, неутомимо восхищаясь, провели четыре часа в главной башне, а когда, наконец, собрались уходить, обнаружили, что ворота уже закрыты, и были вынуждены перелезать через них.

Заглянув в Монтрёль, они прибыли в Бовэ, и Фрэнк впервые увидел его грандиозный собор св. Петра. Этот храм, триумф религиозной архитектуры и увенчание готической грезы Средневековья, был возведен в XIII-XVI веках. В его основании, как и в других католических церквях, положен латинский крест. Длина его составляет семьдесят два метра, ширина (через трансепт) шестьдесят восемь. Высота свода достигает сорока восьми метров. Фасад богато инкрустирован скульптурами и маленькими колонками. «Это, наверное, самый большой собор в мире», – решил Фрэнк. После того, как было отдано должное гению старинных мастеров, он увлекся купанием, а Томас – посещением книжных лавок. «Нэд* радуется книгам, – писал Фрэнк родителям. – Каждый раз, когда я иду купаться, он отправляется за книгами».[2] А Томас ликовал: «Бовэ прекраснее, чем когда-либо, и теперь отмечен белым камнем, поскольку там я нашел стоящие книги, изданные во Франции».[3]

---

* Домашнее имя Томаса.

Из Бовэ, через залитые солнцем мирные поля и тихий Компьенский лес, они добрались до Реймса. Органная торжественность собора, святилища коронации королей, возвышалась над городом, и лучи солнца сияли в многоцветных витражах, рассыпаясь на созвучия искр в радостной мелодии славословия... Пройдет ровно четыре года, и под обстрелом смолкнет благовест этого храма – стихнет под натиском человеческого своеволия мягкое евангелие Бога, а двое из братьев Лоуренса встретят смерть на этой земле своих путешествий, как встретят ее тысячи и тысячи других под нежно-лазурным небом Франции, тогда как выжившим останется только вспоминать спокойствие этих предсмертных лет – странное спокойствие, будто что-то уже таилось под ясной поверхностью мира.

Побывав после в Жизоре, Томас и Фрэнк прибыли в Птит-Андли. Здесь Томас целые часы проводил у Шато-Геллар, где, устроившись под главной башней, читал старинные французские новеллы. Внизу сияла река простым великолепием лазури, за ней растилались золотистые поля с редкими вкраплениями зеленого кустарника, а под самым холмом Шато дремал маленький городок с красными крышами. Все навевало умиротворение – ту внутреннюю тишину, что обычно бывает в церкви, когда успокоенная душа внимает звукам Вечности.

В конце августа братья посетили Каэн. Потом Фрэнк вернулся в Англию, а Томас продолжил путешествие и снова приехал в Каэн. У него была карта города, и он целыми днями бродил по отмеченным на ней улицам, надеясь встретить что-нибудь достопримечательное. И, если его старания не привели к архитектурной находке, то он отыскал нечто еще более ценное. Каждый день он проводил по пять-шесть часов в какой-нибудь из церквей. «Есть пять, которые мне особенно нравятся, и теперь я знаю их все замечательно хорошо. Одна особенно хороша в утрен-

нем свете, другая в полдень, а третья нравится мне больше всего вечером, когда зажжены лампы»,[4] – писал он в церкви Сен-Совёр, о которой замечал: «Эта церковь мне очень нравится: она так тиха».[5] Чудесна церковная благодать, когда рядом никого, кроме Бога, и тишина глубока так, словно исходит из надмирного покоя, а белые стены, кажется, оберегают священное пространство души от вторжения уничтожающей суеты и беспокойства. Уединение на природе и в храме – одно из лучших состояний: там нет одиночества или его опасности – только «единая с Богом действительность», по слову Джироламо Савонаролы. «Становится темно, так что я собираюсь на берега Орна, чтобы посмотреть, как речной туман обволакивает шпили Сен-Этьен, великой церкви Завоевателя. Это столь мило...».[6] А туман времени окутывал его совсем недавнее прошлое. Учеба в университете, поездки по Франции, ночи у камина за книгой – все это было завершено. Впереди, в последние годы перед разрушительной бурей, Лоуренса ожидало счастье, которое редко дается человеку.

ЧАСТЬ II

1910 – 1914

Глава XIV

Зачисление Лоуренса в археологическую экспедицию на Восток. – Путь в Сирию, декабрь 1910 года: Неаполь. – Афины. – Константинополь. – Снова в Джебейль.

Однажды Лоуренс поинтересовался у Лидса, не планируются ли на Ближнем Востоке раскопки, в которых он мог бы принять участие. «Почему же ты не спросил об этом раньше?» – с сожалением воскликнул тот и рассказал, что Хогарт намеревается начать раскопки хеттского города Кархемиш в Сирии, однако состав экспедиции уже определен. Лоуренс ответил, что согласился бы работать без вознаграждения, и Лидс посоветовал ему обратиться к самому Хогарту. Хогарт уже имел возможность оценить способности и познания своего бывшего студента и поэтому без сомнений принял его в качестве внештатного ассистента, а для того, чтобы он мог легко обходиться без платы за работу, выдвинул его кандидатуру на получение стипендии младшего научного сотрудника.

2 декабря 1910 года Лоуренс вступил на борт пароход «Сагальян», направлявшегося в Бейрут. Путешествие оказалось неожиданно увлекательным, – оттого, что судно оказалось ненадежным. Уже вскоре после выхода из порта Марселя начались сбои в машинном отделении, которые стали повторяться каждые день-два, и скорость снизилась до десяти миль в час. Одна из поломок произошла у Неаполя, и Лоуренсу представился случай провести день в

этом городе. «Неаполь удивительно красив, намного прекраснее, чем в прошлый раз, потому что туман скрыл фабричные трубы и безобразие более отдаленного берега. Так что я по-настоящему наслаждался этим местом и думаю, что оно столь же прекрасно, как Бейрут».[1] Вечером пароход снялся с якоря, и Лоуренс, уединившись в каюте, где у него до сих пор не было попутчиков, устроился на койке и, по своему обыкновению, погрузился в чтение.

На следующий день, когда он вышел на палубу, его взору предстал с одной стороны необычайно пустынный берег Мессинского пролива, где солнечный свет четко выявлял ровные лавовые поля и складки скал, а с другой – длинная полоса серого тумана, плотно укрывавшего побережье Сицилии. Из тумана вздымалась Этна: «Черное основание в несколько тысяч футов, затем снежный пояс с линиями скал, и, наконец, – чернота кратера, из которого клубился темный дым: великолепное зрелище».[2] Весь день море было спокойным, сияло солнце, и дымка скрывала берега.

По приближении к побережью Греции Лоуренса ожидала восхитительная картина: «Когда мы входили в Пирей, поднялось солнце и, как волшебник, обратило черные руины в золотые – в удивительно живое золото пилястр, архитрава и цоколя, на фоне затененных склонов Гиметта. Это был Акрополь на расстоянии: смешение всех возможных оттенков красного и желтого, с белым в качестве световых эффектов и коричнево-золотым в тени».[3] Пароход снова был неисправен и простоял в афинском порту целый день, благодаря чему Лоуренс смог осмотреть достопримечательности, о которых до того лишь читал и мечтал. Он прошел через зеленеющие поля и узкие ручейки к Афинам, «городу площадей и садов»,[4] который «обладал отчасти французской атмосферой, однако не являлся сполна ни европейским городом, ни азиатским, по-

скольку был слишком яркий для одного и слишком чистый для другого».[5] В Афинах царила редкостная тишина, какой Лоуренс еще не встречал ни в одном городе. На улицах, радостных от пальм, мимоз и зеленых лужаек, не было ни автомобилей, ни велосипедистов, только повозки проезжали изредка и еще реже – медленные трамваи. Не было слышно собак, и «даже продавцы овощей кричали, как люди, а не как шакалы или сирены».[6] Лоуренс неспешно шагал по городу-легенде, направляясь к Акрополю. «И чем дальше я шел, тем сильнее становилось любопытное ощущение нереальности, почти ночного кошмара. То был город, населенный народом, говорящим на том же языке и пишущим тем же шрифтом, что и его древние жители 3000 лет назад. Некоторые из них выглядели так же, как, по нашему представлению и надежде, должны были выглядеть древние греки. ... Ученики Аристотеля слышали, как и я, как всклокоченные черноволосые женщины громко зовут своих детей Горг или Аристомен, и видели, как видел я, двух женщин, что бежали по улице, запыхавшись и убирая выбившиеся волосы, чтобы встретить процессию – только, в моем случае, это были священники в ризах. И до сих пор такие же разговоры за спиной, клевета и злобные домыслы соседей. Мимо меня прошел продавец капусты, прежде чем точно такой же продавец колбас направился на улицу Победы, что ведет к храму Тезея, погоняя осла и болтая с рыбаком Демосфеном. Все это происходило из Аристофана или Ювенала, все было точно таким и поэтому казалось вполне естественным. А я, между тем, поднимался по небольшому холму, пока не прошел меж пилястр Храма. Он и ныне столь же совершенен, как когда-то, с дополнительной красотой пятен и пустот, которыми Время одарило его камни. ... Спокойствие было воистину почти зловещим, когда я поднимался по неглубокой равнине под холмом Марса и шел

по пути для процессий к главным воротам цитадели. Не было ни надоедливых мальчишек, ни шумных толп торговцев кожами, – только туманный солнечный свет, в котором вся Аттика, Фалерон, Саламис, Элеузис и отдаленный Пелопоннес лежали неподвижно, "погруженные в глубокий покой," под скалистой платформой Бескрылой Победы. Для того чтобы туда попасть, я был должен взобраться по белой мраморной лестнице Пропилеи между входными воротами. Не было ни привратников, ни гидов, ни посетителей, и я прошел через дверь Парфенона и дальше внутрь, воистину не помня, где я и кто. Тяжесть в воздухе заставляла мои глаза слезиться и овладевала моими чувствами. Я только знал, что я, чужестранец, хожу по полам того места, которое больше всего желал увидеть, – величайшего храма Афин, дворца искусства, – и что я считаю его колонны и нахожу их такими, какими они мне уже были известны. Здание было знакомым, но не холодным, как на рисунках, а сложным, нерегулярным, живым от изгибов и тонкости и прекрасно сохранившимся. Каждая линия лепнины, каждая мельчайшая деталь в скульптурах были четко видны в том свете и неизбежны на своем месте».[7]

По возвращении в город Лоуренс почувствовал себя так, словно «вернулся из теней предков, чтобы оказаться среди повседневных дел их потомков».[8] Афины были для него неописуемы, невыразимы, словно глубокий смысл: «В тех руинах и в населяющих их воспоминаниях присутствуют упоение и захватывающая сила, которые полностью препятствуют кому бы то ни было в попытке описать их или оценить. Не может быть великой книги об Афинах, если только она не будет написана врагом: никто из знающих этот город не может противостоять его очарованию, если только не ответит яростной атакой на его дух. И кто из художников слова может атаковать теперь, когда

Толстой мертв? Он и только он один мог бы перенести греческую культуру в современный мир».[9]

Спустя несколько дней Лоуренс был уже в Константинополе. «Я здесь основательно прижился и намереваюсь провести здесь относительно долгое время, – писал он домой 10 декабря. – Конечно, причиной этого является очарование Золотого Рога и Босфора, а также целые мили греческих стен, что защищают город со стороны, обращенной к суше. Их четыре мили, и они тройные на всем протяжении. Затем есть собор Св. Софии, который я еще не видел, но который должен быть великолепен, и (не в последнюю очередь) Имперский Музей, являющийся, как говорят, истинной кладезью чудес. Этих причин достаточно, чтобы убедить сознательных домочадцев, но мама, боюсь, не будет ими удовлетворена. Так что для нее я добавлю, что машинный отсек судна, наконец, полностью развалился, и в настоящее время нет другого парохода, направляющегося отсюда в Сирию».

Пароход стоял на входе в бухту Золотого Рога; и Лоуренс жил все это время (а точнее неделю) на борту, где, кроме него, находились еще четыре пассажира. «Мы поделили пароход между собой, и каждый взял себе подходящий номер (ванная, гардероб, каюты (две) и комната для курения, в моем случае называемая библиотека)».[10] Каждый день он ходил осматривать старинные городские стены, пересекая для этого всякий раз новый квартал. Город кипел жизнью. По узким извилистым улочкам, весьма чистым, продвигалось множество торговцев со сладостями, подкрашенными и ароматизированными напитками, апельсинами и яблоками в корзинах с горящей по вечерам свечой посреди. Со всех сторон раздавался оглушительный перезвон молотков по металлу: создавались причудливые кувшины, блюда, котелки. Островками спокойствия были только дворы мечетей: «До тех пор, пока муэд-

зин не заберется на свой подсвечник и не завопит, как помешавшийся старьевщик. Не могу понять, как такой несомненно талантливый народ как арабы выдерживает подобную какофонию столь долго, – удивлялся Лоуренс. – В Дамаске мне говорили, что здесь подбирают муэдзинов, чтобы их голоса были созвучны, как ноты фортепиано, но если так, то какое это фортепиано!..»[11] После полутора часов протискивания сквозь шумную, пеструю толпу было приятно выйти «за стены, выстроенные Константином, в спокойную сельскую атмосферу и зелень бесчисленных кипарисов, растущих среди могил. Вся стена, от Мраморного моря до Золотого Рога, окружена снаружи кладбищами со столпившимися надгробными камнями, резные тюрбаны которых окрашены в голубой, красный и зеленый цвета. Кипарисы, что растут повсюду рощицами, придают всему месту глубокое ощущение мира и покоя, а их тень чрезвычайно хороша».[12]

Лоуренс осмотрел турецкие мечети и нашел их довольно невыразительными: «Мне кажется, все их искусство отмечено грубостью, бездарностью и незначительностью замысла».[13] Обилие мелких деталей в архитектурном оформлении не соответствовало его вкусу, хотя отточенность каждой в отдельности представлялась ему совершенной. «Ранняя арабская работа столь же прекрасна, как средневековая [европейская], – сопоставляет он, – но турецкое искусство в Константинополе относится к периоду декаданса. Это, конечно, только личное мнение и, к тому же, несколько поспешное».[14]

17 декабря, в три часа дня, пароход, наконец, покинул порт Константинополя. В начале третьей декады месяца Лоуренс прибыл в Бейрут, а оттуда перебрался в Джебейль, где остановился при Американской миссии, чтобы углубить свое знание арабского языка.

Глава XV

В Джебейле. – Путь в Кархемиш. – Начало новой жизни.

Была середина зимы, но здесь, в Джебейле, расположенном на побережье Средиземного моря, все еще жарко светило солнце, в садах золотились апельсины, а по вечерам «изысканные сумеречные эффекты»[1] напоминали летние светотени. Временами море мрачнело, и тогда темные бушующие волны с грохотом бились о скалы, вздымая клубящиеся облака брызг, как бились в первый день мира, отделенные Богом от суши. К концу января все побережье, до границы волн, замело снегом, чего не бывало уже сорок лет.

Лоуренс вставал в шесть часов утра, когда начинал брезжить рассвет, и ложился в полночь или в час ночи. Все его дни были заполнены работой над арабским и арамейским языками, фотографией и поиском древностей – для музея Эшмола и для себя. Во время этих поисков он нашел арабский молитвенник 1145 года, который стал использовать для усовершенствования своих навыков в арабской каллиграфии. Из современных арабских изданий у него были только Коран и Антар, которые он читал еще с трудом. Кроме этих занятий, он собирал монеты и марки для брата Арни, о чем не забывал во всех своих поездках, и устранял неисправности разного рода в том доме при миссии, где поселился.

Он продолжал заботиться (в письмах) о претворении в жизнь идеи о издательстве – идеи, которую всерьез и с энтузиазмом поддерживал Ричардс, прилагая немало усилий к ее осуществлению. «Мне посчастливилось, что я встретил человека, для которого мастерство является одновременно мечтой и вдохновением,[2] – отмечал Лоуренс. – Мы оба чувствуем, что книгопечатание – лучшее,

что мы можем делать, если мы будем делать это лучшим образом, как только можем».[3] Он считал (и Ричардс разделял его мнение), что «книгопечатание – не работа, но искусство».[4] Немногие издатели могут сказать то же.

В конце февраля Лоуренс был в Бейруте, откуда ему вместе с Хогартом предстояло отправиться в Кархемиш, расположенный на Евфрате в шестидесяти двух милях к северо-востоку от Халеба. Однако море клокотало, вздымая темные валы, а порывистый ветер завивал снежные вихри, и отъезд пришлось отложить. На следующий день, 23 февраля, погода улучшилась, и они взошли на борт парохода, державшего курс на Хайфу. Море продолжало волноваться, но в чистом, густо-синем небе ярко блистало солнце, воздух был ясен, и Лоуренс видел вдали Сидон, Тир и другие уже знакомые ему места. В полдень 24-го пароход вошел в порт Хайфы. Лоуренс с Хогартом посетили монастырь на горе Кармель, а вечером сели в поезд, направлявшийся в Дамаск. В предрассветных сумерках следующего дня поезд прошел над Киссоном – тем самым потоком, что три тысячи лет назад унес убитых воинов Сисары. «Поток Киссон увлек их, поток Кедумим, поток Киссон. Попирай, душа моя, силу!»[5] Когда вдали показался Харошет, Лоуренс разбудил Хогарта взглянуть на него. Затем началась долгая равнина Эздраелона, поражавшая в ясности утреннего солнца красным цветом своей земли, потом – долина Иордана, в невысокой траве которой виднелись алые и голубые цветы. Далее открылось извилистое и обрывистое ущелье реки Ярмук, где короткий состав вновь и вновь поворачивал так, что из окна можно было видеть паровоз и последний вагон. Скорость едва ли превышала двенадцать миль в час, и поезд три часа петлял по этой теснине, полдюжины раз проехав по мостам над рекой. «С обеих сторон высились удивительные лавовые и базальтовые стены скал – в тысячу или более футов, по-

крытые красными и синими анемонами. Один раз встретились даже пальмы, и всегда был прекрасный вид. ... На вершине мы проехали мимо большого водопада»,[6] – рассказывал Лоуренс в письме домой. Спустя шесть с половиной лет он должен был потерпеть в этом ущелье и, может быть, рядом именно с этим водопадом одну из самых горьких своих неудач.

Дальше простирался хлебный край Хаурана, земля которого была еще более яркой, чем в Эздраелоне: «Густо-малиновое озеро без единого коричневого пятнышка. ... Мистер Хогарт, конечно, знал обо всей этой местности по рассказам и по книгам, и мы узнавали все горные вершины, вади, главные дороги... Знаете, что мы видели путь паломников, великую дорогу Хаджа? Даути единственный, кто прошел по ней вниз и описал то, что видел».[7] Так, близ Музериба, Лоуренсу впервые открылся путь, по которому в течение многих лет верующие совершали паломничество к Святым Городам Аравии. Этот же путь, в лунном сиянии и с другого конца, ему предстояло увидеть несколько лет спустя, в свою первую ночь под открытым небом Хиджаза.

На станции Дераа Лоуренс и Хогарт вышли, чтобы сходить в буфет. «Все горы были покрыты снегом, и сугробы лежали в руслах водных потоков, но Дераа было наполнено теплым солнечным светом. У нас был французский завтрак в буфете, где мистер Хогарт говорил на турецком, греческом, французском, немецком, итальянском и английском – все об одном и том же, насколько я мог судить. Это было чрезвычайно странным ощущением – находиться так далеко от Европы. В Урфе и Дераа я чувствовал, что, наконец, удалился от ренессансного влияния, так как буфет был явно и вопиюще экзотическим и только подчеркивал различие между друзами и их турецкими поработителями».[8] Однажды он сам должен был стать

пленником турок в этом Дераа, название которого впредь могло ассоциироваться для него только с уничтожающей нечистотой.

Вечером 25-го наши путешественники прибыли в Дамаск, а 28-го были в Халебе, куда добрались поездом по занесенной снегом дороге. В пути к ним присоединился Реджинальд Кэмпбелл-Томпсон, специалист по клинописи и помощник руководителя экспедиции. 9 марта Лоуренс со своими спутниками выехал из Халеба и, преодолев по пути разлившийся Саджур, приток Евфрата, прибыл в Кархемиш. Было 4 часа дня 11 марта 1911 года.

Холм древнего Кархемиша располагался на обширной равнине, возвышаясь на пятьсот футов над огибавшим его с востока широким Евфратом, за которым, на расстоянии в милю, поднимались сглаженные холмы. Река несла свои чистые воды с северо-востока, где плавно изгибалась на равнине, ограниченной вдали легко взволнованной линией холмов, устремляясь к югу, чтобы разделиться на несколько извилистых потоков, исчезавших в единстве земли и неба. На юге, в трех четвертях мили от Кархемиша, на небольшой возвышенности посреди бескрайней равнины, находилось селение Джераблус, состоявшее примерно из сорока довольно новых домов, ухоженных и очень чистых. Ровная линия западного горизонта переходила к северо-западу в заснеженные вершины Тавра, с которых дул сильный ветер, остудивший в тот день воздух до 5^{o} С. Простор, соединявший землю и небо в единое целое первозданной свободы, библейский мотив темного Евфрата, поселение оседлых бедуинов, хранивших в крови память вольных кочевий: все это казалось явленной грезой Лоуренса.

Около двух десятков жителей высыпали из селения посмотреть на новоприбывших и, как только те одобрили предназначавшийся им дом – большое каменное здание в

два этажа, с примыкавшим к нему двором, принадлежавшее лакричной компании, – бросились убирать его, освобождая от зерна, дерева и прочих запасов.

Лоуренс, уставший с дороги и озябший, желал только отдыха и, когда все было готово, едва ли мог долго думать о том, что его там ожидает. А ожидало то, что должно было стать его счастьем и трагедией, основным событием его жизни, наложившим отпечаток на все его последующее существование. Как пробуждавшиеся живые токи земли, где-то совсем близко уже всходило это солнечное бытие.

Глава XVI

История Кархемиша и его исследование. – Начало раскопок. – Мастерство Лоуренса. – Быт археологов. – Впечатления Лоуренса.

Кархемиш был изначально аморейским государством, развитие которого происходило в конце III тысячелетия до Р.Х. На рубеже XVII-XVI веков до Р.Х. он стал одним из укреплений хурритского царства Митанни, а в XIV веке до Р.Х. был завоеван хеттами и превратился в один из важнейших городов Хеттского царства, которое в этом веке и последующем соперничало с Египтом и Месопотамией в том, чтобы являться ведущей державой мира, и иногда даже затмевало их славу. Когда в начале XII веке до Р.Х. Хеттское царство, уже пережившее свой расцвет и терявшееся в политическом хаосе, пало под натиском так называемых «морских народов», в числе которых были филистимляне, Кархемиш смог устоять и сохраниться как столица новохеттского государства, существовавшего с 1175 года по 990-й до Р.Х. После его распада он остался как

простой город-государство. В IX веке до Р.Х. оно было вынуждено платить дань Ассирии, а в 717-м году было завоевано Саргоном II. Летом 605 года на Кархемишской равнине египтяне вместе с союзными им ассирийцами понесли тяжелое поражение от вавилонян во главе с Навуходоносором.

О Кархемише имеются упоминания в Ветхом Завете (Иер. 46,2; 2 Пар. 35,20; Ис. 10,9), которые, однако, не дают никаких указаний на его местоположение. Оно было установлено в 1876 году по счастливому наитию Джорджа Смита, английского ассириолога-самоучки. Раскопки, начатые им под эгидой Британского Музея, были продолжены в 1881 году Патриком Хендерсоном, британским консулом в Халебе. В ходе них были обнаружены хеттские иероглифические надписи, тогда еще не дешифрованные. В 1907 году при раскопках в Богазкёе, близ Анкары, были найдены таблички с аналогичным письмом, что вновь вызвало к нему интерес. Надеждой экспедиции Хогарта и являлось найти хеттский текст в сопровождении ассирийского, что дало бы ключ к его расшифровке.

Однажды на рассвете первые лучи солнца, косо осветившие вершину холма, выявили высеченную фигуру на лежавшей там с незапамятных времен каменной плите. Плита была настолько повреждена непогодой, что изображение стало неразличимым при прямом свете. Это открытие означало, что новоприбывших ученых может ожидать успех. Они наняли около пятидесяти жителей Джераблуса и 13 марта начали раскопки в том месте, где они были остановлены тридцать лет назад – у лестницы так называемого «нижнего дворца».

Томпсон исследовал холм, Хогарт записывал результаты, а Лоуренс делал оттиски изображений, зарисовывал надписи и скульптуры и руководил рабочими – совместно с Грегори, греком с Кипра, принимавшим участие в рас-

копках Артура Эванса на Крите и в различных местах с Хогартом.* Позднее, когда появились соответствующие находки, к задачам Лоуренса добавились фотография и каталогизация гончарных изделий. Хорошей подготовкой к последнему оказалось занятие средневековой утварью.

Работа начиналась на рассвете, в 6 часов, и продолжалась до заката, с перерывом в час дня для обеда. Вечер заполняли опись находок, копирование надписей и записи в журнале. Затем следовал ужин и в отход ко сну в 22-23 часа. По воскресеньям и археологи, и рабочие отдыхали.

Весь участок раскопок был загроможден щебнем, валунами и кладкой из тесаного камня и бетона, оставшейся от римского поселения. «Где бы мы ни начали копать, повсюду надо передвигать эти огромные блоки, – писал Лоуренс 31 марта, сидя на холме. – Некоторые из них весят тонны, а у нас нет ни взрывчатки, ни отбойных молотков. Поэтому приходится перетаскивать их на древний маневр, применяя людскую силу и веревки при незначительной помощи ломов. В этот момент около шестидесяти человек тащат камни, и каждый, налегая, кричит "Йаллах." Рев стоит ужасный, но камни обычно откатываются обратно. ... Теперь они начали "талул" – любопытно вибрирующее, резонансное завывание бедуинов. Это чрезвычайно пронзительный и отчетливый крик, чем-то напоминающий о жизни в пустыне, граззусе [набегах] и езде на верблюдах. (Тем временем камень соскользнул обратно в траншею, и Грегори позабыл свой турецкий)».[1]

С обеих сторон лестницы были открыты крупные каменные плиты, сильно поврежденные, нередко встречались хеттские надписи, гораздо реже – гончарные изделия

* Грегори – английский вариант. Исконное имя было Антониу Грегориос (1851-?).

и, как писал Лоуренс Лидсу: «Не было никаких маленьких предметов – за исключением меня».[2]

Кроме обязанностей на раскопках, Лоуренс был занят в первую неделю оборудованием жилища: он устанавливал полки, навешивал двери, приводил в порядок окна. Он был не только самым умелым из трех археологов, но и самым изобретательным: приготовлял красную и черную краски для пометок на находках, вкручивал шурупы без нарезки, заменил механизм фитиля в лампе, сделал камеру-обскуру, соорудил печь из канистры для воды, изобрел домкрат и усложнил подъемное устройство, «состоящее из жердей, веревки и арабов»,[3] при помощи которого удалось поставить на ноги статую богини Иштар, разбитую еще в древности на уровне колен. Немного позднее он писал: «Пытаюсь починить центробежный насос для нашего комиссара. Я знаю не много о технике и ничего – о центробежной силе. Как бы то ни было, дело движется».[4]

Археологи нашли повара, по имени Хадж Вахид. Готовил он весьма неплохо, но мог по рассеянности опрокинуть в плов целую баночку карри, превратив блюдо в «наперченные огни».[5] Хлеб сначала приобретали в селении – ячменный, потом Хадж стал выпекать свой из английской муки, но получалось нечто трудное для жевания. Иногда на столе бывала рыба из Евфрата. Томпсон развел небольшой огород, где посадил лук, капусту, подсолнухи и хризантемы, однако в наступившую в июне жару все, кроме подсолнухов, погибло.

Во дворе дома располагалась охрана. Каймакам Биреджика был предупрежден о том, что археологи являются «ценными людьми»,[6] и прислал им «то, что равнялось почти гарнизону солдат».[7] На этом беспокойство не заканчивалось. «Еще есть кошки, – сообщал Лоуренс Лидсу 27 марта. – Во-первых, Папа, который только претерпевает, но не вдохновляет: он появляется по ночам через дыры в

крыше и стенах и бесцеремонно забирается в наши постели. Тогда Д.Дж.Х. [Хогарт] швыряет в его сторону ботинок и попадает в Томпсона или в раковину, или же сбивает лампу. А после того, как он, выбравшись, исправит повреждения, обнаруживает кота в своей постели. Это, что касается Папы. Мама жалобная и довольно скучная. Она громко вопит, выпрашивая еду (обычно в два часа ночи) и получает ее, в баночке. С недавнего времени она вызывает симпатию, несмотря на одну очень беспокойную ночь, когда она разбудила меня, потрогав за лицо, – как разбудила и остальную часть экспедиции (что спят вместе, с револьверами) при попытке спастись от моих воплей, сбегая в окно по банкам варенья. Конечно, она только опрокинула банки и свалилась в раковину».

Даже если бы не кошки, спокойно спать все равно бы не пришлось: «Мистер Хогарт то и дело встает, чтобы прогнать ... крыс, птиц, мышей или собак. Все пролезает в окна, и чуткие спящие страдают».[8] Лоуренс был единственным из троих, кому удавалось хоть немного вздремнуть: «Мне очень пригодилась моя способность спать подо что бы то ни было, которую я приобрел в моем домике благодаря поздним часам и звонкам телефона».[9]

Лоуренсу понравилась его новая жизнь. Он был доволен своими сотрудниками: ему было о чем побеседовать в свободное время с Хогартом, что «читал и сейчас читает много вещей и любит поговорить о них и о людях, которые их пишут»,[10] а Томпсона он счел «очень забавным и очень приятным»,[11] хотя ему весьма не нравилось высокомерие того по отношению к местным жителям, и он искренне радовался, когда арабы могли в чем-либо проявить себя. Сами окрестности – «от словно игрушечного селения с его источником вплоть до Евфрата, равнины Тель-Ахмар и заснеженного Тавра на севере»[12] – он нашел «чрезвычайно хорошенькими».[13] Почти весь март сиял «струя-

щийся солнечный свет»,[14] но после полудня с севера часто налетала буря, прогоняя рабочих с холма и развевая пыль с раскопанной вершины над темным разливающимся Евфратом.

Здесь Лоуренс мог только ликовать: ведь он находился на Востоке, куда так стремился и занимался делом, к которому давно был расположен: «Раскопки невероятно забавны, интересны и чрезвычайно волнующи».[15] И не только раскопки волновали его.

Глава XVII

Величайший из Божьих даров. – Миг сотворения.

Свобода, творческий талант и способность любить – три величайших дара Божьих, три черты образа Божьего в человеке, три таинства, хранящие в себе чудо сотворения. Они взаимосвязаны самим актом творения. Нет свободы без любви, нет любви без свободы, как талант не может быть движим ненавистью или принуждением. Но самый дорогой из этих даров – любовь. Она дает свободу любящему и любимому, созидает, очищает и открывает путь к высшему бытию. Важнейшая любовь – к Богу: сыновнее чувство благодарности, искренности и преклонения. Оно дает человеку возможность ощутить себя – столь малого пред ликом Вселенной – необходимым и любимым. Без этой «космической эмоции»[1] так легко затеряться в бесконечности, опрокинуться в небытие, которое есть отчаяние, ненависть и уничтожение. Не зная Отца, не ощущая Его как повседневную реальность, не чувствуя в себе Его духа, мы оказываемся ничтожествами, не ведающими своего начала, пути и цели. Смещается шкала ценностей, меняются ориентиры, стирается истинная радость, открывая

дорогу ложным благам, пресыщению, отчаянию. Неверие – небытие. Не имеющий в себе Бога проклят самим собой. Жизнь видится в сокращенном ракурсе мизерного земного существования, и отсюда является страх смерти – самый глубокий и самый *нелепый*.

Этот страх преодолевается любовью. Прежде всего, к Богу: любить Его – значит, сознавать свою вечность. А во-вторых, – к тому, с кем мы надеемся вместе вернуться на свою настоящую родину или встретиться там. Только так смерть перестает устрашать и становится тем, что она есть – переходом, дверью в солнечное бытие. Любовь несет в себе вечность. Она есть начало бесконечной жизни.

Такова любовь истинная – возводящая не только к вершинам блаженства, но и на крест. Благословенна боль во имя человека – благословлена освобождающим и созидающим Словом Любви со Креста.

Человек попрал свою свободу, обратив ее в своеволие. И попрал любовь: дав имя черты Всевышнего и его дара – зову плоти, уравнивающему человека с животным. Любовь же оказалась изгнанной за пределы общества. Чувство к равному, к брату по духу Божьему оказалось заклейменным: то распятый Сын Божий, у Креста Которого стоял Иоанн... Мир начат любовью, но люди длят его ненавистью, и черный крест, как запекшаяся кровь, вырисовывается пред ясным небом и отбрасывает страшную тень на землю. Гремит и гремит «Распни!» обезумевшей толпы, свистят и свистят бичи, и торжествует Каиафа, считающий себя исполнителем воли Господней. Но с кем Бог – с гонителем или с гонимым? С ненавидящим или с любящим? Вас гонят люди, но с вами Бог. Si Deus pro nobis, quid contra nos?*

---

* Если Бог за нас, кто против нас? – *лат.*

И снова и снова совершается чудо любви – все преодолевающей, спасающей, животворящей, дарующей радость не только любящим, но и тем, кто способен их понять. Такой любовью была жизнь Лоуренса. Такую любовь он встретил в Кархемише.

Лоуренс присмотрелся к рабочим-арабам и нашел, что «некоторые обладают весьма приятной внешностью»[2]. Все были худы, стройны и большинство невысоки. Черты многих отмечала та ясность, а взгляд – проницательность, что присущи бедуинам пустыни. Они носили просторные рубахи ниже колен, перехваченные широким поясом, короткий жакет или более длинную накидку, свободные штаны и куфию, удерживаемую похожим на жгут укалем. Многие брили головы, другие отращивали длинные косы – «подобно хеттам», по сравнению Лоуренса.

Должно быть, тогда он и выделил из толпы самого красивого. Таящийся взгляд задержался, словно узнавая, – пока внутри не прозвучала сокровеннейшая и почти страшная в своей глубине радость, повторившаяся в ответном взоре, будто случайно брошенном на него. Встретились глаза: словно ясное небо отразилось в темных водах, хранящих в себе начало нового мира.

Салем Ахмед, или Дахум, был восемью годами младше Лоуренса – в то время мальчик пятнадцати лет. Но в его юном облике уже была заметна та красота, что обещала раскрыться совсем скоро: так в смутном утреннем свете можно угадать сияние будущего солнечного дня. В темноте его глаз Лоуренс потерялся, чтобы обрести себя; в этой чарующей темноте «был создан из вод Хаоса мир»[3] – мир их любви.

Но печально смотрели эти глаза, как нередко бывает у тех, кто словно видит свое будущее, и для того чтобы они

засияли, Лоуренс однажды должен был принести в жертву самого себя... Однако это было еще далеко, а тогда существовал только лучезарный миг Вечности над библейской рекой: встреча взглядов двух юношей, как сотворение их бытия.

Где-то на древней земле Востока возникло предание о сотворении мира. И теперь весенние воды Евфрата будто вынесли из своих глубин память об этом, и вспыхнула она под солнцем – новым творением. И не осталось ни разрытой земли, ни голосов множества рабочих, ни шума откатывающихся тяжелых камней – ничего, кроме сияющего мгновения Бытия и лазурной бесконечности неба.

Глава XVIII

Начало любви. – Отношение Лоуренса к арабам. – Значение для него Дахума.

Есть некая прелесть в началах. Особенно – в начале любви: взгляды украдкой, радость присутствия, осторожные попытки сближения... Эти полутона рассвета, не набравшие еще яркой силы исполненного солнцем мира, волнуют необычайно глубоко от своей близости с тенями и туманом и от тайны, которую таят в себе.

... Сладостно томило, словно звало, в груди, когда он видел эту стройную и ловкую мальчишескую фигурку; смотрел уже не прямо, но осторожно, как на яркий свет, и, так увидев, удерживал в памяти, чтобы потом, в уединении постели, вызывать этот образ вновь и вновь, припоминая каждую черточку, и с волнением вслушиваясь в то, что зародилось внутри...

Дни были подобны тому невыразимому внутреннему звучанию, из которого рождаются стихи. Сам Дахум был

таким – таившим в себе ту красоту, что должна была открыться под ласками Лоуренса.

Дахум, в свою очередь, тоже не мог не обратить внимания на Лоуренса. Тот выглядел его ровесником и был по-особенному привлекателен: нежный и хрупкий, с внимательным взглядом удивительных голубых глаз, мягким голосом и завораживающей улыбкой, придававшей ему редкую приятность. Весь его облик казался выражением душевной теплоты. В этом юноше ощущалась духовная сила, но в то же время и трогательная незащищенность, побуждавшая оберегать его. Дахум мог видеть, как он что-то пишет, сидя на холме, или рассматривает находки; мог видеть светлые волосы, спадавшие налево на высокий лоб, и небольшие чуткие руки... Лоуренс так отличался от всех, кого он знал. И особенно дорогим в этом маленьком англичанине было его дружественное отношение к арабам. Он был свободен от той снисходительной презрительности и ложной гордости, что столь часто встречается у представителей так называемых цивилизованных народов, когда они оказываются среди тех, кто, по их мнению, им уступает. Лоуренс же относился к арабам как к равным. Национальность, вероисповедание, тем более уровень «цивилизованности» для него не имели значения. Он в каждом видел человека.

... На пароходе, на котором Лоуренс в 1910 году плыл в Сирию, совершали свое путешествие три французских кюре. «[В Константинополе] я пытался заставить их хотя бы отчасти понять радость и удовольствие Востока. Я взял их на прогулку по базару и показал им, как делать камреддин, как гладить феску, и другие всевозможные вещи. Но, поистине, казалось, что им все безразлично. Они постоянно твердили “quel saléte [какая грязь],” говорили о грязи и беспорядке, об отсутствии магазинов и повозок и о том, что им нравится называть удобствами (которые явля-

ются бóльшим беспокойством, чем заслуживают). Казалось, они слишком ограничены для того, чтобы выйти за пределы собственной цивилизации или условий жизни. ... Является ли цивилизация мерилом, чтобы оценивать характер и достижения народов, живущих иначе, чем мы сами?».[1] Слишком многие – и в те времена, и позднее – судили о других народах по собственной мерке и, находя отличия, считали их недостатками. Мир многообразен, но сколько всегда было страдающих душевным дальтонизмом!.. Этот дефект зрения особенно страшен тогда, когда от него несвободны деятели политики и культуры. Одним из следствий такой слепоты является колониальный «патернализм», и Лоуренсу предстояло однажды столкнуться с этим. Как те кюре, не видевшие в Константинополе ничего, кроме грязи, так правительство его собственной страны однажды не увидит в арабах ничего, кроме их «незначительности».

«Какая грязь!» – поморщились почтенные кюре, взирая на корку жизни. «Какая красота!» – восхитился непохожий на других юноша, умевший видеть сущность вещей. Разница между ними – это разница между открытостью человечности и предрассудками «цивилизации». А то, что Лоуренс совершил позднее во имя Дахума важно еще и тем, что он, англичанин и христианин, сделал это ради араба и мусульманина.

Лоуренс видел в арабах равных и, пожалуй, с радостью стал бы одним из этих простых, чистых, прямых людей, кого сами суровые условия жизни сделали человечными – при всей их внешней дикости. Даже их «жестокость» имела пределы. Достаточно одного примера: в почти постоянной вражде между племенами женщины, дети и то имущество, которое нельзя было забрать при набеге, являлись неприкосновенными. Арабы не были идеальны: они были людьми. Были индивидуальностями, а не высокомерными

винтиками имперской машины.

Познав Восток и его людей, Лоуренс уже не мог смотреть на привычный Запад теми же глазами: слишком много изъянов и нечистот открывалось ему. «Я стал арабом в своих привычках», – не без гордости писал он домой в 1909 году. «Араб остался в нем», – отмечал Г.Б. Лиддел Гарт в 1934-м. Так европеец с радостью стал бы «дикарем», ибо тот был чист и свободен. «Стал бы» – так как не араб «остался в нем», но только его след. «Я лишился одного облика и не воспринял другого»,[2] – скажет Лоуренс после войны.

Дахум оказался для него сбывшейся мечтой: его симпатия к арабам, из детских лет идущая, нашла отклик. Лоуренс увлекался историей крестоносцев и был на стороне их противников; он с трепетом следил за событиями, происходившими на Востоке и желал возглавить новый «крестовый поход» для освобождения народа от рабства; он стремился туда, какие бы трудности его там ни ожидали. И теперь, когда он там находился, оказалось достаточно одного взгляда на этого красивого мальчика, чтобы потерять голову: вся его страсть к арабам и к их земле нашла ответ в Дахуме, который казался воплощением всего лучшего, что было присуще его народу, был средоточием всех ассоциаций и эмоций Лоуренса, звавших его сюда с такою силой, будто сам Дахум призывал его сквозь пространство. Крестовые походы, жизнь современной Турецкой империи, Кархемиш, арабский мальчик: так все сузилось, словно перспектива, до одной точки – до бытия одного человеческого существа. Шло из самого детства Лоуренса, чтобы теперь сосредоточиться на Дахуме. И затем перспектива снова должна была расшириться, вовлекая Лоуренса и ведя его в открытое пространство, где для него не оставалось ничего...

Вся жизнь Лоуренса сосредоточилась на Дахуме – как

пристальный взгляд счастливой весной 1911 года.

Глава XIX

Научные надежды и разочарования. – Будни. – Ночное происшествие. – «Колдовство». – Испытание Гертруды Бэлл.

К середине апреля надежда на научный успех начала исчезать: не было найдено ничего столь ценного, что не только бы обеспечило второй сезон работ, но даже оправдало бы первый. На вершине холма были открыты массивные римские фундаменты, среди которых попадались обломки колонн и куски кровли, тогда как из хеттских предметов был обнаружен только черепок стеатитового кубка: «Это и кирпич с именем Саргона являются результатами трехнедельной работы. Большая часть холма состоит из необожженного кирпича: там была когда-то хеттская крепость, но, боюсь, римские варвары уничтожили на том месте все»,[1] – сообщал Лоуренс домой. Больше ожиданий возлагалось на Тель-Ахмар, расположенный несколькими милями ниже по течению Евфрата.

На радость Лоуренса легла тень. С середины апреля до начала июня он жил в томительном напряжении: каждая более или менее значимая находка возрождала надежду на второй сезон, но затем вновь следовала неудача. Для него продолжительность работы на раскопках означала время, которое он мог провести с Дахумом, и нетрудно представить, как страшно было ему потерять его, едва обретя.

В апреле Хогарт вернулся в Англию. К тому времени на раскопках были задействованы около восьмидесяти человек, а работа продолжалась с половины седьмого утра до пяти вечера. Рабочие приходили на холм около 5.30., и

примерно через час, когда подходили археологи, началась работа. Пока арабы копали, Лоуренс и Томпсон, по выражению первого, «бездельничали»: копировали надписи, измеряли слои, фотографировали. Из-за небольшого числа задач они поделили день, работая поочередно на раскопках или в доме с находками. К обязанностям Лоуренса прибавилось склеивание найденной посуды – занятие чрезвычайно кропотливое, подобное сбору мозаики. Так, один горшок был собран из ста сорока семи частей.

С 8.30. до девяти часов и с двенадцати до половины второго рабочие отдыхали. «Самое приятное время дня наступает к завтраку, – рассказывал Лоуренс. – Из всех селений, расположенных на равнине ниже нас, тянутся вереницы одетых в красное и синее женщин и детей, которые несут в красных клетчатых платках хлеб, а на голове – деревянные сосуды с лебеном. Люди тогда еще не утомлены, а жара приятна; и они болтают, шутят и поют – причем очень хорошо. Некоторые из них приносят пастушеские свирели и наигрывают свои мелодии. Как правило, они неразговорчивы: могут сидеть у дверей дома в продолжение многих минут без единого слова. Часто, выйдя утром, мы находили снаружи 100 человек, ожидавших работы, а ведь до того не слышали ни звука в открытое окно, расположенное как раз над ними! Единственное время, когда они становятся разговорчивыми, это когда они разделены примерно полумилей. Небольшая дружеская беседа через Евфрат является радостью, но только не для ушей того, кто находится поблизости, потому что звук разносится в этом месте невероятно, а они кричат хриплыми голосами. Как бы то ни было, сейчас даже Шейшо и Беркави, курдские братья, последние из нанятых нами, не могут разговаривать сквозь шум разлива. Другие бросили попытки несколько дней назад, так что в долине спокойно».[2]

Вода в Евфрате прибывала с каждым днем, и было слышно, как тяжело рушатся подмытые берега. Воды, коричневые и пенистые при взгляде с холма и темно-синие под солнцем вдали, шумели по камням со скоростью семь миль в час, перекатывая скрежещущий щебень. Окрестности покрылись пышной травою после нескольких дней дождя. Временами продолжали налетать штормовые ветра с севера или с запада, но чаще погода была самой приятной.

Хорошее отношение археологов к рабочим и соответствующая их труду плата сделали участие в раскопках весьма желанным для местных жителей. Слишком желанным: «На прошлой неделе, – писал Лоуренс 23 мая, – мы уволили сына шейха Ибрагима, важной особы в селе. На следующий день старик вошел в нашу кухню и сказал Хаджу Вахиду ... что собирается заколдовать Томпсона, меня, Хаджа Вахида и наших смотрителей, если его сын не будет взят обратно. Хадж пришел к нам несколько взволнованный. Он думал, что лучше будет разубедить старика силой, и что все это действительно серьезно, так как в случае какой-нибудь болезни в экспедиции мы окажемся в руках шейха. Мы сказали Хаджу, чтобы он не беспокоился: мол, сделай восковое изображение этого человека, с одним его волосом внутри, произнеси определенные слова и в полночь проткни булавкой его сердце или растопи над огнем, и с каждой падающей каплей его жизнь будет убывать на день. Хадж бросился наружу и выдернул один из последних волос с головы старика, а потом с триумфом заявил ему, что́ у него в запасе. Старик принялся молить о пощаде, клясться в добром отношении ко всем нам и предложил нам курицу (мы отказались). Мольба была удовлетворена, а волос (не *тот* волос, подозреваю) возвращен».[3]

В доме соседом Лоуренса был теперь один Томпсон.

«[Однажды ночью] мы оба ненадолго уснули, как вдруг нас разбудил шелест, перешедший в громкий шум, и из дыры под крышей, служащей окном, нечто белое и большое прыгнуло как раз к моей кровати. Томпсон тотчас вскочил со страшным воплем, все его сохранившиеся волосы встали дыбом, и мы оба в одно и то же время схватили один и тот же револьвер и попытались выстрелить. Однако это оказались всего лишь газеты, которыми мы заткнули дыру, чтобы в нее не пролезали птицы и летучие мыши. Внезапный порыв ветра сдул их в комнату. Мы как раз сделали это открытие, когда в комнату ворвался Хадж Вахид ... с кухонным молотком в одной руке и с ружьем в другой, а наши два заптие [солдаты из охраны] принялись стучать в ворота, желая выяснить, что случилось. Вопль Томпсона стал причиной всего этого, как и удивленных расспросов сельчан на следующий день».[4]

21 мая раскопки посетила Гертруда Белл (1868-1926) – археолог, путешественник и писатель, известная Лоуренсу к тому времени по своей книге «The Desert and the Sawn». «Мы показали ей все наши находки, и она рассказала нам о своих. Мы уже расставались с выражениями взаимного уважения, как она заметила Томпсону, что его идеи относительно раскопок доисторические. И нам пришлось подавить ее демонстрацией своей эрудиции. Мы опросили ее (за 5 минут) по архитектуре византийской, крестоносцев, римской, хеттской и французской (моя часть) и по греческому фольклору, ассирийской архитектуре и месопотамской этнологии (Томпсон); по доисторической утвари, фотообъективам, технике работы по металлу в бронзовом веке, Мередиту, Анатолю Франсу и октябристам (я), по движению младотурок, конструкциям в арабском языке, цене верховых верблюдов, ассирийским похоронным обрядам, немецким методам ведения раскопок и багдадской железной дороге (Томпсон). Это была своего рода закуска,

и, когда это закончилось (и она стала более почтительной), мы выбрали каждый по семь-восемь предметов и опросили ее по ним. Спустя полтора часа она была весьма рада выпить чаю, а уходя, сказала Томпсону, что он совершает чудеса в своих раскопках, и что, по ее мнению, *мы* получили от этого места все возможное».[5]

Примерно 8 июня пришло известие от Хогарта о том, что раскопки будут продолжаться до августа. «Это великолепная новость»,[6] – обрадовался Лоуренс. Однако второй сезон едва ли предполагался.

Глава XX

Способности Дахума. – Сближение с ним. – Несколько трудных слов.

В начале июня Лоуренс переселился в палатку на холм, где велись раскопки. Оттуда открывалась глубокая даль, словно взгляд в неизвестность, – вплоть до неровного лезвия горизонта. Внизу длились успокаивавшиеся воды Евфрата, и высокие травы шептали на его берегах. «Очень приятно смотреть при лунном свете в одну сторону на бегущий Евфрат и в другую – на огромную равнину Кархемиша, до холмов Соленой пустыни на юге. Определенно, наши раскопки в одном из самых приятных мест в мире и в одном из самых памятных».[1]

Источником приятности для Лоуренса являлось там, конечно, существование Дахума. Почти к тому же времени относится одно из его первых письменных упоминаний об этом мальчике: «Интересная личность. Он немного умеет читать по-арабски (единственный человек в округе, за исключением лакричного короля) и вообще обладает бо́льшим умом, чем обыкновенные люди. Он говорит, что

собирается идти учиться в школу в Алеппо – с теми деньгами, которые заработает у нас. Я постараюсь сохранить наблюдение за ним, чтобы посмотреть, что получится. Он мог бы быть еще лучше, если бы не страшная изнурительность постоянных принудительных работ и не низкий уровень сельских умов. К счастью, в этом округе еще нет иностранного влияния. Если бы вы только видели разрушение, произведенное французским влиянием и, в меньшей степени, американским, вы не пожелали, чтобы оно распространялось. Совершенно безнадежная вульгарность наполовину европеизированного араба ужасна. В сто раз лучше араб незатронутый. Иностранцы приходят сюда всегда учить, в то время как им лучше было бы учиться, ибо во всем, кроме разума и знаний, араб, как правило, лучший из двух».[2]

Но однажды Лоуренс решил сам стать учителем для араба – Дахума. Казалось бы, странная и противоречащая его мнению затея: заняться недопустимым, на его взгляд, делом да еще при нетвердом владении письменным арабским языком (так, для прочтения одного из писем своей учительницы из Джебейля Фариды аль-Акль ему потребовалось около часа) и без необходимых материалов. Однако здесь нет ничего удивительного: несомненно, что эта идея возникла не сколько от желания помочь Дахуму развить свои способности, сколько от стремления быть с ним и сблизиться, причем не привлекая постороннего внимания. Дахум с готовностью согласился на предложение, и Лоуренс начал учить его чтению, письму, математике, основам истории и географии и даже английскому языку. В этих занятиях Дахум проявил замечательное прилежание, и 4 июля, спустя несколько недель, Лоуренс сообщил в одном из писем: «Наш мальчик-рабочий делает успехи. У него, действительно, появляется проблеск смекалки, и он начинает использовать свой разум столь же хорошо,

как и интуицию. Он немного учился читать, так что у меня есть поистине исключительный материал для работы, однако я заставляю его читать и писать гораздо больше, чем ему доводилось прежде. Но нельзя сделать многого, имея в своем распоряжении только палку и земную пыль. Собираюсь попросить для него у мисс Фариды несколько простых и забавных книг».[3]

От своего убеждения Лоуренс не отступил: он ясно осознавал необходимость сохранить сущность Дахума незасоренной чуждым влиянием, сберечь в нем ту чистоту араба, которая столь восхищала его: «Стоит помнить, что он должен оставаться мусульманином».[4] Обращаясь с просьбой к одной из учительниц Американской миссии, Лоуренс писал: «Все, что я хотел бы для этого мальчика-рабочего, – книгу по истории или географии, которая была бы читаемой и к тому же арабской. Я не могу дать ему такую продукцию, как та, которую использует мисс Холмс, поскольку ничто с франгским привкусом не войдет в Джераблус через меня. Я хочу только дать мальчику возможность помочь себе самому».[5] Только предоставить возможность: указать путь, но не вести, сохранить его природу и, охраняя от собственного влияния, не нарушить его *свободы*. Лоуренс обладал сакральным отношением к чужой свободе, а здесь дело касалось того, кого он любил: нарушение было бы равносильно осквернению.

С каждым днем они все больше узнавали друг друга, и все больше крепла взаимная привязанность – в тени завтрашнего дня, когда они, как предполагали, должны были расстаться. Это настроение возможного конца должно было только усиливать нараставшую близость.

Все труднее становилось утаивать свое чувство, желавшее выражения, и все сильнее томило присутствие

Дахума, представляясь подчас почти мучительным из-за того невысказанного, что жило внутри и, оставаясь неявленным, разделяло их. Было тяжело молчать, словно дышать сдавленной грудью, но еще сложнее – открыться. Можно было снова и снова признаваться в ночи и с бьющимся сердцем ожидать ответа, мысленно пребывая с любимым, пока сон не овладевал усталым разумом и мечты не переходили в томительные грезы, заставлявшие ворочаться от неудовлетворенности в одиночестве постели. Однако произнести эти несколько слов наяву казалось почти невозможным, едва ли не безумием. Почти каждый влюбленный робок с любимым, а Лоуренс был застенчив от природы.

Между тем, время шло, и радостное настоящее ускользало, как тень на земле от солнца, близящегося к закату. Медлить было нельзя.

... Где-то сидели они плечом к плечу, и Лоуренс на древней земле древним же способом выводил женственную вязь арабского письма, и за палкой оставалась змейка слов. Останавливалась палка, останавливался ожидающий взгляд Лоуренса на Дахуме. Тот, посерьезнев, читал, иногда путая похожие буквы. Смеялись оба на свои импровизированные уроки, а под веселой поверхностью, как под игривой рябью на воде, скрывались глубины иного...

Однажды вывел волнующиеся знаки того, что томилось внутри, – будто душу свою нарисовал. Дахум начал читать, как обычно, прямые брови сдвинулись сосредоточенно. Видел лишь короткую вьющуюся дорожку, исчезавшую в пыли, и не мог заметить, что уже не шутлив его юный учитель. Каждый удар встревоженного сердца Лоуренса был вечностью. Несколько букв обрели смысл – и гулко отдались внутри. Вскинул темные глаза на Лоуренса, – метнулся взгляд того, словно обжегшись, в пространство, как в неизвестность. Жарко стало и почти

страшно, будто оба внезапно изменились, и все вокруг сделалось незнакомым: не греза превратилась в явь, а явь – в пугающую грезу. И тотчас ощутил на своей по-девичьи тонкой руке уверенную руку Дахума. Вновь встретились взгляды – понявшие...

Таков мой «апокриф». Обстоятельства могли быть иными, но они лишь контекст основного – внутреннего. О любви *было* сказано – во время занятий или где-нибудь на прогулке, словами или прикосновениями. Однажды открылись друг другу, и исчезла преграда, как исчезло всеразрушающее время. Осталась Вечность, и не в пыли, не в пустоте, но в небе засияли слова признания сладчайшей белизной – светом Божьего дара: «Я тебя люблю».

Глава XXI

Любовь истинная и любовь-химера. – Отношение ранних христиан к однополым союзам. – Узы, освященные Крестом.

В стремлении истинно любящих друг к другу есть неясное устремление к вечному свету, что вспыхивает в слиянии душ на мгновение вечности – в этом прообразе их единения в бесконечном бытии. Любовь между равными не принадлежит земному миру.

И только это есть любовь, а не обычная связь мужчины и женщины, где движет только слепой – как червь в их плоти – инстинкт и где цель – лишь продолжение рода. Их отношения, источающие стыд, как смрад, – всего лишь одно из проявлений тела. Проявление, по злой иронии носящее имя любви – одно из самых святых имен и самое опошленное. Оно почитается за наиболее высокое чувство, тогда как в действительности принадлежит к

тому же ряду, что позывы к телесным отправлениям. Однако этот позыв, оказывающий столь сильное влияние на жизнь не только отдельного человека, но даже общества, унизителен, поскольку является животным инстинктом, подавляющим разум.

Там, где действует инстинкт, исчезает человек. Половая привязанность к женщине делает из мужчины животное, цепного пса, подчиненного ярости своей похоти. Человек, подобие и слава Божьи,[1] растворяется в поглощающей пропасти женской сущности. Эти отношения – вскрытый пол: рана, с которой сорвана повязка. Их следовало бы стыдиться – не только их сексуального выражения, но и самого побуждения, – и оставить за закрытыми дверями отхожего места жизни. Но нет: они рассматриваются как некий абсолют, касающийся каждого, и уклонение от них считается аномалией, в лучшем случае – странностью.

Миром движет инстинкт – зверь в человеке, принуждающий к насилию, порокам и – смерти. Сатана – не внешняя сила, но внутренний животный импульс. Половой – самый жестокий, с его устремлением к мертвой земле: воспроизведением, за которым следует смерть – собственная и своих потомков: цепь смертей.

Смерть в обычном смысле слова – освобождение. Много страшнее смерть духовная – уничтожение духа при жизни: обращенность к земле. Человек становится трупом – плотью без духа. Инстинкт – животное начало – поглощает начало человеческое – дух. Более всего – необузданный и всеподчиняющий инстинкт пола.

Это хорошо понимали в первом тысячелетии, когда животворящий свет Солнца, ушедшего за горизонт Истории – в мистерию для одних и в истину для других, – еще озарял землю теплым золотом своих лучей, и яркие контрасты позволяли отличать истинное от ложного – то, что

мы едва ли умеем в сгустившейся мгле – в черной яме земли.

В те времена связь мужчины и женщины рассматривалась последователями новой религии лишь как дань земному. «Для новообращенных христиан, ожидавших скорого конца света и драматически преобразовывавших свою жизнь в подготовку к этому, брак – вместе с другими мирскими удовольствиями и благами – казался тривиальным и, хуже того, опасным отвлечением».[2] Во время церковных служб (а тогда освящали даже поля и скот) ни о чем другом для брачующихся не молились, кроме как о телесном, земном – о чем же еще? Церковным таинством брак стал только с 1215 года, оставшись принадлежностью земли. В Новом Завете Христос трижды повторяет, что в Царстве Небесном не брачуются, живя, подобно ангелам (Мт. 22,30; Мк. 12,25; Лк. 20,35). Безбрачие и сохранение девственности не только тогда, но во все последующие века считалось наиболее достойным положением для христианина, ибо казалось подобием ангельского состояния, причастностью небесам, принадлежностью Богу. Оно оберегало чистоту образа Божьего в человеке, которую оскверняет межполовая связь (так, в Апокалипсисе говорится о девственниках, «которые *женщинами не осквернены*»[3]).

Брак, дань мирскому, был для многих, безбрачие и сохранение чистоты – незатронутого образа Божьего, архетипа небесного – для *избранных*.

«Неудивительно, что среди ранних христиан, ведомых аскетически настроенными прелатами и теологами к тому, чтобы рассматривать гетеросексуальные пары как основанные на полностью земных соображениях (собственность, либидо или желание потомства), христианские святые, обращавшие привязанность к своему же полу (или те, кто, как считалось, обращал) в отношениях, что могли основываться только на любви, должны были идеализиро-

ваться и превозноситься в дальнейшем как следовавшие в освященной традиции Священному Легиону или Давиду с Ионафаном (или тому и другому)».[4] Велико было преклонение перед парами солдат-святых – вплоть до того, что их порой даже придумывали. Так, например, для мученика начала IV века копьеносца Феодора к IX столетию был «изобретен» спутник, тоже Феодор, военачальник. В иконографии их изображали в нежных объятиях друг друга. Воображение христиан соединило апостолов Филиппа и Варфоломея (как предполагает Джон Босуэлл, оттого, что их имена часто упоминаются вместе), и одна византийская легенда V-VI веков рассказывает об их совместном мученичестве во граде Гиераполис (Сирия).

Однако самыми известными и почитаемыми были святые Сергий и Вакх, чья любовь являлась уже не желанием фантазии, но чудом жизни.

Они были римскими солдатами, служившими при императоре Максимиане, причем Сергий занимал высокое положение при императорском дворе. Согласно Северу, епископу Антиохии (512-518), они не только любили друг друга, но были даже схожи в красоте души и тела.

> ... соединенные в одно,
> как братья,
> узами любви.[5]

Завистники их благоденствию выдали императору, что Сергий и Вакх христиане. Они были разжалованы, и после того, как призывы «одуматься» и воздать почести языческим богам ни к чему не привели, император приказал облачить их в женские одежды и в таком виде провести по улицам. В обществе с преклонением перед мужественностью это было излюбленным способом унизить впавших в немилость. Однако с Сергием и Вакхом попытка не удалась. Они отвечали императору, что, если ноше-

ние этих одежд не препятствует женщинам почитать Бога, то едва ли помешает им. После исполнения наказания император, разгневанный от своего бессилия, сослал их в Сирию, где губернатором был их друг Антиох, обязанный своим положением Сергию. Император направил ему письмо, в котором говорилось, что, если они раскаются, то получат прощение и будут восстановлены в своих званиях. Но и там никакие увещания и угрозы не могли отвратить их от пути истины.

Вакх был избичеван до смерти (1 октября 309 года). Его последними словами, обращенными к губернатору, были: «Чем больше внешний человек истерзан твоими ударами, тем больше человек внутренний обновлен в подготовке к вечной жизни».

Сергию была дана еще неделя. Для него это стало длящейся смертью, причиненной утратой возлюбленного: «Ты был разделен со мною и взят на небеса и покинул меня одного на земле, в скорби, без утешения». В своем страдании он едва не лишился веры. Но в одну из мучительных ночей одиночества ему явился Вакх: «Почему ты тоскуешь и скорбишь, брат? Если я был забран от тебя телесно, то я до сих пор с тобой в узах единения, поющий: “Я последую путем Твоих предписаний, когда Ты успокоишь мое сердце.” Поспешай же тогда и ты, брат, чрез прекрасное и совершенное исповедание достичь меня, когда путь завершится. Ибо моя награда – быть с тобою». После этого Сергий воспрял духом и неколебимо укрепился в своей вере, возрожденной любовью.

Наутро он был принужден пробежать десять миль в обуви со вбитыми гвоздями, и Антиох сопровождал его в повозке. Эта пытка не умалила душевной крепости святого. На следующий день ему пришлось пробежать с вонзающимися гвоздями еще девять миль, но и эта дорога боли не преуменьшила силу его веры. Видя тщетность

«убеждений», губернатор приговорил его к казни. 7 октября Сергий был обезглавлен в Ресафе, на берегах Евфрата.

Так, отказавшись приносить жертвы идолам, Сергий и Вакх принесли в жертву Богу самих себя – из любви к Нему, которую укрепляла любовь друг к другу.

По церковной традиции, они всегда упоминаются вместе, ибо, согласно Северу Антиохскому, «нам не следует разделять в речи тех, что были соединены в жизни». В их жизнеописаниях Сергий назван «сладчайшим сотоварищем» и «возлюбленным» Вакха. На Западе днем их поминовения является 7 октября. У арабских христиан они даже еще более почитаемы и имеют три дня поминовения: 1 и 7 октября, когда каждый упоминается как «товарищ» (رفيق) другого, и третий праздник – в честь освящения их общей церкви в Ресафе. Сергий и Вакх считаются святыми покровителями Сирии.

Подобные умонастроения христиан первого тысячелетия объясняют создание особых богослужений для освящения однополых союзов. Фактически это были бракосочетания со всем соответствующим церемониалом: брачующиеся представали пред алтарем; их правые руки были соединены столой; священник обводил их вокруг алтаря; они получали его благословение. Частью церемонии были свечи, клятвы в верности, поцелуи брачующихся. Иногда употреблялся обнаженный меч, как, например, в Ирландии. Кольца не использовались – по-видимому, потому, что являлись символом помолвки, которая отсутствовала в данном случае. Во время ритуала читались места из Библии: Ин. 15,17, 17,1 и 18-26; Кор. 1. 13,4-8. Самым распространенным было чтение псалма 133. После церемонии следовал свадебный пир.

Отношения равных – вне инстинктивного, мирского, временного: истинная любовь. И гимнами любви станови-

лись молитвы о таких союзах, прославляя это чувство не только в данном смысле, но и в более широком: к человеку и к Богу, ибо оно является частью Любви. Так, один из текстов богослужения для освящения однополых союзов (Гроттаферрата, X в., греч.) гласит: «Цветам подобен для нас и желанен сладкий аромат любви, установленной во времена патриархов, ведомой голосами пророков и освященной проповедями апостолов. Ибо любовь – величайшее из всего, что есть на земле. ... Даруй же, Господь наш, этим рабам Твоим, Н. и Н., любовь и мир Твоих святых апостолов, которые Ты даровал им, возглашая: "Мой мир Я даю вам и оставляю вас в Моем мире." Сама любовь собрала святых апостолов чрез братскую любовь в благословенную гавань Церкви. Любовь научила Твоих святых мучеников терпению в их страданиях, чтобы они могли наследовать вечный венец незакатной славы. Любовь явила святым пророкам, как исполнить их ангельское служение. Любовь была провозвестником Спасителя, служа всему святому. ... Посредством любви мы все ведаем о Тебе как о Боге всего сущего. ... [Там,] где царит любовь, ненависть невластна, демоны не имеют силы, нет греха. Ибо есть эти три вещи – вера, надежда и величайшая из всех – любовь».[6]

Почти в каждой молитве упоминались имена святых Сергия и Вакха: «Как Ты нашел Твоих святых мучеников Сергия и Вакха достойными быть соединенными вместе, благослови и этих рабов Твоих, Н. и Н., объединенных не узами природы, но верой и духом, и даруй им мир, и любовь, и единомыслие».[7]

В те времена кьяроскуро, в эпоху надежды и мученичества, когда вера была подобна лучу, освещающему разум с пылающего горизонта, люди умели видеть в отношениях равных любовь. Пороком ее сделала многовековая прогрессирующая близорукость, временами почти слепо-

та. Любовь стала «пороком», религия – сжатой, как судорожное усилие вдоха («contracted faith»,[8] по слову Лоуренса).

Не только в большей части религиозной сферы, но в самом общественном сознании разлито неприятие гомосексуализма. Не коренится ли оно в той яростной иудейской глубине, откуда вышли авраамические религии? Три тысячи лет назад, при заселении Ханаана, вспыхнула ненависть иудеев к исконным жителям страны и к их верованиям. Одним из их религиозных ритуалов, направленных на достижение плодородия, была проституция, в том числе мужская. Нелицеприятное по своей сущности явление вполне могло бросить тень на однополые отношения как таковые и породить в сознании завоевателей отвращение, что много позднее стало – уже у других народов, воспринявших одну из авраамических религий, – почти инстинктивной реакцией. Инстинктивной – без раздумий и различий. Любое проявление нежности мужчины к мужчине (эта антитеза войне!) стало рассматриваться как нечто однозначно порочное, недопустимое, подлежащее искоренению. Пока не угас в слепнущих глазах Свет на горизонте и Христос не стал символом, как елочный ангелочек, любовь благословлялась в церквях. Среди страданий и гонений, в темные века человечества жил Свет, сияя в этих блаженных союзах, равно как в жизнях мучеников. В боли знали истину. Прошла эпоха подвижничества, и настало время формальности, иногда прорывающейся всполохами слепого фанатизма, называемого религиозным, но имеющего от религии столько же, сколько переплет – от книги. Вот тогда-то, когда отпустила животворящая боль и кончилась истинная вера, среди безверия культовой помпезности и догматизма начались гонения на истину куда более страшные, чем те, что вели язычники против христиан, ибо на сей раз они происходили от

тех, кто притязал на имя христиан.

Христианин – последователь Христа. Но Христос не только ничего не говорил против любви между равными, более того – Сам являл пример любви. Шесть раз в Евангелии от Иоанна повторяется «ученик, которого любил Иисус». Такое уточнение кажется удивительным: разве Он не любил других апостолов или даже все человечество, ради которого принес Себя в жертву? Это определение указывает на то, что Христос любил Иоанна *иначе*, чем других. Его отношение к Иоанну – для многих такая же мистерия, как те загадочные слова, обращенные к Петру: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока Я не приду, что тебе до того?»[9] Пребыл – живым, длящимся свидетельством Любви, ее образом, отблеском Креста.

С креста Он поручает ему Свою мать – таким образом, признавая его Своим братом – не в широком смысле «всеобщего братства», но в том интимном, что являет высшую степень любви. Этим действом в средоточии Своей муки и Своей любви Христос благословил и освятил братство – совершенную любовь между мужчинами. Ее нежность свята – светом Его пылающего сердца, и ее красота – отсвет того *крестного* братства. Тот, кто против этой любви, – против Христа.

«Изгонят вас из синагог; даже наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, ибо не познали ни Отца, ни Меня».[10]

«...и мир возненавидел их, ибо они не от мира, как Я не от мира».[11]

Новые книжники и фарисеи, полагающие себя истинно верующими, ревностно отвращают от храма; не замолкает ненависть мира сего: повторяются гонения, которым

подвергались те первые, увидевшие Свет. Но был с Христом в преодоленной смерти Его брат – как осуществление: любовью была попрана смерть.

Глава XXII

«Бесконечность истории» и прообраз Бытия. – Первое единение.

Лоуренсу, рожденному в двойном грехе и всю жизнь мучившемуся осознанием этого, подвластность человека инстинкту воспроизведения казалась гибельной. Самоуничтожение видел он в *излишествующем* потворстве этому, семя смерти – во мнимом удовольствии, в кровавом рождении – образ могилы. В жизни плоти – смерть духа. И разве он не был прав?

Услаждение животной природы изживает человека. Но гораздо страшнее отсутствие выбора у нового существа, жизнь которому дается зачастую столь опрометчиво. Не быть до рождения – это небытие возможности. Быть после – что? Годы земной бездомности, за которыми – провал в небытие уничтожения или в страх вечности. Человек не имеет выбора: его «вбрасывают» в эту жизнь, делают «подкидышем» сами родители, оставляя на пороге неизвестности. Нет выбора и у всего человечества: оно может лишь длить «дурную бесконечность истории», в крови нося ужас остановки.

Небытие – растворение в одиночестве. Блаженство вечности – проклятие для одного. И только любовью преодолевается страх и духовная гибель. Любовью, исходящей от духа.

Рожденный против своей воли на страдание имеет спасение – в любви. Лишь она – смысловой центр жизни

этой и будущей. Земное существование дается для подготовки к жизни вечной, блаженство которой – в любви. Бесконечное бытие в одиночестве было бы страшнее небытия, ибо оно было бы – с действующим сознанием.

Любовь, дух животворящий, принадлежит вечной жизни, являясь на земле началом ее и в свои ярчайшие мгновения – прообразом.

Интимное действо: для истинно любящих – возможность причастия небесному блаженству, для потворствующих своей плоти – животный акт. Сияющая вечность приоткрывается в момент соединения для одних, дурнота могилы – для других.

Ласки Богом данной любви превозмогают тела, высвобождая души, и те соединяются на мгновение вечности, отражаясь в телах, как Божий замысел – в водах Хаоса. А апогей наслаждения оказывается отображением слияния душ здесь на сияющее мгновение вечности и прообразом их единения в бесконечном бытии. Для любящих нет смерти.

Однажды так соединились и Лоуренс с Дахумом. «Твое тело – наша награда, наша на миг...».[1] Невозможно установить, когда был их первый миг. Может быть, уже в 1911 году, – и, значит, неслучайно Лоуренс перебрался в палатку на холм, вовсе не из-за неудобств жизни в доме... Предполагаемое скорое расставание могло только поспособствовать окончательному сближению влюбленных.

... Темнота оберегала двух счастливых людей, и казалось, что больше не было никого, и мир только начинался, чистый в своей первозданности. Лоуренс, положив голову на грудь Дахума, слушал, как бьется у того сердце – будто с каждым ударом повторяя «люблю», будто с каждым ударом отсчитывая время... Успокоенный Дахум тихо ласкал

своего Томаса, пока сон не овладел им самим, а Лоуренс чуть дольше смотрел во тьму – в неизвестность, где тогда не было никакого страха. Мирные звезды мерцали где-то в бесконечности...

Глава XXIII

Научное разочарование. – Еще одна обязанность Лоуренса. – Его планы.

Первый сезон работ был пробным, и поэтому надлежало исследовать за отведенный срок как можно большую площадь. Хогарт поручил Томпсону копать не подряд, но с промежутками: так можно было скорее наткнуться на нечто важное. К началу июня весь участок раскопок, в семь акров, превратился в подобие сот, но не было найдено ничего, что заслуживало бы внимания. Попадалось множество маленьких терракотовых лошадок: «У нас их сейчас около 200: порядочная конюшня»,[1] – писал Лоуренс. К середине месяца Томпсон прекратил проверку, и внимание сосредоточилось только на трех лучших местах. Все яснее и яснее становилось, что раскопки оказались неудачей.

Однако, работы это не уменьшило, и к тому времени к числу обязанностей Лоуренса добавился выбор рабочих, в чем ему помогало удивительное умение разбираться в людях, едва ли не с первого взгляда определяя их достоинства и недостатки. «Я отбираю очень тщательно, не принимая тех, что важничают или же чересчур вежливы».[2] Задачу усложняли напряженность и запутанность взаимоотношений сельчан: «Нас постоянно беспокоит кровная вражда, так как в одной и той же траншее оказываются люди, что убили родственника других или сбежали с их женами. Те готовы тотчас отплатить той же монетой, и мы

вынуждены вмешиваться посреди криков и отсылать одного из них к другой яме. Нет никакого желания убивать и общественное мнение не настаивает на возмездии, если имеется 50 футов земли между обидчиком и обиженным».[3]

Между рабочими существовало соперничество: те, кто работал киркой, являлись «аристократией», ниже шли работники совком, а те, кто владел ведром, принадлежали к «черни». Каждый день возникали препирания, если кто-то желал возвыситься посредством силы или хитрости. Эти споры тоже должно было улаживать. Кроме того, приходилось исполнять обязанности врачей: лечить укусы скорпионов, ушибы, порезы – все те травмы, которые могли быть получены во время тяжелой работы. Имелись и другие заботы: «В один день мы советуем человеку умеренность в покупке новой жены (он, Сулейман сын Хиссу, хотел дать 12 фунтов за городскую девушку, когда первоклассный сельский объект может быть приобретен за 2 фунта). В другой день освобождаем из тюрьмы человека, который много лет назад украл овцу в Тель-Башаре, или изгоняем из селения армянского торговца табаком, несвободного от подозрений в махинациях с древностями. Почти ежедневно что-то происходит, но при этом все вместе не значит ничего».[4] Несмотря на беспокойства разного рода, впечатление от рабочих было у Лоуренса самым добрым: «Наши люди очень любознательны и очень просты, и к тому же обладают неисчерпаемым запасом прямоты и детского юмора, что прекрасно».[5]

В конце июня была получена телеграмма из Британского Музея с приказом закрыть раскопки. Кроме того, в ней выражалось столь явное разочарование результатами проведенной работы, что на второй сезон почти не оставалось надежды. Едва ли стоит говорить, какой неприятностью оказались эти известия для Лоуренса.

Однако у него имелись планы на этот случай. 18 июня в письме домой он предполагает, что останется в Джераблусе на зиму, а 24-го, по получении досадного известия, пишет: «Я проведу зиму в Джебейле или в одном из селений здесь на равнине. Последнее было бы интереснее и, определенно, удобнее: пустой мраморный зал без очага ничего не прибавляет к нашему собственному теплу. Если я найду здесь кого-нибудь, кто будет учить меня арабскому, то, вероятно, останусь». 12 июля он сообщает домашним, отправляя фотографии рабочих: «Мальчик, который страшно смотрит в сторону, это Дахум – тот, у чьего отца я могу остаться на эту зиму. Мальчик умеет читать и писать, так что был бы лучшим учителем арабского в округе». Несомненно, что Джераблус с самого начала не имел для Лоуренса никакой альтернативы, а желание найти учителя арабского языка в округе происходило не только от стремления углубить знания, но, самое главное, являлось удобным предлогом остаться в Джераблусе, с Дахумом.

В начале июля Лоуренс провел четыре-пять дней на раскопках в Тель-Ахмаре, где ранее были обнаружены хеттские предметы, а затем отправился в путешествие по северной Сирии.

Глава XXIV

Путешествие Лоуренса по северной Сирии в июле 1911 года

Предполагается, что целью этого путешествия являлся сбор материала для продолжения работы над «Crusader Castles». Едва ли: в письме домой от 8 июня 1911 года Лоуренс пишет: «Больше ни слова о той дипломной – пусть себе покрывается благородной пылью». Еще менее веро-

ятна версия о надежде найти новое место для раскопок: он был заинтересован в продолжении работы в Кархемише. Идея этого похода появляется весной, одновременно с возникновением сомнений относительно возможности второго сезона. По всей видимости, тогда она казалась хорошим поводом задержаться в Сирии, теперь же, когда для этого имелся предлог изучения языка, нелегкая прогулка в разгар жары могла стать одним из тех аскетических упражнений, что Лоуренс выполнял для самовоспитания, к тому же это могло несколько ослабить напряжение, вызванное неопределенностью.

Лоуренс вышел из Кархемиша 12 июля, держа путь на Урфу. Днем он остановился на отдых в курдском шатре, где даром получил лебен и ячменный хлеб, а ночь провел в одной гостинице. На следующий день, поднявшись до рассвета, освежился у источника Рас-эль-Аин и отправился «через лакричные поля и пыль» в Леруджж, чувствуя себя довольно болезненно из-за очередного приступа малярии. Там он порасспрашивал о своем фотоаппарате, украденном у него два года назад, но, конечно, найти его было невозможно.

В Урфу он прибыл 15-го, преодолев оставшуюся часть дороги на повозке. Остановившись в гостинице, он днем осмотрел и сфотографировал замок. Вечер был теплым и приятным, с легким ветерком. Лоуренс поужинал рисом и бамией с хлебом и отправился спать. Однако отдохнуть не пришлось: «Полночи бодрствовал из-за дешевого театра в кафе через улицу».

Утром «встал поздно (часов в 6)» и весь день провел в замке, делая снимки и производя замеры. Возвратившись, встретил в гостинице начальника полиции и следователя, которые упрекнули его за одинокие прогулки («Мальчишки могут камень бросить», – предупреждали они) и посоветовали взять заптие. Лоуренс не спорил.

В эту ночь ему опять не удалось как следует отдохнуть: «Спал бы превосходно, если бы не зуб мудрости: поднимал меня два-три раза. Пил шербет из розовых лепестков со льдом, что успокоило его».

16-го Лоуренс поднялся в восемь часов утра. «[Выйдя на улицу], я обнаружил полицию вокруг хана [гостиницы] в ожидании меня. Пошел к замку с одним человечком. Он жаловался на жару, так что я усадил его под аркой, дав ему снега, кувшин воды и табаку, и он был счастлив».

Следующим утром в четыре часа Лоуренс уже был на ногах. Боль в зубе перешла в воспаление, отчего его лицо стало «болезненно перекошенным». В шесть часов он отправился в Харран. Дорога вела по совершенно плоской, влажной равнине, на которой каждые две мили встречались огромные тели – искусственные холмы. В разогретом воздухе играли миражи. Лоуренс попытался сделать снимок одного призрачного озерца, но на пластинке ничего не запечатлелось. «Башня харранского собора была видна в течение четырех часов. Удлиненная миражом, она кивала и качалась самым фантастическим образом, то дрожа сверху донизу, то наклоняясь вправо или влево, то делая реверанс вперед». Свыше трех с половиной тысяч лет назад над этой солнцем налитой землей прозвучал глас Божий: впервые Бог открылся человеку – Аврааму, повелев тому идти в Ханаан, где от него должен был произойти великий народ.

Перед входом в Харран Лоуренс присел отдохнуть полчаса около источника, называвшегося источником Ребекки, – глубокого, с холодной и чистой водою, темневшей внизу каменной лестницы. Неподалеку стояли каменные корыта для верблюдов: «Возможно, те самые, которыми пользовался Илия: такие вещи нескоро изнашиваются», – предположил Лоуренс. Приходившие за водой женщины с любопытством посматривали на незнакомца, некоторые

предлагали ему воды из своих деревянных ведер.

В Харране Лоуренс решил остановиться у шейха. Он нашел его в старом замке, который тот сделал своим жилищем. «Это была огромная каменная многоугольная башня со сводом, с глубокими амбразурами и земляным полом. Там он возлежал с семью-восемью другими, обсуждая потерю ключа. Когда я вошел, он приветствовал меня и послал за коврами и подушками; затем я сел. Он был молодым человеком, лет восемнадцати, с острыми и хищными чертами подвижного лица и с темными вьющимися волосами. Широкоплечий, высокий и, конечно, худой. Он был шейхом только один год, с тех пор как умер его отец.

Мы поговорили о разных предметах (все были изумлены тем, что я так быстро добрался туда из Урфы), и он заставил меня немало напрячься, чтобы ответить по-арабски на его вопросы об английском местном правлении и наших свадебных традициях. Он также интересовался титулом шейха в Англии. Его манеры были превосходны, очень отличны от манер простых людей, так как он не хватал мои вещи, но ждал (жадно), когда я покажу их ему». Затем Лоуренс с шейхом обследовал интерьер замка.

На другой день Лоуренс поднялся, как обычно, на рассвете. Его зубное воспаление усилилось, из-за чего вся щека распухла и стала болезненной, и ощущалась сильная усталость в ногах. С утра он обошел замок снаружи, а потом вернулся к своему хозяину, который «начал оттаивать»: «Назвал меня братом, что является снисхождением для мусульманина. Я увеличил его престиж, держа своего рода прием в его зале утром и отвечая на все вопросы всего местного джентри». Днем Лоуренс снова посетил источник, а вечером опять последовала долгая беседа с шейхом на разнообразные темы, особенно о политике. «Шейх закончил тем, что собрался спать, положив голову на мои колени!»

Между тем, Лоуренс обнаружил, что у него пропала деталь от фотоаппарата. Он попросил шейха послать людей на розыски пропажи, что и было с готовностью исполнено, однако отыскать ее не удалось. Тогда тот отправился на поиски сам и после того, как ничего не нашел в селении, верхом объездил всю округу и через час вернулся с потерянной вещью. Вором оказался некий турок, который совершил кражу, пока Лоуренс отдыхал у источника.

Шейху не хотелось, чтобы Лоуренс уходил... Но утром 19-го, после «очень церемонного прощания», тот отправился дальше.

Как и в предыдущее путешествие по Сирии, Лоуренс почти повсеместно встречал самое радушное гостеприимство. «Во всех селениях меня очень сердечно приглашали остановиться, и в одном, где есть тель и где я спрашивал о печатях,* женщины (бывшие одни в селении) заставили меня войти в дом и отдохнуть. Они задавали мне бесчисленные вопросы и подавали кружки воды для питья и умывания. Через полчаса, когда я собрался уходить, мне дали щедрый кусок хлеба, "потому что было бы позором для их домов, если бы человек ушел с пустыми руками." То были арабы».

Миновав Симболат и Силаверик, Лоуренс дошел до «Килар Касса» – курдских шатров среди остатков римских строений – и провел там ночь «на свежей соломе на полу гумна». Следующим днем, пасмурным и прохладным, он направился в Серудж через унылую равнину, на которой ветер завивал вихри пыли, нередко достигавшие высоты в сотни футов. У Лоуренса после малярии и флюса возникла новая неприятность – натертости на ногах. Путешествие превратилось в наказание – или серьезное испытание.

* Лоуренс искал в селениях древние печати для Музея Эшмола.

В Серудже Лоуренс провел ночь, беспокойную из-за жары и последовавшего затем холода, и ранним утром вновь вышел в путь. Через пять часов он достиг долины Евфрата, а спустя еще несколько часов был в Бирeджике. Там он встретился с несколькими знакомыми арабами, уладил несколько дел и обследовал местный замок. 23-го числа он получил через знакомого известие от Дахума.

Из Бирeджика дорога повела Лоуренса по отрогам в Белкис, где не оказалось ничего интересного для него. На ночь он остановился в одном селении, гнездящемся на склоне узкой долины, «полной струящейся воды и шелеста ветра в деревьях», который напомнил ему созданный Блэйком образ «бесчисленных танцев листвы». «Немало думал о его “Иерусалиме.” Надо попросить, чтобы прислали на зиму». В девять часов вечера, после кофе, хозяева принесли ему великолепное пурпурно-белое одеяло, и он блаженно спал под ним до рассвета.

Когда Лоуренс проснулся, ущелье пронизывала сильная буря, несшая с собой холод. Около пяти часов утра он отправился в Рум-Калаат. Дорога сначала шла через фисташковые рощи на берегу Евфрата, увешанные гроздьями зеленовато-желтых плодов размером с оливки, затем свернула в сторону от реки и около часа вела подобием лестницы в скале до селения Джармесли, где жилища располагались в гротах утеса. Далее следовал подъем в гору и почти тотчас – крутой спуск к берегу напротив Калфати, селения в Месопотамии. Лоуренс прошел песчаной тропой по берегу среди фруктовых деревьев, с которых бледно-зелеными кристаллами свешивались гроздья винограда, и через час, около десяти часов утра, достиг Рум-Калаата, древней крепости. Он обследовал ее и, почувствовав себя утомленным, нашел пещерку и проспал там до двух часов пополудни, после чего продолжил осматривать и фотографировать. В шесть вечера он, чрезвычайно уста-

лый, но довольный, покинул Рум-Калаат. На ночь остановился в небольшом селении. «Спал весьма успешно, однако не так, как прошлой ночью, что была просто забвением. Возможно, и в самом деле лучше спится под пурпурно-белыми шелковыми покрывалами!»

На другой день Лоуренс вернулся к замку Рум-Калаата, а затем, через скалы и долину Евфрата, опять направился в Белкис. «С ногами не очень хорошо, зуб опять слишком большой для моей щеки», – отметил он в дневнике.

На своем пути Лоуренс то и дело встречался с проявлениями небрежного отношения к памятникам старины, что ему как историку и просто культурному человеку было больно видеть. Стены, выдержавшие осаду неприятелей, а затем – не менее жестокий натиск времени, ныне подвергались безжалостному разрушению со стороны тех, для кого прошлое не только не имело ценности, но представлялось идеологически опасным и потому подлежащим полному уничтожению. Так новая власть в страхе воюет с мертвыми и с их следами, устраивая легальные акты вандализма, которые разрушают не только стены, но (что много страшнее) души. Без прошлого нет будущего: так дерево без корней не может жить.

9 августа 1911 года в «Таймс» была опубликована статья Лоуренса, озаглавленная «Вандализм в Верхней Сирии и Месопотамии»:

«Всем, кто наблюдал удивительное продвижение, которое цивилизация делает под властью младотурок, известно об их продолжающихся попытках очистить страну от следов зла прошлого. Однако они могут не знать, что этот дух распространяется в провинциях. Все посетители Алеппо могут видеть большой замок, обозреваемый отовсюду, увенчанный парапетами с бойницами и полный памяти о доисторическом, ассирийском и римском владычестве.

Сейчас эта огромная масса уничтожается и сравнивается с землей, а у одного из известных левантийских финансистов есть проект постройки в этом месте нового квартала для беднейшей части населения по примеру лондонского Ист-Энда. Собственность скоро будет выставлена на аукцион, и есть все основания полагать, что цель будет достигнута.

Город-побратим Урфа (Эдесса) не отстает. Она также предполагает продать свой замок, но, поскольку место из-за своей неприступности бесполезно, камни придется продать как строительный материал. Начало положено сносом стен старого греческого города. Поскольку они были наиболее масштабными, равно как и самыми полными из городских стен в Турецкой Империи, не может быть сомнения, что попытка улучшения увенчается успехом.

Городок Биреджик в той же провинции столкнулся с одной трудностью. Его собственный большой замок сносят, и продолжается постройка тюрьмы. Однако существует второй из этих памятников притеснения, Рум-Калех, в одном дне пути вверх по течению реки, с которым город при его нынешних возможностях не может справиться. Есть надежда, что из-за прокладки Багдадской железной дороги он будет обращен на современные нужды. Если так, это будет второе благо подобного рода, предоставленное железной дорогой, поскольку руины Кархемиша снабжают материалом для постройки доступов к новому железному мосту через Евфрат.*

Каждый отнесется с сочувствием к этим последним и

---

* Неподалеку от Кархемиша немецкие инженеры прокладывали железную дорогу на Багдад, используя на работах жителей Джераблуса. Посягательства немцев на хеттские плиты причиняли немало беспокойства археологам. Еще большую тревогу вызывало то, что линия должна быть пройти через исторически важный участок Кархемиша.

самым достойным попыткам Конституционального правительства немного осветить темные провинции.

Ваш Путешественник»

26-го числа Лоуренс устремился в Низиб. Сначала путь вел его по холмам, затем над потоком, бурлившим родниками, и после – через оливковые сады, виноградники и поля лакрицы. «Сегодня ноги почти в порядке с точки зрения воспалений; нарыв на руке тоже зажил. Это показывает, что имеется еще немало резервных сил. С другой стороны, подъем на правой ноге снова беспокоит. Предполагаю, это никогда не оправится после перелома. Это болит сейчас, утром, и после каждого отдыха, каким бы коротким он ни был». То были последствия перелома, полученного десять лет назад. И с такой ногой Лоуренс прошел пешком тысячу сто миль в 1909 году и сколько уже сделал за время этого похода! Преодоление подобных препятствий есть преодоление собственного жалкого тела – мучительной помехи, даваемой во испытание. «Возможно, все физическое существование является изнуряющей болью для человека...».[1] Утомительная борьба с отягчающим телом – словно попытка высвободиться из его гнетущей тесноты, сбросить его, как неудобные одежды. Каждая маленькая победа над ним кажется мятущейся душе глотком свежего воздуха.

Ночь на 27-е Лоуренс провел в небольшом местечке Нуглури, у местного шейха, «который был бедным, но гостеприимным и обладал некоторыми идеями. Например, он был весьма убедителен, когда говорил, что каждый должен читать. Его ребенок учится этому».

28 июля, в 12.30., Лоуренс добрался до большого источника в долине неподалеку от Джераблуса и пробыл там

до четырех часов, приводя себя в порядок. В шесть часов вечера он вошел в Джераблус, где его радостно встретили, и остановился в доме шейха Мохаммеда Хамуди. «Мне было исключительно удобно в его доме, где горела моя большая лампа и вокруг были мои вещи». Доставляло удовольствие вновь видеть своих знакомых: «Они гораздо более воспитанны, чем другие арабы». Ему передали письмо от Хогарта, в котором говорилось, что второй сезон раскопок не является невозможным. «Это лучшая новость, которую я слышал за все это долгое время».

Весь вечер Лоуренса тревожила головная боль, чему он, счастливый от возвращения, не придал значения.

Глава XXV

Болезнь Лоуренса. – Его внезапное решение. – Отъезд.

29-го июля Лоуренс поднялся на рассвете, полюбовался, как над холмами поднимается солнце, озаряя живыми красками равнину Кархемиша, и отправился к Калаату, собираясь произвести замеры в древнем дворце. «Ходжа [Хамуди] пошел со мной, однако мое дурное настроение последних нескольких дней резко усугубилось, поэтому дальше я шел один».

Вскоре у Лоуренса случился неожиданный приступ дизентерии. Добравшись до Калаата, он нашел уединенное место и пролежал там с восьми часов утра до половины третьего, ощущая крайнюю слабость. «Около трех я привстал и попытался одеться, но тотчас потерял сознание примерно на час, потом – снова, когда сделал вторую попытку. При таких обстоятельствах я побоялся подходить к краю ямы с измерительной лентой, так что не смог рабо-

тать. Около пяти часов я добрался до селения, после очень трудного пути».

Лоуренс продолжал пребывать в доме у Ходжи. Вечером того дня нашел в себе силы написать письмо домой («У меня все очень хорошо») и сделать записи в дневнике: это он будет выполнять каждый день своей болезни. В шесть часов поужинал молоком и марантой. «Грезил, когда был в обмороке, о молоке и содовой!» Спал на крыше.

На следующий день он проснулся с первыми лучами солнца, в шесть часов позавтракал марантой. В десять, когда немного отошел от дома, снова потерял сознание и разбил щеку о камень. Весь день пролежал в доме, с головной болью и три-четыре раза поднимаясь. Приходили посетители, в том числе Дахум.

«Ходжа ужасно добр ко мне все эти дни, проявляет небывалое терпение и уделяет время, как никогда, – записывал Лоуренс 31-го. – Но, бедняга, страшно скучен. К тому же старается изо всех сил, повторяя каждую мысль по пять-шесть раз, чтобы вбить в мою тупую голову, тогда как обычно я понимал его прежде, чем он заговорит».

В тот день Лоуренс также чувствовал себя совершенно разбитым. Вечером съел немного бургуля с молоком. И в этот день, конечно, приходил Дахум.

«[1 августа] поднялся на восходе после прекрасной ночи. Рассвет был великолепен: черные изломанные тени переднего плана, ведущие к серебряной полосе реки, пересеченные нечеткими пятнами ближних тополей, и дальше – холмы: густо-черные у края воды, потом затенены до серого и пурпурного и, наконец, имеют великолепный оранжевый цвет там, где освещены».

Сьев яйцо в молоке, Лоуренс с трудом и со многими остановками добрался до реки и помылся. Вечером снова – бургуль и молоко. Опять приходил Дахум. В этот день Лоуренс чувствовал себя уже лучше.

Неплохо проведя ночь, утром он позавтракал яйцом в молоке и весь день лежал. К вечеру сумел сходить к Калаату – «большой подвиг» – и помыться. Вечером – куриный бульон и бургуль. Дахум продолжал навещать его.

3-го Лоуренс «проснулся на рассвете, после хорошей ночи, чувствуя себя гораздо более живым». Позавтракав куриным бульоном и молоком, принялся собирать вещи, решив вернуться в Англию. Трудно сказать, чем было вызвано столь неожиданное решение – при его желании оставаться в Джераблусе. Возможно, он опасался каких-либо осложнений со здоровьем.

Эта болезнь Лоуренса нередко представляется как «смертельно опасная»: например, его брат Роберт замечает в “Home Letters” относительно письма от 29 июля: «Это письмо было написано, когда он почти умирал от дизентерии». Только с преувеличением можно назвать смертельным подобное течение болезни, позволяющее спать, принимать пищу, самостоятельно передвигаться, и выздоровление от которой наступает столь быстро. При тяжелых случаях дизентерии, когда позывы к испражнению могут повторяться до пятидесяти и более раз в сутки, больной уже через несколько дней не в силах вставать, а на десятый-двенадцатый день может наступить смерть.

Лоуренс много обязан заботам Ходжи, равно как вниманию Дахума, который не мог покинуть его и любил его такого, больного и слабого, может быть, даже еще больше, ибо страдания близкого человека заставляют почувствовать особенно сильно, насколько он дорог.

Утвердившись в своем решении уехать, Лоуренс спросил у Ходжи лошадь, но тот отказал ему и предложил, чтобы он провел несколько дней в доме Дахума. Видимо, Ходжа вполне справедливо полагал, что не стоит предпринимать дальнее путешествие сразу же после болезни. Однако Лоуренс не желал отказываться от своего наме-

рения. Он нашел лошадь и в шесть часов вечера вместе с Дахумом отправился в дорогу. Ходжа проводил его с неохотой.

Сияющая луна освещала начало пути, и пространство, пронизанное ее голубым светом, казалось ирреальным театром теней. Темное посеребренное небо было распахнутым и прозрачным; местами вздымались холмы, мягкие и спокойные в очертаниях; кусты вдоль дороги, черные в своей глубине, выглядели затаившимися. Лоуренса и Дахума окружал ночной мир, лишенный других красок, кроме оттенков серого и синего, с провалами черноты, полный неясной жизни и зыбкий, как картинка от волшебного фонаря.

К девяти часам вечера они достигли Срейсата и на пару часов остановились в гостеприимном шатре, после чего отправились дальше. Луна скрылась, и пространство, завораживавшее до того оттенками струящегося серебряного и тенями – смутными, как давние воспоминания, теперь угасло, превратившись в тревожную пустоту. Копыта лошади цокали по трудной каменистой почве. Один раз Лоуренс с Дахумом сбились с пути в этой слепой темноте.

Перед рассветом они добрались до Евфрата и обнаружили, что паромный причал отрезан притоком Саджур – широким, глубоким и с сильным течением. Дахум переплыл его, чтобы достать лодку и помочь Лоуренсу перебраться. Было 4 августа, пятница: «Эти два дня, четверг и пятница, идут вместе». Лоуренс отмечал в дневнике, что «этим утром чувствовал себя прекрасно. Головокружение и склонность к обморокам почти прошли». Это неудивительно: ведь с ним был Дахум, а присутствие любимого человека животворит. Переплыв на другой берег, Лоуренс попрощался с Дахумом – и с улучшением самочувствия.

В ожидании поезда, он прилег в поле и там до половины двенадцатого то дремал, то читал «Святой Грааль».

После медленной и неудобной езды он прибыл в Мембидж, где с трудом нашел подходящего извозчика до Халеба. Ночевал в гостинице: «Беспокойная ночь».

5-го, поднявшись в три часа утра, он выехал в Халеб, чувствуя себя хуже, чем накануне, и в семь часов вечера был на месте.

На следующий день Лоуренс встал в пять часов и провел утро за написанием писем и чтением, а днем искал на базаре хеттские печати. И утром, и днем самочувствие было скверным. Ночь прошла беспокойно из-за сильной жары и – шума: «Театр как раз около дома, к тому же были две уличные револьверные перестрелки. Алеппо явно не отстает в этом отношении. Полиция всякий раз – с 15-минутным опозданием!»

7-го снова занял утро написанием писем и чтением, а днем продолжил поиски печатей. 8-го вернулись обмороки. «[Спал] чрезвычайно плохо: высокая температура, сильная испарина и бред. Худшая ночь из всех, что бывали».

На другой день Лоуренс собрался в Дамаск. На вокзале его проводил Хадж Вахид, подарив на прощание большой арбуз, что оказался «восхитителен в пути». В десять часов вечера Лоуренс был в Дамаске, а 10-го в час дня выехал в Бейрут, в переполненном поезде, страдая от жара. В Бейрут он приехал к полуночи. На следующий день съездил в Джебейль. 12-го записал: «Чувствовал себя очень усталым и разбитым, но, должно быть, состояние улучшается, поскольку я поднялся на 20 ступеней сразу, не отдыхая». Ночь на 13-е тоже прошла плохо, с жаром и прочими беспокойствами. В одиннадцать часов утра того же дня Лоуренс отбыл на пароходе в Англию.

Глава XXVI

Конец сомнений о будущем раскопок. – Возвращение в Кархемиш.

Может быть, именно мучительная неизвестность касательно продолжения раскопок стала причиной ослабления здоровья Лоуренса и подверженности заболеваниям. Для него всегда была невыносима неопределенность, что подобна пребыванию в скованном состоянии, без возможности ни действовать, ни отдыхать: как некое бессилие. «Возможно, в полной определенности заключается совершенный мир, которого я столько жаждал»,[1] – напишет он позднее, в 1923 году, после иных испытаний.

Врачи не советовали Лоуренсу возвращаться на Восток в ближайшие несколько месяцев, и всю осень ему пришлось провести в Англии. Он снова посещал Лидса в его музее, помогая подбирать экспонаты для готовившейся выставки. В это время он узнал, что важность Кархемиша установлена и анонимный даритель пожертвовал пять тысяч фунтов стерлингов на продолжение работ. Этим дарителем был Уолтер Моррисон, деловой человек и филантроп, неоднократно материально помогавший проведению археологических изысканий. Лоуренс возликовал: «Я на седьмом небе – или где-то поблизости».[2] Впереди распахнулся простор безоблачного счастья – как та умиротворяющая равнина, о безмятежности которой он мечтал в 1908 году.

На Восток он отправился в начале декабря. По решению Хогарта, ему предстояло провести несколько недель в Египте, чтобы под руководством Флиндерса Питри изучить технику раскопок погребений. Но сначала Лоуренс решил посетить Джераблус.

Он добрался морем до Порт-Саида, оттуда 7 декабря –

до Бейрута, затем – ночным поездом до Дамаска и потом также ночным поездом – до Халеба, куда прибыл вечером 12-го. На следующий день он писал семье: «Я чувствую себя чрезвычайно хорошо, намного лучше, чем в Англии». Ему казалось, будто он вернулся домой: «Здесь я в своей собственной арабоязычной стране и сгораю от нетерпения снова увидеть наших людей».[3]

Вечером 14-го декабря он достиг Джераблуса. Издали увидел в холодной прозрачности воздуха знакомые черты селения, и они отозвались в сердце неожиданной радостью – словно и в самом деле вернулся домой.

Бездомен на земле любой, и все мы «странники в долине скорби», а Лоуренс от самого рождения был бездомным странником в прямом смысле слова: переезды в детстве, двухлетняя рутина Каира, «обратный крестовый поход» сквозь пески Аравии, ставший его крестным путем, армейская служба с нежелательными перемещениями и последние недели, отравленные преследованиями прессы, в доме, что мог бы, наконец, стать тихим убежищем. Даже смерть застала его в пути.

А Лоуренс мечтал иметь свой уютный уголок на этой земле. Он умел и любил обустраивать жилище, делая его приятным в скромности, чистоте и вкусе. Только эти жилища всегда были временными: домик в оксфордском саду, покоем которого он наслаждался лишь несколько лет, дом археологов в Кархемише, выстроенный в 1912 году, коттеджик в Клаудз-Хилл… Дом, исполненный спокойствия, и отсутствие какой бы то ни было деятельности против воли: этого он так сильно желал во время войны и это же являлось стремлением всей его жизни. Возможно, именно осада в родительском доме породила эту мечту о мирном пристанище.

Уютен тот дом, в котором нестрашно болеть и умирать… Есть счастливцы, чья жизнь от рождения до смерти

проходит в отчем доме, где сами стены полны теплом и памятью дорогих сердцу людей, каждая вещь кажется неотъемлемой частью целого, «неизбежной на своем месте», и каждый день ступаешь по стопам своих предков... Другим посчастливилось обладать новым жилищем – вместилищем их собственного бытия. А у кого-то, как у Лоуренса, через всю жизнь проходит, как всаженный нож, чувство чужого угла.

Не было пристанища – и не было земли: сердце Лоуренса было не в Англии – на Востоке, в «прекраснейшем из всех мест».[4] «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И уже не в этой жизни оно оказалось, когда то место стало страшно...

Вся жизнь его – путь: пешком, верхом, по морю, по суше, по воздуху. Вся жизнь – Via Crucis. Лишь один раз увидел, словно мираж, огни дома, – и земля из-под ног ушла, когда видение исчезло в опустевшем пространстве его жизни.

У него был свой дом и земля, которую он ощущал почти родной, пока с ним был Дахум – его возлюбленный и брат. Дом там, где есть друг.

Глава XXVII

В Джераблусе. – Спор о кархемишском холме. – «Самое памятное Рождество».

Когда Лоуренс подходил к селению, жители были заняты на стройке у немецких инженеров. Завидев его, они с радостными криками побросали работу и ликующей гурьбой устремились к нему навстречу. «Бедные инженеры выглядели так, словно начался Джихад».[1] Сельчане были чрезвычайно рады видеть Лоуренса: недавно распростра-

нились слухи о том, что он умер в Халебе, и они отправляли посыльного к британскому консулу, чтобы узнать правду.

Лоуренс остановился у Ходжи. Жители не замедлили собраться там и пожаловаться Лоуренсу на «ужасных» немцев, которые «не узнают хеттских надписей, не знают ни одного языка, сами не работают, плавать не умеют и (о Боже, какие свиньи!) едят крабов и черепах».[2] Затем они, по своему обыкновению, перешли на демонов и джиннов. «Ходжа и остальные рассказывали одну историю за другой – каждая страшнее предыдущей, пока все, украдкой поглядывая в темноту за окном, не отказались как один идти домой».[3] Так что все собрание, включая Лоуренса и Дахума, осталось ночевать у шейха. У Лоуренса была «царская куча одеял – все, надо сказать, удивительные».[4] В темноте прижимался к Дахуму, ощущая родное тепло... «Это была одна из моих лучших ночей».[5]

Лоуренс провел в Джераблусе несколько дней. Погода стояла солнечная, с ледяным холодом в ясном воздухе. «Несомненно, эта часть страны великолепна»,[6] – замечал в письме домой блаженствовавший Лоуренс.

В его письмах рассказан лишь быт: бытие некому было рассказывать. Поэтому встреча с Дахумом оказывается в тишине неизвестности – как в том о многом говорящем молчании, когда – грудь к груди – и только стук сердец слышен...

Однако Лоуренс не только наслаждался пребыванием «на своей земле», но и пытался справиться с возникшими трудностями.

Камни Кархемиша, на которые покушались инженеры, рассматривая их как подходящий строительный материал, пока были оставлены в покое благодаря стараниям Хогарта и вмешательству консула из Халеба. Для того же, чтобы обеспечить бо́льшую безопасность, археологи ре-

шили приобрести участок, на котором велись раскопки, но прежде предстояло выяснить, кто является собственником земли. Дело оказалось крайне запутанным, к тому же каймакам изо всех сил старался скрыть истинное положение вещей. Поэтому Лоуренс, взяв с собой Хаджа Вахида и драгомана, отправился в Биреджик, чтобы в правительственных архивах найти ответ на этот вопрос. Ему удалось выяснить, какая часть на самом деле принадлежит археологам, а какая – землевладельцу из Джераблуса по имени Хассан бин Хуссейн эль-Махли (Хассан-Ага), который утверждал, что унаследовал бóльшую часть кархемишского холма. Этим участие Лоуренса ограничивалось: основная работа по разрешению земельной проблемы принадлежала Хогарту.

На обратном пути, дождливым рождественским утром, когда Лоуренс с Хаджем и драгоманом шагали впереди своей повозки, она опрокинулась с небольшого моста в поток. «Возникла страшная суматоха: одна лошадь почти скрылась из виду, вторая запуталась ногой, третья танцевала на двух других, пытаясь выбраться. Извозчик исступленно выкарабкивался возле головы погрузившегося в воды животного. Хадж Вахид на ощупь вытащил из повозки наши ковры, одеяла, пальто, корзины – все насквозь мокрое и в грязи. Минутой позже он поскользнулся на грязи и полетел вниз головой в поток, держа зонтик драгомана. Проделывая это, он потерял свою табакерку».[7] Многие из вещей уплыли, но все же удалось спасти больше, чем ожидалось. Лошади не пострадали, и повозка не была повреждена. Забравшись в нее, мокрую и полную запачканных одеял, путники под проливным дождем ехали до следующего селения. Так прошло «самое памятное Рождество»[8] Лоуренса. 4 января 1912 года он был уже в Каире.

Глава XXVIII

Флиндерс Питри. – Мумии. – Тленное и вечное. – Быт на раскопках. – Находки. – Неосуществленная идея. – Впечатления Лоуренса от раскопок, Египта и египтян. – Мысли о Сирии.

Лоуренс надеялся на раскопки в Гелиополисе, но они были запланированы на март, и поэтому ему предстояло принять участие в работе в Кафр-Аммаре, расположенном на Ниле в сорока милях к югу от Каира.

Раскопки велись под руководством Флиндерса Питри (1853–1942) – выдающегося британского египтолога. Он работал в Египте с 1884 года, преподавал египтологию в Лондонском университете с 1892 по 1933 год, проводил также раскопки в Палестине и являлся автором многих книг – и научных, и популярных. Вот как описывал его Лоуренс: «Ростом он примерно 5 футов 11 дюймов, с белыми волосами, с седой бородой, широкоплечий, деятельный, с голосом оглушительным в минуты волнения и с постоянной лихорадочной поспешностью речи. Он является человеком идей и систем – от правильного способа раскапывать храм до единственного способа чистить зубы. Кроме того, только он один прав во всем: все его подчиненные вынуждены класть в чай его порцию сахара, употреблять его виды варенья и консервированных языков – или же будут уволены как отсталые. Еще он обладает легким характером, полон юмора и переменчив до такой степени, что выглядит восхитительно странным. Он постоянный источник радости и веселья в своем лагере».[1] «Мне он чрезвычайно нравится, но скорее так, как можно думать о соборе или о чем-либо таком, что не может сдвинуть никакая сила, кроме землетрясения».[2]

Сами раскопки отличались его особым духом, и Лоуренс шутливо рассказывал об этом: «Консервированные почки перемешаны с мумиями, а в супе амулеты; моя постель вся полна пыли от доисторических алебастровых кувшинов уникальных типов, а под моими ногами по ночам хранится ящик с хлебом, чтобы туда не забрались

крысы. Десять утр подряд я видел, как восходит солнце, когда завтракал, а возвращались мы с наступлением ночи после ланча на дне 50-футового шурфа, где делали силуэтные наброски керамики или собирали бусины».[3] Тогда как сам Питри вызывал расположение Лоуренса, он невзлюбил его супругу, чьи «батареи консервов»[4] казались ему смехотворными при его монашеских взглядах.

Сама работа повергала его в трепет... «Каждое утро мы выходим около 8 часов, после завтрака, и смотрим за раскопками погребений. Их разрывают около 15 мужчин и 20 мальчиков, отыскивая их среди песка и кремня на краю великой африканской пустыни, где она понижается в равнины вплоть до обрабатываемых земель возле Нила. Они срывают мягкий песок мотыгами (ноги проваливаются в него на каждом шагу) и там, где не нащупывают обветшалого камня на глубине заступа, вынимают почву. Через несколько минут, если они натыкаются на прямоугольник размером 4 фута на 3 фута 6 дюймов, они знают, что находятся над могильным колодцем. Затем копают вниз на глубину от 8 до 15 футов – все в том же мягком песке, наполняющем шурф, – и на дне обнаруживают помещение или два, свободные от обломков до тех пор, пока крыша не рухнет. В этих помещениях свалены в кучу три-четыре мумии в прогнивших гробах, со множеством бусин вдоль них, а также с амулетами и иногда с керамикой. Все это относится к периоду Харка – около 700 лет до Р.Х. – и выглядит не очень красиво, но, однако, подлежит раскопкам. ...

Странно видеть, как люди стараются взломать прямоугольный деревянный гроб, после чего вынимают оттуда раскрашенное антропоморфное вместилище, которое также раскалывают, чтобы извлечь мумию – не великолепную в ярком саване, но темно-коричневую, волокнистую, заметно гнилую, – и затем эта вещь крошится на куски: у нее отрывают голову, обнажают череп... Падают позвонки, ребра и ноги, а итогом может оказаться только один жалкий амулет. Запах и зрелище ужасны».[5]

Прославленный Древний Египет: на поверхности – мистические пирамиды, открытые всевидящему солнцу, а

в темноте, непроницаемой никаким светом, – человеческий тлен. Жалкий костяк в лохмотьях иссохшей плоти – осмеяние людского тщеславия. Множество мумий сокрыты песками времен – до той поры, пока кто-то вновь не явит их свету – в поисках ли истории, в погоне ли за добычей или же с потребительскими целями: в Египте начала XX века ими топили паровозы.

И тысячи лет вздымаются застывшим горем руки плакальщиц на фресках гробниц. Однажды оно ожило. При строительстве Асуанской плотины должен был оказаться затопленным участок, где располагалось древнеегипетское кладбище. По решению египетского правительства останки нескольких фараонов следовало перенести в иное место. Рабочие положили их на носилки и направились вдоль Нила к причалу, где их ожидало небольшое судно. Жители селения на противоположном берегу наблюдали за происходящим. И вдруг раздались звуки погребальных песнопений: женщины, подняв руки и распустив волосы, принялись оплакивать тех, кто умер три тысячи лет назад… Так вздымался трепетный тростник на берегу ничтожной земной жизни, в которой только душа жива, а все видимое таит в себе темноту изничтожения. Солнце и мрак, величие пирамид и прах человеческий, река жизни и песок небытия: картина существования в его основополагающих чертах. На этой земле, многие века спустя после земных божеств, первые христианские отшельники искали встречи с истинным Богом, и сияющая вечность открывалась им под грубой поверхностью жизни.

Для Лоуренса работа в Египте стала столкновением с конечным уничтожением материи, открывавшимся на дне погребальных колодцев. Воочию увидел он ту ничтожность земного существования, осознание которой уже стало зрением его души.

Угнетающая атмосфера могильных шурфов усиливала его и без того страстное стремление поскорее покинуть Египет: «Я буду рад вернуться в Сирию»,[6] – где ждал Дахум, как его бытие.

А над мраком царило умиротворение: туманный солнечный свет исполнял единую картину торжественных

пальм, желто-серого треугольника пирамиды Иллахун, величаво вырисовывавшегося на фоне выцветшего неба, и коричневых парусов лодок, сонно скользивших по Нилу, протекавшему в двух милях от раскопок и видимому с них.

«На наш дом вы посмеялись бы, – писал Лоуренс к своей семье. – Мы проводим дни, нанизывая бусины или копируя рисуночные тексты Книги мертвых, пока комнатка не становится скорее древней, чем современной, и пока не сможешь входить в нее или выходить без того, чтобы не задеть мумии, статуэтки или погребальную утварь. Даже дрова происходят из гробов 24-й династии, а угольная жаровня впервые исполняла свою службу в дни падения Кархемиша. По ночам тушканчики пляшут на мне, и москиты звучат оркестром».[7]

За первую неделю были раскопаны около сотни могил. В них были обнаружены деревянные гробы, остовы кроватей, алебастровые ларцы, кувшины, десятки горшков, некоторое количество слоновой кости (ложки, игральные предметы, остатки шкатулок), много бронзовых орудий (топоры, тесла, стамески) и ткани, в которые были завернуты тела. Найденные мумии покрывали расплавленным парафином, чтобы сохранить их для музеев.

Работа завершалась в пять часов, после чего следовали вечерние занятия – в основном проявление фотографий. Свободное время Лоуренс посвящал чтению: Ордерик Виталис, А. Доде, У. Моррис (перечитал “Richard Yea and Nay” в девятый раз). Его продолжала тревожить малярия: за время пребывания в Египте у него случились два ее приступа.

Лоуренс подмечал методы работы Питри, запоминая то, что могло пригодиться на раскопках в Сирии, однако очень немногое было применимо там: «Техника раскопок так же сильно различается, как выкапываемые предметы и земля, в которой они покоятся».[8] Работа в Египте была для него томительной: «Слишком легкая, слишком однообразная и большей частью представляющая разрывание тел – ни одной десятой доли от радости исследования руин. Я не стану копателем в Египте при таких условиях».[9]

Он обратил внимание на влияние месопотамского ис-

кусства в резьбе, обнаруженной на раскапываемом кладбище, и предположил, что посредником между Месопотамией и Египтом был Бахрейн. Питри согласился с его версией и предложил оплатить испытательные раскопки в Бахрейне. Лоуренс увлекся этой идеей, но она так и не осуществилась для него.

В Египте он пробыл до конца января: «Мистер Хогарт был прав, что не установил больший срок: я не разрыватель тел, а у нас уже есть куча черепов, которая сделала бы честь последователю Чингисхана».[10]

Но не только новая деятельность не пришлась Лоуренсу по душе: «Мне не нравятся ни Египет, ни египтяне – после Кархемиша и его жителей».[11] «Египет не должен сравниваться с Сирией ни на миг. Вы только подумайте: эти – феллахи, а наши – бедуины. То есть – все возможные различия. Эти такие бедные ребята».[12] «Касательно Египта в целом все, что я могу сказать, это то, что он довольно сносное место с милыми красками в воздухе. Страна не имеет той утонченности изгиба, которую находишь в Сирии, или той безграничности пространства, так как все время пребываешь в узкой зеленой долине либо на краю каменистой пустыни. Не удается видеть и то, и другое одновременно. Египетский народ ужасно безобразный, очень грязный, тупой, унылый, лишенный той энергии и уверенной независимости, что присущи нашим людям. Кроме того, заслуживает сожаления фанатизм, распространенный в стране, и обращение с женщинами самое неевропейское. Большинство из рабочих Питри имеют нескольких жен и имели много больше. К тому же нельзя стоять или работать рядом с ними даже нескольких минут без того, чтобы не подцепить блох или вшей. Также нельзя говорить с ними с восхитительной свободной интимностью людей Кархемиша. Они или становятся угрюмыми, или допускают вольности. Они были фанатичными, раздражительными, сквернословящими и льстивыми».[13]

После Египта Лоуренсу с еще большей ясностью казалась родной Сирия – с ее плавными изгибами, словно следом ласковых касаний, неброской зеленью, темнотой

Евфрата, руинами древних эпох, встающими перед глазами, как воспоминания: эта самая прекрасная страна, обликом своим являющая мир – и не ведающая мира... Ее успокаивающие линии, как эхо Божьего гласа, отзываются в сердце и тают в голубом пространстве, оставляя по себе грусть – неясную, как дымка вдали. Лоуренса привлекала богатая в своей простоте красота этой земли, и он, выросший среди ностальгически уютных картин Англии, предпочитал ее им: «Я очень слабо ощущаю нехватку английского пейзажа, – писал он из Кархемиша. – Там слишком много зелени, поэтому никогда не испытываешь от плодородной местности такой радости, как здесь, когда встречаешь колючий кустарник и зеленый чертополох. Здесь учишься умеренности красоты, что удивительно. Англия же толста – тучна».[14] Если лучшие места на земле могут отражать красоту вечных краев, то Сирия – одно из них. Лоуренс это чувствовал, – пока чувствовал рядом Дахума.

Глава XXIX

В Халебе. – Дорога в Кархемиш. – Беспокойные раскопки. – Появление Леонарда Вулли. – Победа над каймакамом. – Добрая слава Лоуренса. – Новая атака каймакама. – Взломщики. – Раритетное жилище.

Покинув Кафр-Аммар, Лоуренс провел примерно неделю в Каире, где побывал четыре раза в мечети Султана Хассана, три – в Арабском музее, два – в библиотеке и один раз посетил базар. В начале февраля он находился уже в Халебе, где встретился с Хаджем Вахидом и продолжил поиски хеттских печатей. К тому времени он установил там связь с тридцатью антикварами. За несколько дней он истратил на древности все деньги и был вынужден сделать заем у британского консула. К тому же он при-

обрел для себя красно-коричневый плащ из верблюжьей шерсти – такой же, как носили шейхи бедуинов, красивый и очень теплый.

22 февраля Лоуренс, оставив в Халебе Хаджа Вахида и извозчика продолжать их сборы, вышел в путь на Кархемиш. К вечеру он достиг селения Баб, расположенного в тридцати милях от Халеба, и остановился в гостинице в ожидании отставших спутников. Они не появлялись, и он лег спать. Через полтора часа его разбудили с известием, что прибыл Хадж Вахид. Извозчик же бесследно исчез в Халебе – вместе с деньгами, и Хаджу пришлось искать другого. Наутро Лоуренс проснулся первым и один направился пешком к Саджуру. «Там я нашел немецкого инженера в повозке, прочно застрявшей посредине потока. Лошади могли только стоять на задних ногах и выглядели глупо, а помощи было неоткуда ждать. Так что я утешал его (с берега), повествуя о своем декабрьском приключении и рассказывая истории других людей, которые оказались смыты внезапными наводнениями или стремительным течением сирийских рек. Затем, примерно через час, появились другие повозки, и посредством второй упряжи он был спасен».[1]

В Джераблус Лоуренс пришел 24-го. Хадж Вахид появился несколько позднее – на сей раз без своего осла, который был украден у него ночью.

На следующий день Лоуренс с двадцатью двумя рабочими приступил к раскопкам. Вскоре показался Хассан-Ага, выражая свои притязания на кархемишскую землю, и он был вынужден удалить его. Затем подоспел лейтенант из местной полиции и с извинениями осведомился, есть ли у Лоуренса разрешение на проведение работ. Оно было, но требовалось удостовериться в Константинополе; и Лоуренсу пришлось согласиться приостановить работу, пока тот удостоверяется. Потом подошел главный инже-

нер за разрешением взять ненужные камни. Лоуренс обрадовался предоставившейся возможности: «Так я надеюсь даром избавиться от всего хлама на вершине холма, что соберется в этом сезоне».[2] Строительство железной дороги в то время стало менее беспокоящим для археологов: они узнали, что линия пройдет, не затрагивая исторического участка. «Это триумф истории и археологии над коммерческой выгодой»,[3] – подытожил Лоуренс.

В экспедиции к этому времени произошли перемены. Томпсон женился в конце первого сезона, а поскольку Британский Музей не допускал его жену сопровождать его, он отказался продолжать раскопки в Кархемише. Вместо него был назначен Чарльз Леонард Вулли (1880-1960), который должен был руководить полевой работой. Лоуренс теперь являлся его ассистентом.

Вулли прибыл в начале марта. Первое, что ему пришлось сделать, – это «объявить войну» каймакаму Биреджика.

Официальное разрешение на проведение раскопок в Кархемише было выдано турецким правительством на имя Хогарта. Хогарт сохранял руководство всем проектом, но практика оказывалась в ведении Вулли. В Константинополе согласились с этими изменениями, однако каймакам Биреджика увидел в них выгодное для себя несоответствие и запретил начинать работы. Вулли не собирался давать взятку, на которую тот рассчитывал, но также не хотел ожидать разрешения вопроса, задерживая тем самым работу. Поэтому он принял решительные меры.

В середине марта он вместе с Лоуренсом появился в кабинете каймакама и заявил, что раскопки начнутся несмотря ни на что, а если кто-то вздумает этому помешать, то он пристрелит дерзновенного на месте. Лоуренс рассказывал в письме домой: «[При этом] Вулли объяснил каймакаму, что он не намерен объявлять войну Турецкой

Империи, но только каймакаму Биреджика, и что он очень сожалеет, что его первой жертвой станет маленький капрал из Джераблуса, поскольку он его по-настоящему уважает. Он предпочел бы, чтобы каймакам сам пришел вести атаку. Каймакам просто сдался и обещал все, что мы желали, а сегодня посетил нас в Джераблусе, чтобы умилостивить. Теперь мы имеем его разрешение на все виды незаконностей. ... Вам понравилось бы наше триумфальное возвращение из Биреджика два дня назад. Люди к тому времени выстроились по нашему приказу вдоль линии городских стен, чтобы отбивать атаку, а когда узнали о нашем успехе, начали с дикими криками возбужденно стрелять в воздух, тогда как степенный Хадж Вахид вытащил из-за пояса мой маузер (он был главнокомандующим во время нашего отсутствия) и сделал десять великолепных выстрелов сквозь крышу кухни (которая должна была быть заштопана на холодную голову, так как это шатер из козьей шерсти). Вся ирония в том, что каймакам как раз приближался со своими извинениями к реке, и его кавалькада встретила возбужденную группу немцев, бросившихся посмотреть на забаву, думая, что атака началась».[4] Решимость нового сотрудника произвела должное впечатление на Лоуренса: «Вулли действительно превосходный человек!»[5]

Вулли на тот момент был уже опытным археологом: прежде он работал в Египте. Сирия оставалась для него пока чужой, ему не были известны ни диалект Джераблуса, ни особенности раскопок в этом месте, поэтому Лоуренсу в первое время приходилось исполнять для него обязанности переводчика, осуществлять сделки и вести счета (поскольку тот не знал местной монетной системы), продолжать выбирать рабочих, знакомить его с находками, а также составлять планы, потому что Вулли не представлял, что можно ожидать от этих раскопок. Спустя не-

которое время Лоуренс сообщал домой: «Вулли делает успехи: нисходит к рабочим, теряет египетское высокомерие и фантазии доминирующей расы; ему нравятся сирийская пища и сладости и (удивительно сказать) – наш диалект! Это весьма трудная часть работы для него».[6]

18 марта раскопки были возобновлены, а вместе с тем началось строительство дома для археологов. Рабочие были теми же, что в прошлом сезоне. «Люди столь же хороши в этом году, как и в прошлом. Великолепные весельчаки. Да здравствуют бедуины!»[7] – восхищался Лоуренс. Только двое из их числа предпочли зарплату в девять пиастров у немцев восьми пиастрам у англичан. Существовало резкое различие между обращением с рабочими у немцев, для которых они являлись только безликой силой, равной лопатам и ломам (отчего не прекращались возмущения), и их положением у археологов. Последнее, конечно, полностью зависело от отношения Лоуренса. В его глазах они были личностями со своими судьбами, радостями и трудностями. Он любил этих простых людей с их почти детским (как казалось со стороны) мировосприятием, открытостью, готовностью ответить на проявление дружественности тем же. К тому же они являлись земляками Дахума. Лоуренсу приходилось поддерживать среди них порядок, улаживая возникавшие споры, но во всем проявлялись его человечность и умение найти подход. Он старался оживить их рутинные будни, полные тяжелой работы: так, например, каждая более или менее ценная находка отмечалась выстрелами в воздух, соответственно ее важности. Он был для этих людей не высокомерным лордом, но умелым руководителем, всегда готовым помочь. Они, в свою очередь, дорожили его расположением, приносившим им немало добра, и платили ему ответной любовью. Одним из ее трогательных проявлений были цветы, которые они дарили ему.

Именно благодаря своей человечности Лоуренс приобрел в округе добрую славу. Стать известным в деревне легко – достаточно просто быть чужаком, и вся округа будет знать о каждом твоем шаге, поскольку жизнь в селе – жизнь открытая. Каждый знаком со всеми как в собственном селении, так и в соседних. Лоуренс оказался своим.

Он знал арабов как таковых и понимал их как людей благодаря своей редкой проницательности, уважал их традиции и не устанавливал своих правил. Говоря его же словами, он не учил, но учился, не возвышал себя, но, напротив, старался приблизиться к арабам (вот наглядный пример его смиренности!).

При всей своей духовной сложности он был прост в общении, и в этом основным условием для него являлось равенство. Не господином он был для своих арабов, но товарищем, любимым и уважаемым. А эти рабочие, оставшиеся для нас безымянными, внесли неоценимый вклад в исследование истории, в буквальном смысле открыв ее – в тяжелой массе камня и земли. Для них те годы, что стали столь счастливыми для Лоуренса, были годами нелегкой работы, добавленной к тем трудам, какими так угнетающе полна сельская жизнь.

В последних числах марта каймакам нашел для атаки новое слабое место. Археологи разрешили инженерам использовать ненужные камни с холма, чем разгневали Хассана-Агу, который притязал теперь на то, чтобы получить плату за бросовый материал и даже нашел свидетелей «преступления». Немцы отказались платить, и каймакам ухватился за удобную возможность для своих козней.

Лоуренс был нелегально вызван в местный религиозный суд и обязан к возмещению ущерба. На предварительном слушании документы археологов, в том числе разрешение к раскопкам, были изъяты, и дело отложено. Продолжение раскопок теперь представлялось противоза-

конным, а решение вопроса могло занять долгое время. Вулли решил не сдаваться и на этот раз.

При следующем появлении в суде они с Лоуренсом затребовали документы. Кади им отказал. Тогда Вулли остался с ним, а Лоуренс направился к каймакаму и указал ему на то, каким неприятным оказалось положение и каймакама, и кади: ведь Лоуренс и Вулли имели при себе пищу (на всякий случай), а те постились. Его слова возымели действие, и бумаги были получены, – тем более, что свидетели со стороны Хассана-Аги отказались давать показания.

Так вместе с каймакамом потерпел положение и Хассан-Ага. «В селении были столь злы на него за подобное обращение с нами, что изгнали его жить в город. ... Теперь с ним покончено. А каймакам, который подстрекал его, получил страшный выговор из Константинополя и сегодня пришел к нам с извинениями, ужасно напуганный».[8] «[Также принес извинения] еще один человечек, которого Вулли пытался убить. Думаю, он извинялся за то, что это не удалось».[9]

Но приключения с участием властей не закончились. «[Утром 16 апреля] был один приятный опыт, когда Вулли согласился на то, чтобы я взломал дверь правительственного склада древностей, где хранились находки прошлого года, и вынес их. Старый комиссар не дал ключ ни нам, ни новому человеку, а по оттоманскому закону мы имели право войти в это помещение, когда пожелаем, – что мы и сделали. Я снял замки – с большой аккуратностью, при этом заптие держал лампу. Это доставило мне удовольствие, потому что я взламывал дверь еще кое-кого [Салема Тумы, владельца лакричной компании]. Наш бедный комиссарчик этого года был страшно поражен и теперь телеграфирует во все главные города Империи. Но это не имеет значения».[10]

К апрелю завершилось строительство экспедиционного дома. Он был выстроен из камня и состоял из одиннадцати помещений. Плоская крыша покоилась на деревянных стропилах, стены изнутри были украшены дамасскими изразцами, камин был сложен по большей части из хеттских цоколей и колонн. Даже посуда была раритетной: «Наши кофейные чашки, сахарницы, суповые тарелки представляют прекраснейшую хеттскую работу и должны будут отправиться в Британский Музей, если переживут сезон в целости и сохранности».[11]

Глава XXX

Дни Лоуренса. – Его выражения счастья. – Наука фотографии. – Итоги второго сезона.

Жизнь Лоуренса в Кархемише была полна разнообразной работы. Но какой блаженной являлась эта занятость по сравнению с той рутиной, что предстояло ему выполнять спустя несколько лет в Каире, и с теми трудами в Аравии, что вытесняли собой жизнь!..

Вот как прошел один из апрельских дней 1912 года. Лоуренс поднялся до рассвета и с двумя «милыми мальчиками»[1] (один из них – наверняка Дахум) приступил к набору в новом доме пола из римской мозаики III века с изображениями птиц, павлинов и газелей, что была найдена в полумиле от места раскопок. Эта работа заняла три часа. В семь часов он позавтракал, после чего поработал с корреспонденцией – частично за Вулли, а затем, взяв с собой рабочих, уже занятых на раскопках, направился в селение, где снова взломал двери помещения Салема Тумы и вынес остававшиеся там прошлогодние находки. Ими занялся Дахум: он сложил их во дворе дома архео-

логов, вымыл и расположил в приблизительном порядке.

До полудня Лоуренс пробыл на раскопках – в частности, собрал обнаруженного базальтового льва в пятнадцать футов длиной. С полудня до часа – отдых, включавший обед, перевязку поранившихся рабочих и перевод приказаний Вулли для смотрителей на оставшийся день. После того до половины пятого он разбирал подготовленные Дахумом предметы, приклеивая ярлыки и складывая их в кладовой нового дома. Потом до четверти шестого он помогал Вулли выдавать зарплату рабочим, а затем отправился посмотреть в долине камень, на котором, как предполагалось, имелись надписи. Вернувшись после заката, он нашел своих мальчиков в ожидании него и снова взялся с ними за составление пола, чем и занимался до восьми часов. После этого он уладил некоторые вопросы, поужинал, сделал записи и в одиннадцать часов лег спать.

Не столь тяжелый день, – если сравнить с трудом рабочих, ворочавших огромные камни и поднимавших массу земли, или же с сельскохозяйственными заботами, выпавшими однажды на долю автора, когда около шестнадцати часов в день бывали заняты почти непрерывно физической работой. А Лоуренс, к тому же, был влюблен и в течение дня мог видеть Дахума – свой источник радости и сил. Они работали рядом на раскопках, вместе выполняли другие дела: что может быть трудным с любимым, если одна мысль о нем способна оживить?

Даже, когда утра были заняты сбором пола, Лоуренс находил час, чтобы позаниматься с Дахумом арабским языком. Он собирался привезти своего «учителя» на месяц в Англию по завершении сезона – «для разговорных целей».[2] Изучение языка оставалось удобным предлогом для того, чтобы не разлучаться с другом. Однако уже в мае он отказался от идеи поездки – оттого, что Дахум отказался сопровождать его. Причиной являлось, должно

быть, состояние его здоровья: он страдал хронической малярией – и с более тяжелыми приступами, чем у Лоуренса. «У него был особенно безнадежный случай», и никогда он «не бывал подолгу свободен от беспокойства в виде жара и головной боли».[3] В том году Лоуренс занялся его лечением, и с августа малярия отступила.

В апреле Лоуренс снова переселился на холм. Там он посвящал некоторое время и чтению: Acta sanctorum, Данте, Россетти... «“The Roots of Mountains” [У. Моррис] так же хороши, как всегда, – отмечал он. – Мало книг я прочитаю 6 раз, – если только они не будут содержать в себе немного больше, чем прозу».[4]

В мае приехал Хогарт на шесть дней. Может быть, именно в тот раз Лоуренс решил встретить его по-особому. Он украсил его комнату в новом доме розовыми лентами и красивыми безделушками, а над всем этим великолепием распылил самые милые девичьи духи, – одним словом, сделал все, чтобы достопочтенный Хогарт «почувствовал себя, как дома»... Лоуренс не рассказал эту историю даже Лидсу – единственному, кто получал от него шутливые письма, полные юмора и забавных моментов. Она известна из воспоминаний Вулли – как и то, что Лоуренс дразнил его, привязав к шесту его палатки жестяную вертушку, чтобы она загадочно стрекотала в темноте. В Кархемише Лоуренс был переполнен счастьем от любви к Дахуму. Преизбыток чувства требовал выхода, – и живая сущность выражала себя подобным причудливым образом.

А само счастье скрыто за скупыми строками его писем – единственных источников, относящихся ко времени Кархемиша, – скрыто, как свет за облаками. О Дахуме он упоминает редко – и то лишь как о «мальчике-рабочем», «интересной личности», помощнике. У него не было столь близкого человека, которому он мог бы поверить большее.

Их нерассказанное бытие осталось под коркой повседневности.

В июне Лоуренс начал обучать Дахума фотографии. «Вы не представляете, как трудно вселить в его голову элементарные понятия об оптике на несовершенном арабском. Он ведь положит негативы не той стороной вверх! Как бы то ни было, все это маленькие беспокойства, способствующие моему совершенствованию в арабском. Я надеюсь, что буду бегло говорить к Рождеству – хотя все еще неправильно».[5] И в следующем письме: «Пишу в нашей темной комнате, в то время как Дахум проявляет (предполагаю, меняет негативы!)».[6] Неприятностью являлось то, что от жары таяла поверхность фотобумаги, стирая все очертания изображений. Для Лоуренса это было, наверное, единственной причиной досадовать на жару, которую он переносил всегда столь легко: «43° С в тени, но все-таки очень комфортно»,[7] – писал он в те дни.

В начале июня второй сезон раскопок был завершен, но еще некоторое время велись работы на хеттском кладбище в пяти милях от Кархемиша. В этом году наиболее частыми находками стали фрагменты скульптур (около восьмисот), попадавшиеся у подножия лестницы, с которой начались раскопки. Их следовало фотографировать, копировать надписи (а также снимать их отпечатки), и собирать разбитые части вместе. Кладовая, имевшая в длину сорок футов, стала подобна фантастической каменоломне, где на обломках нарождались грубые в очертаниях части тел людей и животных. Кроме того, был обнаружен форт Саргона и большой выбитый проход от реки с огромными изображениями львов.

Раскопки в Кархемише предполагалось завершить не ранее, чем в 1914 году. В 1914-м завершилось все...

Глава XXXI

Новый Авессалом. – Просьба к Лоуренсу. – Сельская слава Лоуренса и ее причины. – Блаженство свободы. – Борьба со смертью.

В начале третьей декады июня Лоуренс проводил Вулли, который уезжал в Англию, и на обратном пути ненадолго остановился в Халебе, где сделал покупки для себя и для знакомых из Джераблуса. В числе приобретений была пенька, предназначавшаяся для упаковки лепнины. Он оставил ее на нижнем этаже в консульстве, а сам направился наверх. Вскоре «более чем озадаченный»[1] драгоман отправил к нему человека, чтобы выяснить, что это такое. Лоуренс ответил, что это, наверное, волосы, которые он только что подстриг, и, если оно выглядит похоже, пусть будет отправлено наверх. «И наверх оно было доставлено в свое время – вместе со штабом канцелярии, пришедшим полюбоваться на еще более великого Авессалома».[2] Тюк весил двадцать восемь фунтов и был больше осла.

В те дни к Лоуренсу подошел армянский священник, желавший узнать, не выступит ли тот в Биреджике в пользу его Церкви? Незадолго до того Лоуренс и Вулли помогли одному человеку из Биреджика, который и посоветовал их как возможных благодетелей. Лоуренс поспособствовал, как мог: встретился с соответствующими властями, которые согласились уладить дело священника.

Лоуренс с его готовностью прийти на помощь был подходящим защитником, причем нейтральным – в стране, полной национальных, конфессиональных и прочих различий и возникавших оттого разногласий, равно как и советчиком при разрешении всевозможных вопросов.

С подобным отношением местного населения в областях, что более или менее удалены от цивилизации, встре-

чались и другие европейцы. Так, Ида Пфайффер рассказывает в описании своих путешествий, что в Бразилии индейцы, равно как и португальцы, жившие в затерянных среди лесов селениях, с надеждой обращались к ней за помощью, ожидая от нее, например, исцеления. При этом страждущим и их родственникам даже не были известны ни ее имя, ни ее история, – для них это не имело значения. Достаточно было того, что она – «знающая» чужеземка, располагавшая к себе своей дружественностью.

Постоянное пребывание Лоуренса среди местных жителей и действительная помощь, которую он оказывал, все больше упрочняли его положение. Его поддержка быстро становилась известной (в сельской местности молва распространяется с поразительной скоростью) и приносила ему добрую славу помощника, а вместе с тем и новые заботы. Для постороннего же наблюдателя важность Лоуренса казалась поистине удивительной.

В один из тех дней Лоуренс бродил по улицам Халеба, когда к нему присоединился некий англичанин, который счел его подходящим спутником для прогулки. Лоуренс провел его по базару и вскоре заметил, что мысли того чем-то заняты. Он спросил, в чем дело, и услышал в ответ, что его соотечественник удивлен тому, что Лоуренса приветствуют почти на каждом шагу. «И как только он сказал об этом, появился один из дервишей и спросил: “Не ехали ли Вы со мной в поезде в прошлом году?” А погонщик мулов и извозчик хором прокричали: “Салаамат, эффенди!” И сестра Хаджа Вахида, проходя мимо, спросила меня о здоровье его жены».[3] Необычайной подобная известность может показаться только человеку, живущему в крупном городе, где круг знакомств не распространяется, как правило, дальше соседей и сослуживцев. В небольших городках ареалы связей намного шире, а если человек имеет знакомых еще и в прилегающей сельской местности, для

которых этот город является районным центром, тогда прогулка по улице становится чередой встреч. В Джераблусе Лоуренс стал известен уже за счет того, что был приезжим – к чужим в селе приковано внимание, – а позднее добавилась его слава доброго человека. В Халебе же он часто искал древности для Музея, посещал консульство, часто останавливался в гостинице: это создало ему и там круг знакомств, к которому добавились джераблусские связи. Он постепенно вошел в жизнь района, приспособился к ее ритмам и стал *почти* своим. А его дружественность и отзывчивость только укрепляли его положение в новой социальной нише. Удивление того англичанина – это удивление жителя крупного города, где человек растворяется в однородной, вечно спешащей толпе.

Самого Лоуренса, также жителя большого города, новые отношения несколько изумляли. Он с восхищением описывает мир, который обрел в Джераблусе: «Скажешь: “Я не хочу разговаривать,” – и наступает тишина, пока сам не нарушишь ее, или: “Я хочу побыть один,” – и двадцать человек удаляются из поля зрения и располагаются так, чтобы даже ни удод, ни муравей не зашумели и не нарушили твоего покоя».[4] Его приняли и полюбили, однако он стал *почти* своим. В этом «почти» – постоянная память о том, что он отличен от них – образован и умел, а это не только хорошо само по себе, но и приносит пользу. Его добрым товарищам не хотелось терять его расположение и помощь, равно как не хотелось обижать того, кто делает все, чтобы им помочь, выступая и врачом, и судьей, и советчиком. Отношение к Лоуренсу в Джераблусе было подобно отношению к хорошему земскому врачу или справедливому мировому судье. Этим нельзя было гордиться – это можно было только ценить.

По возвращении в Кархемиш Лоуренс оказался совершенно свободен, оставшись один среди арабов. Все прина-

длежало ему: и солнцем опаленные холмы, и темный Евфрат, и весь голубой простор его счастья. Пространство казалось почти нереальным – как радостный сон, задержанный на ресницах солнечным утром. Лишь рядом с природой, вдали от громоздкого урбанистического механизма, можно испытать это чувство свободы, подобное полету, и ощутить движение бытия.

Источником счастья был Дахум. Лоуренс первым делом переселил его в дом археологов. Их жизнь осталась сокрытой за дверями, но легко вообразить близость, полную радости, и ощущение покоя и защищенности. Эти немногие дни стали осуществлением мечты Лоуренса об уютном уголке и безопасности рядом с любимым.

В последних числах июня он завершил копирование надписей с найденных хеттских плит и собирался совершить поход на несколько дней в Урфу и Серудж, чтобы осмотреть недавно обнаруженные там камни с надписями.

Пользуясь свободным временем, он основал полушуточную школу с классом, где средний возраст учеников составлял семнадцать лет, и преподавал им местную историю и географию. В последнем предмете особенно трудным для понимания было то, почему люди не падают с земли, если она круглая? Веселые уроки еще и подслащивались кусками сахара: «Мы закончили две большие коробки»,[5] – писал Лоуренс. Однако игру пришлось прекратить...

Сначала у Лоуренса снова явился двухдневный приступ малярии. Затем со злокачественной малярией слег Дахум. Три дня он пребывал в буйном бреду, и Лоуренс однажды был вынужден полночи удерживать его в постели. Жуткими были для него эти ночи, когда недавняя радость рассеялась, оставив только мучительный след, и подступила темнота, как слезы от страха потерять своего друга. Эта форма болезни очень опасна: повторение паро-

ксизма с бредом, жаром и неистовством часто оканчивается смертью.

Лоуренс удерживал Дахума в кровати, борясь с ним в его метаниях и встречая этот страшный невидящий взгляд. Совсем недавно он боролся с ним, играя и наслаждаясь ощущением его гибкого тела, а Дахум поддавался ему – и уже лежал под ним, лукаво сияя черными глазами: нередко, должно быть, такая борьба оказывалась прелюдией к близости... Теперь же Дахум в беспамятстве метался в постели, и в почти смертном борении соединились его мука и страх Лоуренса. Год назад Дахум боялся за него, а ныне ему пришлось испытать этот ужас от возможности потерять – ужас, который он видел в черноте расширенных зрачков – глубокой, как мрак отсутствующего мира за окном. Лампа из-под потолка озаряла комнату воспаленным светом, и густые тени таились по углам, будто проникнув из мертвого мира... «Только живи!» – билось, как кровь в висках, отгоняя все мысли, когда пытался усмирить это сильное тело, жар которого был близостью потери. Страшна только смерть другого.

Утром 21 июля Лоуренс, проснувшись, увидел, что Дахум пытается подмести комнату. Страх миновал, как ночь.

Глава XXXII

Каср Ибн Вардани. – Богатство простоты. – На побережье мечтаний. – Открывшийся тлен.

В начале августа Лоуренс взял Дахума в путешествие, надеясь, что перемена места и отдых принесут ему пользу.

Один из эпизодов этой поездки он описал в небольшом рассказе «Каср Ибн Вардани». Полагаю, что читателю

будет много интереснее слово самого Лоуренса, чем мой пересказ, и поэтому привожу эту работу полностью: «Между Алеппо и Хаматом поезд тянется через однообразие земель, кажущихся на первый взгляд бесплодными, но, тем не менее, скрывающими в своих лощинах селения из мазанок и черные шатры арабов-кочевников, что издали выглядят лишь как более крупные стада их верблюдов. Каприз железнодорожной компании разбросал станции тут и там. На самой уединенной из них мы сошли, чтобы избежать холерного карантина как раз ниже на пути. На платформе были обычные люди: начальник станции со своим человеком и два араба – старик и мальчик, пришедшие посмотреть на поезд с терпеливой заинтересованностью, свойственной их народу. Старик был закутан в черный шерстяной плащ, чтобы защититься от солнца, и из него виднелись только седая борода и темные искрящиеся глаза. Мальчик щеголял своим веселым обликом перед незнакомыми пассажирами: широкие локоны на лбу, туника, хорошо названная "семь царей," и шелковое головное покрывало с серебром, сотканное в Хамате. Их лошади были привязаны за платформой.

Когда поезд ушел, оставив нас, старик вместо обычного приветствия сказал почти нетерпеливо: "Вы приехали посмотреть дворец Ибн-Вардани." Мы ответили с любопытством: "С Вашего позволения," – и тотчас его мальчик что-то радостно выпалил. Дахум быстро окинул его взглядом, сказав в сторону: "Этот из тех, которые всегда знают, что было и что будет," – и затем мне: "У него две лошади. Дорога займет пять часов; я и его мальчик пойдем пешком. Цена будет приемлемой для тебя." И мы направились на восток по медленно колыхавшимся волнам жесткой, выжженной травы.

Долгое время мы ехали молча, и каждый раз, когда мы поднимались на возвышенность, мой взгляд искал почву,

но не находил ничего, кроме бесформенных, лишенных цвета впадин с добавлением немногих красных узлов базальта, выходивших из поросших чертополохом склонов. В трех-четырех местах, где виднелась бледная зелень, базальт лежал линиями и кучами, и там старик позаботился показать мне “надписанные камни” – скучные, но красиво вырезанные византийские посвящения четвертого века. Один раз мальчики позвали меня к трехкамерной скальной могиле, посвященной Теодоре Бицца: с обрывками ткани, белыми костями и небольшим числом бедных ламп, помеченных крестами, еще хранящих вокруг глиняных горлышек копоть из глубины пятнадцати веков. “Я интересуюсь не этим,” – сказал я с разочарованием нашему старому гиду, но он только кивнул головой, в веселой усмешке показывая белые зубы. “Нет, – ответил он, – вы пришли посмотреть залы Ибн Вардани,” – и остановился на следующем подъеме, чтобы несколько раз вдохнуть легкий свежий ветер, веявший нам в лицо, а потом с уверенностью произнес: “Мы сейчас недалеко от этого места.”

Спустя полчаса мы увидели долину с более яркой зеленью, в которой находились низкие коричневые руины толстых стен. “Надо же, – сказал я, – это из кирпича, но как сладок здесь воздух.” Глаза Калиля сузились от смеха: “Разве я не знал этого полчаса назад? После дождя это ощущается на расстоянии дня пути.” И мы вошли внутрь через арку, кирпичи которой были беспорядочно нагромождены поверх оснований пилястр. Затем в разговор вступил мальчик, сказав: “Это жасминный двор,” – и, когда я остановился, чтобы вдохнуть этот воздух и осмотреть пустоту двора, то ощутил мягкий всепроникающий аромат, словно от слегка увядших цветов жасмина. Старый араб отвел наших лошадей в стойла в тени южной стены, а мы с его мальчиком поднялись по разрушенному лестничному пролету, ведущему в комнату роз. “Здесь, – про-

изнес мальчик, – была основная часть гарема, остальное уничтожено.” И довольно легко поверх развалившихся земляных стен с их почти исчезнувшим запахом роз, мы могли проследить в траве квадратные очертания жилищ женщин. Парнишка повернул направо и повел нас чередой комнат. Стены некоторых из них почти сравнялись с землей, в других сохранились остатки кирпичных аркад и рассыпающиеся своды, но во всех из них присутствовали странные, неопределенные ароматы – воспоминания о мирте, олеандре, мускусе, корице и серой амбре. Наконец, мы вошли в большой зал, стены которого, пронизанные множеством узких окон, до сих пор стояли более чем в половину прежней высоты. “Это, – произнес мальчик, – залив тишины: здесь нет никакого запаха.” И воистину было так, как он сказал. Смешанные ароматы всего дворца соединялись здесь, чтобы заглушить друг друга, и все, что можно было почувствовать, являлось пустынной остротой воздуха, прошедшего над огромными незагрязненными равнинами. “Между собой, – промолвил Дахум, – мы называем эту комнату сладчайшей из всех,” – и тем самым полусознательно выразил идеал арабов, которые на протяжении поколений избавлялись от всех украшений, создавая проповедь простоты. А тайна этого места? Старый Калиль рассказал нам той ночью у своего костра, что Ибн Вардани был подобен царю среди арабов, и кирпичи его дворца были замешаны не на простой воде, но на тех драгоценных маслах и эссенциях цветов, которые старые арабские аптекари умели столь хорошо составлять. “Он построил это как дом удовольствий для своей невесты, которую взял из детей Рума.” И я знаю лишь то, что в руинах не было ничего несоответствовавшего его словам».[1]

Как этот воздух, несший острую память о пространствах древней земли, так же чист был и дух этих людей, живших среди песков, камня и радостей зелени и воды –

людей, которые в простоте своей жизни владели истинным богатством. Там, где жизнь сопряжена с постоянными трудностями и опасностями, роскошество не подчинит ее: оно – опухоль изнеженного городского существования, при котором простые вещи легко теряют свою ценность, и пресыщение ищет большего, а в действительности – только тщету. «Общей основой всех семитских убеждений – победивших или проигравших – была постоянно присутствующая мысль о ничтожности мира»,[2] – была, как эхо от мертвых скал, окружавших бытие, где звучал голос ясного родника. Ибо все золото мира, которого так алкают слепцы, не утолит душу, и никакая роскошь не сравнится с великолепием природы – будь то пальмовая роща или простые цветы чертополоха, вобравшие в себя цвет знойного неба.

Пример духовной чистоты, представленный Дахумом словно от лица всех арабов, Лоуренс приводит в «Семи столпах мудрости», единственный раз упоминая там имя своего возлюбленного – в повторении рассказа 1912 года: «Наконец, Дахум потянул меня: “Пойдем понюхаем сладчайший из всех ароматов,” – и мы направились в главное помещение, к зияющим оконным проемам его восточной стороны, и там пили лишенный усилий, пустой, ровный ветер пустыни, волновавшийся мимо. Это медленное дыхание было рождено где-то за далеким Евфратом и длило свой путь сквозь многие дни и ночи мертвой травы до первого препятствия, созданного руками человека, – стен нашего разрушенного дворца. Вокруг них оно, казалось, терлось и медлило, бормоча, как ребенок. “Это, – было сказано мне, – самое лучшее: оно не имеет никакого вкуса.” Мои арабы отвернулись от благовоний и роскошеств, чтобы избрать вещи, к которым человечество непричастно».[3]

Арабы пустыни обходились немногим – тем, что было

необходимо для жизни, суровость которой научила их довольствоваться основным и радоваться малому, что на самом деле велико: как капля росы, отражающая в себе целый мир. Они были едины с природой, и вмешательство человека в нее нарушало эту связь и предлагало только ложное. Они понимали то, что мы столь мучительно осознаем в продымленном механизме своих городов: бесценность природной чистоты. Только они понимали это с другой стороны – с неоскверненной древней земли, родины авраамических религий и их первых подвижников.

Эта чистота ценилась не только сама по себе: «Бедуин пустыни, рожденный и выросший в ней, всей своей душой воспринимал эту обнаженность, слишком суровую для добровольцев, по причине ощущаемой, но невыраженной: он находил себя там несомненно свободным. Он терял материальные узы, удобства, все излишества и другие усложнения, чтобы приобрести личную свободу, в которую вторгались голод и смерть. Он не видел достоинства в самой бедности: он наслаждался маленькими пороками и роскошествами – кофе, свежая вода, женщины, – которые он смог еще сохранить. В своей жизни он имел воздух и ветер, солнце и свет, открытые пространства и огромную пустоту. Нет никакого человеческого усилия, никакого плодородия в той Природе: только небеса вверху и незапятнанная земля внизу. Там он бессознательно приближался к Богу. Бог был для него не человекоподобным, не осязаемым, не моральным или этическим, не связанным с миром или с ним самим, не природным... но всеобъемлющим Существом, центром всей активности, а природа и материя – зеркалом, отражающим Его».[4]

Сама жизнь поместила этих арабов в условия, которые сознательно избирали монахи всех религий: материальная скудость и жесткость, среди которой возможно почувствовать Бога. Поэтому неслучайно, что именно пустыни

стали родиной христианского монашества, жаждавшего объятий Творца, недостижимых в загроможденном мире цивилизации.

«Бедуин не искал Бога в себе: он был слишком уверен, что он – в Боге».[5] Пространства, дышавшие свежим ветром с холмов или душным веянием раскаленных под солнцем скал, казалось, были Его движением, зелень – Его благословением и яростное солнце – проклятием: человек терялся в воле Всевышнего, был полностью подчинен ей. «Это легко ощущалось, как влияние, и те, кто шли в пустыню достаточно надолго, чтобы забыть ее открытые пространства и пустоту, были неизбежно приведены к Богу, как к единственному убежищу и ритму жизни».[6] Бог как *ритм жизни*: тяжесть и страдания нужны, чтобы ощутить эту пульсацию Бытия.

Она проницала все: «Он [бедуин] не мог вообразить ничего, что было бы или не было бы Богом; Он один был велик. Есть простота, повседневность этого арабского климатического Бога, Который был их пищей, сражением, страстью, самой обыкновенной из их мыслей, их знакомым источником и сотоварищем...»[7] Бог есть жизнь; и для бедуинов Он воистину был жизнью.

И едва ли стоит сомневаться, что те, кто ясно осознавал этот ритм, как биение сурового, но любящего сердца, для кого это сознание было необходимым основополагающим убеждением, могли бы обратиться к ложным удовольствиям мира. Лишь без убеждения, без внутреннего стержня личности, «они бы могли быть увлечены на все четыре стороны света (но не на небеса), если бы им показали богатства земли и ее удовольствия»,[8] – увлечены, как любой бесхребетный человек.

Дахум выразил простое (и верное) мировосприятие своего народа – выразил, как все то лучшее, что унаследовал от него и благодаря чему стал для Лоуренса идеалом

араба, который он некогда создал в своих мечтах по очертаниям, воспринятым из книг. Именно эти его простота и чистота привлекали Лоуренса, для которого они являлись правилом существования. И вместе с Дахумом он пил сладостный в своей беспримесности ветер, столкнувшийся в свободных странствиях с руинами человеческой суеты.

Наши путешественники прибыли в Джебейль и остановились в Американской миссии, представ перед мисс Холмс: сияющий загорелый Лоуренс в одеянии сирийских арабов и его юный спутник с точеными чертами лица и полной достоинства осанкой. Лоуренс неудержимо и самозабвенно гордился Дахумом и, так как для него вся прелесть бытия сосредотачивалась в очаровании любимого, ему хотелось, чтобы и другие смотрели на того восхищенными глазами. В его облике он улавливал воплощенное эхо из глубины веков, он видел в нем идеал араба и верил, что в его жилах текла памятью вечности еще и хеттская кровь: Дахум был для него явленной поэзией своей древней земли с ее солнцем, простором и чистотой...

После этого посещения Лоуренс перестал писать мисс Холмс: вероятно, она оказалась слепа к красоте Дахума, равно как и не смогла оценить его речь, что являлась для нее лишь иным диалектом, отличным от того, к которому она сама привыкла и которому, соответственно, отдавала предпочтение. «Не знаю, что мисс Холмс подумала о Дахуме, – писал Лоуренс домой по возвращении в Кархемиш. – Она не могла должным образом понять его арабский, но я более чем когда-либо был поражен красотой этого языка в сравнении с тем ужасным шумом, который производят жители Бейрута, – мисс Холмс, конечно, хуже многих, так как она любит грубые гортанные звуки и губные консонанты. В произношении населения Джебей-

ля это один из самых некрасивых языков в мире, в то время как язык Джераблуса подобен греческому грудного тембра, греческому без 4 “э.” Как бы то ни было, я считаю возможным, что вы услышите этот язык этой зимой – и пока не услышите, не будете заинтересованы в нем».[9] Это была сладостная речь возлюбленного, к тому же воспринятая слухом чужестранца, способным различать форму языка – то, что сложно для привычного уха, – и осознавать ее красоту. Конечно, здесь Лоуренс был пристрастен: арабский язык Дахума приобретал в его восприятии нечто от притягательного облика мальчика и ассоциировался с ним. И так же, как он любил душу и тело Дахума, он любил его язык – выражение его души. То был язык их любви, ночного жаркого шепота и утренней радости, восторга встречи и тоски разлуки. Он с благодарностью учил его из уст Дахума – так же, как с замиранием принимал поцелуи, соединялся с ним в пространстве слова, – и родным теплом веяло от чужой речи.

Лучшим местом на земле был для него Кархемиш и лучшим из языков – его диалект арабского, поскольку то был мир Дахума. Жизнь длится у родного плеча, а без друга мертва земля и горек, как сиротский хлеб, отчий язык, когда некому слова сказать.

В Джебейле зной был сильнее, чем в Джераблусе, но днем его несколько остужал приятный морской бриз, а по ночам – дыхание с гор, окружавших город. Лоуренс и Дахум купались в том море, которое Лоуренс впервые увидел четыре года назад и с восторгом ощутил тогда манящую близость легендарных земель, чьи отголоски достигали его легким шепотом вод у жесткого песка, на котором он сидел, а в сиянии морской синевы волновались легкие очертания сирийских далей, словно плавное движение его мечты...

Теперь этот лазурный простор увидел Дахум – с того

побережья, к которому некогда так стремился Лоуренс, словно к груди любимого. Они лежали на берегу мечтаний, и Бытие дышало неподалеку, как море. Нежность Лоуренса прослеживала линии стройного мальчишеского тела, в котором будто воистину отражалась душа – чистая, как свет Вечности, которой она причастна. Губы соприкасались в той жажде единения, что кажется ничем неутолимой на земле. Голубые глаза встречались с черными – словно небо смотрело в глубины вод, как в первый день творения, и Дух Божий был с любящими – любовью.

Лоуренс с Дахумом исследовали окрестности, хранившие остатки многих эпох – финикийской, римской, крестовых походов. Им удалось обнаружить финикийское погребение: лежавший на спине скелет в большой пятифутовой урне, без какой-либо погребальной утвари – лишь несколько бесформенных камней (единственный дар провожающих-бедняков?) лежало рядом с ним. Во время своих раскопок они также отыскали кремневые топоры и ножи, а кроме того – немало керамики, принадлежавшей к разным периодам.

В последних числах августа за городом обвалился в море утес, и из обнажения рухнул на берег беломраморный саркофаг. Это было греко-финикийское захоронение. Длина саркофага составляла восемь футов, а на крышке находилось изображение человеческого лица с греческими чертами. Обследовав погребение, Лоуренс с Дахумом взобрались в открывшийся грот и обнаружили там несколько красно-белых кувшинов, две чаши и множество разнообразных фрагментов. Так в эти ясные дни прорывались образы конца, напоминавшие о тлене, сокрытом под бездумной поверхностью жизни, и – о рабочих буднях Лоуренса и Дахума.

Кроме этих изысканий, они помогали местным жителям в уборке урожая. Лоуренс не забывал и о чтении:

книги сопровождали его всегда и повсюду.

В один несчастный вечер Лоуренс каким-то образом сломал два нижних ребра. Произошедшее он воспринял со своей обычной выдержкой. Перелом «неважных ребер» вызвал местную скованность на две недели, одно из ребер срослось вкривь, но этого было «недостаточно, чтобы жаловаться». Малярия ни у него, ни у Дахума не повторялась.

В Джебейле они провели три с половиной недели и в начале сентября вернулись в Кархемиш.

Глава XXXIII

Эпидемии. – Новые атаки немцев. – Занятия Лоуренса в ожидании нового сезона раскопок. – Связь с Востоком. – Братство.

Между тем, в Джераблусе и в его округе бушевала оспа. Еще до своего отъезда Лоуренс позаботился о том, чтобы все дети в селении были привиты, взрослые же почти все когда-то перенесли это заболевание. Вернувшись, Лоуренс узнал, что из нескольких десятков детей, слегших одновременно, не только никто не умер, но даже лица остались чистыми от оспенных меток. Из взрослых смерть унесла двоих. В округе же потери были велики.

А в Халебе тем летом была вспышка холеры, что сильно встревожило Лоуренса: передвижения населения в город и обратно были часты. По его рассчетам, в худшем случае из двухсот жителей Джераблуса могла заболеть половина. Смертность от холеры была очень высока: так, в Халебе от повторявшихся вспышек умирали девяностодевяносто пять процентов от числа заболевших. 26 июня Лоуренс писал к знакомому врачу в Оксфорд, спрашивая совета и, по возможности, медикаментов и вакцину. Не

могу сказать, каким был ответ, но, по возвращении из Джебейля Лоуренс узнал, что от холеры умерли трое из его рабочих и немало из тех, что работали на строительстве железной дороги. В самом Халебе эпидемия к тому времени пошла на спад.

Пока Лоуренс отсутствовал, немцы возобновили свои покушения на кархемишские плиты (участок еще не был приобретен археологами), и главный инженер хвастался, что Лоуренс бессилен этому помешать. Однако их удалось остановить, и «селение возликовало от поражения (как они считают) главного инженера».[1] Гнев на него был столь силен, что жители пытались его застрелить.

В ожидании Вулли и начала раскопок Лоуренс фотографировал, вырезал скульптурки, купался в Евфрате и обустраивал дом – в частности, продолжал укладывать мозаичный пол. Почти всю работу, связанную с поднятием мозаики с ее прежнего места выполняли Дахум и Ходжа, используя инструменты, изобретенные Лоуренсом и выкованные в Халебе.

На камне над дверями дома, ведущими в столовую, появилось хеттское изображение солнечного диска с полумесяцем и распростертыми крыльями. То была работа Лоуренса, выполненная при помощи отвертки и ножа – за неимением резца. «Этим чрезвычайно восхищалась моя предпоследняя группа тевтонцев, сочтя настоящей древностью».[2]

В конце сентября Лоуренс с Дахумом и Ходжой выехали в Халеб, куда 29-го числа прибыл Вулли. Три дня прошли в поисках древностей. Осенью 1912 года Лоуренс начал получать зарплату, и поскольку его потребности в пище, одежде и прочем были более чем умеренны, получаемые деньги он тратил на покупку древностей для Музея Эшмола, причем не указывая, что они фактически были его даром.

Лоуренсу также было предложено место научного работника в Оксфорде, но он отказался без колебаний: «Не думаю, чтобы кто-нибудь, познавший Восток, как я, бросил его на полпути ради места за кафедрой и кресла в Бодлеанской Библиотеке. Во всяком случае, я не брошу».[3] Восток стал для Лоуренса его удовлетворенным желанием. Сельская жизнь среди простых, добросердечных людей; приятный для него климат и аскетическая красота природы; очарование древности, которым обладала эта страна – сокровищница истории; и глубокое, как голубой простор, чувство свободы от механической жизни цивилизации и ложных условностей – все это соответствовало его духу и стремлениям. В сопоставлении с Сирией и ее жителями для него угасли даже прошлые впечатления от красот и памятников Франции: «Сомневаюсь, что когда-нибудь буду снова путешествовать на Западе... Здешние места стоят миллиона остальных. Арабы так непохожи на нас».[4] Он познал Восток, как вкус холодной воды в душный день мировой усталости, и уже не мог от него отказаться. Но, самое главное, он обрел друга, которому открылся и нашел отклик.

Лоуренс увидел в Дахуме себя. Только однажды может произойти это чудо собственного осуществления, перехода из небытия одиночества в бытие братства. Никого никогда не было у него ближе Дахума. Необразованный арабский мальчик стал единственным, кто понял и принял его сполна – и так естественно и просто, словно молча за руку взял в тяжелую минуту. Он стал ответом на его внутренний зов – на тоскующее стремление к равному.

Равенство в миросозерцании и образе жизни – вот что является основой и дружбы, и любви. Лоуренс обладал удивительной духовной чистотой и такую же первозданную чистоту нашел в Дахуме, который не был осквернен цивилизацией зла с ее гибельной жаждой роскошества и

был подобен ясному утру, обещавшему лучезарный день. Благодаря своим духовным способностям, живому уму и стремлению к знанию он мог стать равен Лоуренсу умственно. Лоуренс в то время уже был сложившейся личностью, Дахум – возможностью, как раскрывающийся бутон, которому необходимы только свет и тепло.

Дахум был открыт для всего доброго и хорошего, он чувствовал мир в его внутренней красоте – чувствовал тот самый пульс бытия, что осознавал Лоуренс и ради которого освободил себя от той порабощающей тщеты, которой полна, как хламом, поверхность мира. Они были едины в мироощущении, как и в простоте своей жизни.

Своеобразным символом их единения был обмен одеждой, по арабской традиции. В одеянии другого можно было чувствовать себя словно в его объятиях, ощущать его теплоту и близость и, отчасти принимая его облик, становиться с ним одним существом.

В 1911 году Лоуренс писал, что Дахум «учится пользоваться своим разумом так же хорошо, как и интуицией». Эта безошибочная интуиция нередко бывает сильно развита в «малых», ненаученных, которым «явлена истина». Это дар понимания напрямую – без посредничества приобретенных знаний: всей открытой душой – вслушивание в другого. Способностью вчувствоваться обладал и Лоуренс, умевший не только почти сразу дать оценку человеку, но и понять чужую радость или боль, как собственные. Неизбежна была полнота их взаимопонимания – соприкосновение душ.

«Люди не являются друзьями до тех пор, пока они не скажут все, что могут сказать, и не будут способны сидеть вместе, за работой или на отдыхе, часами без слов»,[5] – такой была мера близости для Лоуренса – единственно верная мера. Они с Дахумом сказали друг другу все, что могло было быть переведено на слова, и слова стали лиш-

ними, как разделяющий барьер, и наступила тишина понимания – безмолвие совершенной любви.

Они были братьями – «по узам любви». Братство – самая прочная из всех связей, любовью Иисуса к Иоанну освященная – освещенная светом небесным, и «брат» – самое святое из всех слов. Произнести его в обращении – значит, сбыться, осуществившись в другом.

«Мой любимый, мой брат»,[6] – годы спустя шептал Лоуренс, неотрывно глядя на фотографию Дахума, заглядывая в его счастливые глаза, что из бесконечности бесконечно смотрели в него, всевидящие, и боялся отвести взгляд и точно обрезаться о нестерпимую остроту одиночества. «Брат!» – Лоуренс к Дахуму, англичанин к арабу, христианин к мусульманину, человек к человеку обращается по этому нежнейшему и вернейшему из всех имен. Так сказать – словно веру исповедать: все мы – дети единого Бога, в братстве – жизнь, и целый мир – в тишайшем слове.

В этом родстве Лоуренса и Дахума – удивительная красота и высота их любви, созидающей, животворящей и снимающей все различия, как исполненная человечность. На высоте истинной любви они равны, и во всепонимающем молчании братьев слышится иная блаженная Тишина.

Молчания единства у Лоуренса больше не было ни с кем. Все его «высоколобые» знакомства последующих лет проходили только по касательной, садня едва зажившую рану потери. Они смотрели – не видя, слушали – не слыша: не поняли – не узнали. Лишь отчасти могли познать, кто-то – одну грань, кто-то – другую, но полностью объять этот многогранный «кристалл» никто из них не был способен. Дахум в своей простоте понял его сложность, другие в собственной сложности не смогли охватить.

«Друга можно найти лишь до двадцати пяти лет, по-

том корка черствеет», – сказал однажды Лоуренс. Складывается личность, твердеют «грани», исчезает та сплавляемость, которая позволяет душам срастаться. И чем глубже личность, тем глубже одиночество.

Лоуренс был бесприютной душой среди людей из плоти и крови, живший словно уже в вечности – при жизни. Чувство отчуждения длилось до конца в том безвыходном одиночестве, которым стало его существование после войны. «Мой любимый, мой брат!.. После тебя не может быть никого другого»[7]...

Глава XXXIV

Чествование археологов в Кархемише. – Новый сезон работ. – Первая Балканская война. – Занятия Лоуренса. – В темнице. – Недолгая разлука.

В начале октября Лоуренс, Дахум, Ходжа и Вулли вернулись в Кархемиш. «Люди разожгли огромный костер на вершине цитадели и сделали в тот вечер около 300 выстрелов в нашу честь. Это стало величайшим шумом, когда-либо раздававшимся в Джераблусе со времен разгрома Навуходоносором фараона Нехао в 614 году, и все это было видно и слышно в Биреджике и Тель-Ахмаре и вглубь страны примерно на восемнадцать миль. Немцы были весьма встревожены этим, поскольку арабы пытались убить одного из них около двух недель назад, а шейх 4000 курдов из Басдже за два дня до того предложил правительству Биреджика стереть с лица земли поселение строителей железной дороги. Он оговаривал как особое условие то, что английские копатели должны быть оставлены в покое!.. В отблесках огня Калаат был великолепен, а Евфрат стал извивающейся рекой жидкого золота».[1]

Вскоре начались раскопки. В этом сезоне на работу были взяты двести человек, среди них – многие из тех, что работали у немецких инженеров. Ими управляли три смотрителя, в том числе Дахум. «Бодрость и хорошее настроение людей несравнимы. Было забавно видеть сегодня, когда работа подошла к концу, как две группы из ста человек мчались по каменистой земле, чтобы увидеть, кто первый положит свои инструменты на склад».[2] Раскопки продолжались в том месте, где два сезона назад было открыто хеттское строение. В ходе них были обнаружены два дверных косяка из черного базальта с длинными и хорошо сохранившимися хеттскими надписями. Это оказалось ценной находкой.

В то время на Балканах началась война. Противостояние в 1911 году Италии и Оттоманской империи за владение Триполитанией и Додеканесскими островами привело к итальянской оккупации последних, что вдохновило Балканские государства – Сербию, Грецию, Черногорию и Болгарию – на создание в течение весны и лета 1912 года Лиги для борьбы с турецким игом. В конце сентября были мобилизованы армии как Лиги, так и Оттоманской империи. 8 октября войну Турции объявила Черногория, 17 октября – остальные три государства. Оттоманская империя оказалась в затруднительном положении. Ее армия была ослаблена вследствие революции младотурок в 1908 году и последовавшей в 1909 году контрреволюции, к тому же часть лучших батальонов была направлена в Йемен на подавление вспыхнувшего там мятежа. Из всего 26-миллионного населения в европейской части Империи проживали 6,1 миллиона, из них мусульмане составляли только 2,3 миллиона, остальные были христианами, которые рассматривались как негодные для призыва. Империя планировала провести основной призыв в Сирии – и регулярных войск, и резервистов.

Так оказались призванными рабочие со строительства станции и моста через Евфрат, что совершенно расстроило работу по прокладке железной дороги. Угроза нависла и над проведением раскопок. «Поэтому мы пошли на риск, – писал Лоуренс, – и запретили полиции и солдатам ступать к Калаату и предложили наш дом как временное убежище для беглецов среди наших людей».[3] Дом археологов как своего рода английский «анклав» был неприкосновенен для турецкой полиции. Таким образом, потери в рабочей силе были предотвращены.

В конце октября Лоуренс снова был занят усовершенствованием дома. Он выравнивал мозаику пола, строил дымоходы, укреплял крышу, занимался отделкой камина. Шла постройка складского помещения, двух конюшен и большого хранилища для древностей. «Конечно, мы и архитекторы, и главные каменщики: нельзя пожаловаться на однообразие наших занятий!»[4] Все строение состояло уже из шестнадцати помещений.

«Погода стала идеальной: холодно по вечерам (когда мы сидим на коврах из Бухары, расстеленных на мозаичном полу перед огнем, что горит в окружении камня и медной решетки, и читаем прекрасные книги, – почти каждая хорошая книга приветствуется); жарко в полдень, когда мы идем купаться с веселой компанией, и всегда дует свежий ветер. Вся местность одного цвета, коричневого с темно-бордовым оттенком, но изысканно красива».[5] В начале ноября к дому подобрались волки. Были наняты два охотника, но отстрелять зверей так и не удалось.

Поздней осенью Лоуренс с Дахумом отправились в Калфати, к северу от Бираджика, чтобы осмотреть статую женщины, сидящей на спинах двух львов, которая могла иметь хеттское происхождение. Лоуренс был в арабском одеянии и вместе с Дахумом привлек внимание полиции, принявшей их за дезертиров из турецкой армии, посколь-

ку в том районе не было странствующих арабов. Они были арестованы и брошены в шумную и грязную темницу, представлявшую собой простую яму. При падении Лоуренс повредил себе бок, а Дахум получил сильное растяжение связок на ноге. В заключении они провели всю ночь, и в их бессонном воображении рисовались неприятные картины принудительной службы в турецкой армии. Однако наутро Лоуренсу удалось подкупить охрану и выйти на свободу.

Балканский кризис усиливался, в Халебе почта и телеграф прекращали работу, в порт Бейрута не заходили никакие суда, кроме французских военных кораблей. При таких обстоятельствах Британский Музей отозвал предназначенную для проведения раскопок сумму, и в середине ноября работы были остановлены. Этот сезон оказался разочаровывающим: фактически была сделана только расчистка для следующего и найдено, кроме упомянутых косяков, весьма незначительное количество предметов: керамика, несколько цилиндрических печатей, немного бронзовых изделий.

Лоуренс собирался привезти Дахума в Англию в конце года, но из-за денежных трудностей это оказалось невозможным, и в декабре он уехал один. «Я ... приеду домой самым быстрым путем, – сообщал он перед отъездом, – возможно, через Бриндизи, если будут пароходы, и проведу в Англии немного дней, – возможно, пару недель в Оксфорде и три-четыре дня в Лондоне, где мы должны сделать оттиски надписей в Брит. Музее. Затем – снова сюда и так быстро, как только возможно».[6] Это была его третья разлука с Дахумом. Любящие, даже когда во сне случайно отстраняются друг от друга, тотчас льнут обратно, ощутив холод разделения. Лоуренс расставался с Дахумом на недели и многие мили и неудержимо стремился обратно к родному теплу, как к источнику своей жизни.

Он провел в Англии три недели и в начале третьей декады января 1913 года снова был в Кархемише.

Глава XXXV

Поездка в Александретту. – Кладбище в Деве-Хюйюк. – Февральские занятия. – Явления из прошлого. – Посетители. – Старания Лоуренса. – Хадад. – Раскопки у селения Юнус и завершение IV сезона. – Неосуществленный план. – Покой. – Последний посетитель сезона и состязание в стрельбе.

В Александретте с июня у британского консула оставались шестнадцать ящиков с древностями, которые должны были быть отправлены в Англию, и он просил Лоуренса приехать за ними. 24 января, как только Лоуренс вернулся в Джераблус, он взял Дахума и отправился в путь, который лежал через Халеб и Бейрут. «[В Халебе были] сугробы, и лед, и град, и слякоть, и дождь – весьма по сезону», – писал Лоуренс родителям 2 февраля в гостиничном номере, где рядом был Дахум – и любовь, и теплота, и нежность, и ласка. Они провели там больше недели из-за того, что железнодорожная линия на Бейрут была занесена снегом.

Из Халеба они выехали в снежную бурю, а в Бейруте их встретило сияющее солнце. Парохода на Александретту в ближайшие три дня не ожидалось, и Лоуренс направился к консулу, который предоставил ему места на крейсер «Герцог Эдинбургский». «[Крейсер] был быстрым, удобным, большим и довольно интересным ... [и] произвел сильное впечатление на Дахума, а он – на каждого, кто был на борту. Все предлагали ему остаться с ними навсегда, показали ему весь корабль и угостили его. Его замечания о том, что он видел, были очень забавными, иногда

приводящими в сильное замешательство – меня, потому что я должен был переводить. Для нас стреляли из больших орудий, включали прожектора, проводили учения, маршировали и показывали различные упражнения».[1] Прибыв в Александретту, команда крейсера направила к берегу лодки, в которые были погружены ящики с древностями. Они были доставлены на борт другого судна, направлявшегося в Бейрут, откуда груз должен был быть отправлен в Англию.

Лоуренс и Дахум посетили местный базар, где приобрели задешево увиденный Дахумом старинный сундучок из черного дерева с инкрустацией из слоновой кости. Позднее Лоуренс писал: «Мы наполнили его мелкими вещичками, в которых постоянно нуждаемся и не хотим, чтобы они пачкались. И нам требуется вечность, чтобы открыть все ящички и найти эти вещички. Определенно, это ошибка – иметь 30-дюймовый сундучок примерно с дюжиной ящичков всех форм и размеров и, кроме того, у некоторых двойное дно, а внизу небольшие отделения для денег».[2]

В конце первой декады февраля они добрались на маленьком почтовом пароходе «Tewfikieh» до Триполи и оттуда – поездом за одиннадцать часов до Халеба. На пути в Кархемиш они остановились у Саджура, чтобы посетить селение Деве-Хюйюк (в двадцати милях от Джераблуса), где местные жители наткнулись на крупное хеттское кладбище, на котором также находились римские шахтные захоронения. Лоуренс узнал о нем от одного черкеса и однажды отправлял туда Дахума на разведку. На кладбище велись «черные» раскопки с целью найти ценности, которые можно было бы сбыть антикварам. Хеттские могилы были полны больших бронзовых копий, топоров и мечей, которые эти копатели повредили и отбросили, потому что они не пользовались спросом. Лоуренс добыл

там ряд предметов для Музея – бронзовые чаши, фибулы, бусины, керамику... В конце февраля он писал Хогарту: «Завтра я вернусь туда, чтобы собрать, как я надеюсь, хеттское бронзовое оружие в ножнах, – если полиция не окажется там первой. Это волнующие раскопки: погружение в шахту ночью, разбивание каменной двери и торопливое сгребание всех предметов в мешок при свете лампы».[3]

Пока в Кархемише еще не были начаты раскопки, Лоуренс занимался приведением в порядок дома, который он нашел в довольно плачевном состоянии из-за протекавшей крыши. Он восстанавливал стены, белил, покрывал крышу брезентом, – стараясь сделать три широких полотнища из одной банки дегтя и трех банок смолы. В свободные минуты развлекался стрельбой по цели: «Попал из карабина Манлихера-Шнауэра 4 раза из 5 в 6-галлоновую канистру с расстояния в 400 ярдов... Это очень хорошо».[4] Лоуренс умел стрелять с великолепной меткостью: таков был результат его упражнений с револьвером, которые он выполнял еще в Оксфорде. В то время они иногда становились забавой. Так, однажды он палил из окна Колледжа, чтобы удивить прохожих и своих товарищей. В другой раз постреливал в своем саду, чтобы подразнить соседа, которого невзлюбил.

Лоуренсу было доставлено из Англии канадское моторное каноэ. В начале марта он начал обучать Дахума и Ходжу управляться с ним. «Каноэ является причиной нескончаемого изумления как в селениях, так и среди немцев, которые никогда прежде не видели ничего подобного».[5]

4 марта начались раскопки, на которых, как и в прошлый сезон, трудились двести человек. Лоуренс работал над южными воротами – хеттской и римской постройки, Вулли расчищал хеттский храм (или дворец) у главной лестницы. Дахум исполнял обязанности фотографа: «Он

очень хорошо работает в этом году с фотографией»,[6] – отмечал Лоуренс. Выходным днем была пятница. «Вы сожалеете, что мы соблюдаем пятницу, – писал Лоуренс домой, – но разве было бы тактично заставлять 200 рабочих пропускать свой день ради нас двоих?».[7]

Хеттский слой бывал скрыт под цементом римского времени, который взрывали при помощи динамита. Из находок наиболее частыми являлись скульптуры, письменные памятники встречались реже. Лоуренсу удалось собрать одну длинную надпись из примерно четырех тысяч частей.

Кирки и лопаты освобождали из земли мифический мир: так, в апреле были явлены свету около пятнадцати плит с рельефами, стоявшие вдоль дороги, что вела к главной лестнице. На них были изображены погонщик верблюдов, крылатые человекообразные монстры, атакующие крылатых коней, два четырехкрылые демона, шагающие солдаты, лев, нападающий на быка и газель... Застывшие в своей каменной вечности обломки исчезнувшей цивилизации вновь возвращались в этот мир.

Раскопки посещали разнообразные заинтересованные личности – выдающиеся англичане или иностранцы и люди с рекомендациями. Археологам приходилось показывать им раскопки, что было чрезвычайно скучным занятием, немало нарушавшим распорядок дня. Первая группа появлялась около десяти часов утра, вторая – часов в пятнадцать.

Внимание Лоуренса и Вулли продолжало оставаться прикованным к кладези Деве-Хюйюка, где вслед за первым кладбищем было открыто второе, содержавшее кремационные урны, в которых среди обожженных костей находились печати. К началу апреля в Деве-Хюйюк удалось собрать около дюжины ящиков керамики, бронзовых чаш, фибул, бус, копий. Вулли желал передать находки

Британскому Музею, к которому был весьма лоялен, тогда как Лоуренс твердо стоял за Музей Эшмола и, чтобы нарушить планы Вулли, отправил Лидсу ящик печатей, рассчитывая вскоре выслать все остальное, – с поручением немедленно занести находки в Каталог. Но, в конечном итоге, найденные древности были разделены между несколькими музеями, включая кембриджский, берлинский и музей ливерпульского университета.

В мае из земли было извлечен рельеф, изображавший гигантское лицо. «Оно было отвратительно: надутые губы со шрамом, пересекающим верхнюю, отсутствующий нос (осталось только место) и глаза, как у трески. Волосы в косе. Мы назвали это Хадад,* – и были отомщены: Вулли спал случайно одну ночь во дворе возле него и трижды просыпался от кошмаров».[8]

Из небытия продолжали появляться древние воины: рельефы с их изображениями, равно как и с иными, были богатым открытием этого сезона. «Мы сделали отливку одного из них и собираемся покрасить его волосы в коричневый цвет, а губы в красный и подарить ему многоцветный плащ – такой, как носят наши арабы. Затем мы поставим его в нашу гостиную и будем отдыхать, смотреть на него и радоваться».[9]

К концу мая раскопки на холме были завершены, и Вулли начал работу на кладбище к северу от Кархемишского холма, около селения Юнус. Целью было найти предметы, по которым можно было бы датировать периоды постройки зданий Кархемиша. Кладбище представляло собой собрание кремационных урн. На нем встречалось множество раскрашенной керамики – хеттской и хеттсковавилонской, медные броши и фибулы, бронзовые чаши,

* Ханаанейский бог бури.

скарабеи, печати и золотые предметы. Кроме того, там находились могилы греческого типа, содержавшие раскрашенную керамику, кремневые ножи и множество других предметов; а также были странные круги, выложенные из небольших камней.

В последние дни раскопок была обнаружена печь эпохи неолита для обжига гончарных изделий. Участок был разделен на квадраты, так как грунт почти полностью состоял из керамики. Лоуренс и Вулли отмывали и сортировали фрагменты, а Дахум прикреплял ярлыки к наиболее хорошо сохранившимся из них согласно их местонахождению в квадратах. Несколько горшков были собраны, остальные части (около одиннадцати тысяч) отправили в Музей Эшмола для дальнейшего осмотра и сбора.

Турецкое правительство предлагало Лоуренсу провести раскопки в Ракке, на Евфрате, где некогда производилась арабская глазурованная утварь. Он увлекся этим предложением, поскольку в качестве вознаграждения ему была обещана часть находок, что могла бы стать коллекцией редкого и красивого материала для Музея. Однако правительство не смогло найти достаточные средства для проведения работ, и идея не была осуществлена.

В середине июня все раскопки в Кархемише были завершены, и основным делом стала фотография погребальной утвари и разбор и каталогизация керамики. Лоуренсу в этом помогал Дахум.

14 июня Вулли вернулся в Англию, и у Лоуренса возникло, «как результат, чувство совершеннейшего покоя».[10] Он снова остался хозяином в доме, все труды были позади, и можно было наслаждаться отдыхом. Стояла обычная для тех мест сухая и жаркая погода, которая не доставляла ему, пожалуй, ничего, кроме удовольствия: «В комнате, без стекол в окнах и с обрызганным водой полом, 41° С. И это лишь приятное, здоровое тепло».[11] Ком-

нату украшали цветы: «Повсюду маргаритки. Мы смогли достать их только с острова на середине реки, и они стоят в воде лишь три-четыре дня. Мы обычно плавали на каноэ дважды в неделю, чтобы привезти несколько охапок».[12]

Лоуренс собирался посетить 17 или 18 июня Абу-Галгал, к югу от Кархемиша, чтобы провести там осмотр хеттских памятников, однако его планы были нарушены. «Прибыл заблудший английский консул, направлявшийся в Диярбакыр. Личность пустая, но намеревающаяся быть приятной, и очень материальная. Он отправился плавать кролем в Евфрате, нырнул с немецкого моста – к ужасу М. Хофмана, который думал, что это самоубийство, – и сделал много странных вещей за четыре дня своего пребывания здесь».[13] Посетитель тоже оказался любителем стрельбы, и они с Лоуренсом устроили своего рода состязание. При стрельбе с пятисот ярдов по ящику у Лоуренса было пять попаданий из пяти из карабина Манлихера, а у консула пять из десяти из маузера; а с тысячи двухсот ярдов (максимальная дистанция Лоуренса) по мишени в квадратный метр у Лоуренса – три попадания из десяти, а у его соперника – четыре из пятнадцати. Лучшим достижением Лоуренса являлось пять попаданий из семи из кольта по монете с расстояния в двадцать пять ярдов.

Это было его последнее лето в Кархемише. Ему оставалось жить там ровно год.

Глава XXXVI

Поездка Дахума и Ходжи в Англию: Впечатление Оксфорда. – Отблески грез. – Арабы в Музее Эшмола. – Апогей восхищения. – Впечатления гостей.

В июле 1913 года Лоуренс привез Дахума и Ходжу в Оксфорд. Для них это оказалось незнакомым и странным миром, столь отличным от привычной им обстановки. Оксфорд тоже был впечатлен. Арабы научились управляться с дамскими велосипедами и с радостными криками гоняли взад и вперед по Вудсток Роуд в подоткнутых, но все равно надувавшихся одеяниях, задерживая движение в самой оживленной части города.

Лоуренс поселил гостей в своем домике в саду. Удивительно было ему видеть их в средоточии своей прежней уединенной жизни, где когда-то отсветы очага скользили по зеленым стенам, как явления из открытой книги, пока не угасали в синих предрассветных сумерках, и только рубиновые угли пожарищем маленького мира напоминали о недавнем волнении другого бытия. Теперь здесь находились его арабы, словно его осуществленные грезы. Прошлое – недавнее, но представлявшееся таким отдаленным, – и живость настоящего соприкоснулись, придавая друг другу оттенок странности, почти нереальности. От близости Дахума, уже ставшего родным, знакомая до последней мелочи обстановка выглядела иной, будто увиденная чужими глазами, равно как и сам Дахум столь необычно смотрелся в ней – оживший радостный отсвет давних мечтаний, при котором было невозможно вообразить темноту.

А она подступала все ближе безысходной ночью мира. Апогей безмятежного счастья предшествовал нестерпимой боли. История Лоуренса изумляет своим сходством с

хорошо продуманной постановкой. Осажденное детство и такая же юность, однако озаренная радостью книг, путешествий и первой любви, что сменилось счастьем свободы, любимого дела и полной духовной близости, а потом – обрыв: боль, усилие, темнота, и долгим эхом из провала – послесмертье. «Думаю, все это дано мне в наказание за мое прежнее счастье», – написал Лоуренс после войны. Не в наказание – во испытание: перед бесконечным счастьем иного бытия, лишь отсветами которого является любая истинная радость на земле.

Дахум и Ходжа несколько раз сопровождали Лоуренса в Музей Эшмола, где помогали распаковывать ящики с древностями, доставленные из Кархемиша. «Образ Дахума еще живо стоит перед моими глазами, – вспоминал Лидс в 1938 году. – В живописных, чистых одеяниях в красную, черную и белую полоску, он казался слишком нарядным и прекрасным для какой-либо черной работы. Благородная фигура, склонявшаяся, когда Хамуди поднимал большой упаковочный ящик (2,5 кубических фута и более), чтобы тот прочно установил его на своей спине. Я знал способности китайцев поднимать тяжести, но они всегда использовали веревки и одну либо несколько бамбуковых палок. Это же было совсем иной картиной – видеть, как Дахум в одиночку управляется с ящиком, когда обычно по меньшей мере три сотрудника Музея призывались на помощь. Когда Дахума посылали в мой кабинет для измерений и тому подобного, нашими единственными способами общения были lingua franca здравого смысла и жестикуляция, которые никогда не подводили».[1]

Нетрудно представить, как гордился Лоуренс удивительной силой Дахума, удачно сочетавшейся с его пленительной красотой, и какое получал удовольствие, видя впечатление, производимое его мальчиком на знакомых. А впечатление было сильным: Чарльз Фрэнсис Бэлл из

Эшмола заказал Фрэнсису Додду* портрет Дахума.

Художественная сессия состоялась 12 августа. Лоуренс присутствовал на ней и в тот же день написал Бэллу, который тогда находился во Флоренции: «Додд появился, улыбаясь, утром и приступил к работе, как паровая машина, – к работе в черно-белом цвете, с легкими цветными линиями, бегущими вверх и вниз. Рисунок был закончен к полудню и оказался великолепен: Дахум сидел со своим наиболее заинтересованным выражением... Он счел это отличным развлечением. А также сказал, что никогда не знал, что он так хорошо выглядит, и я думаю, он прав. Он на время избавился от своего скверного настроения.

№ 2 оказался почти неудачей. Додд бросил это на половине.

№ 3, в полный рост, был превосходен. Мой брат [Уильям] с еще несколькими людьми появился в дверях, и Дахум как раз в критический момент взглянул туда с легкой досадой – посмотреть, в чем, черт возьми, дело. Додд мгновенно схватил это выражение и тотчас остановил работу, чтобы не испортить. Это абсолютное вдохновение. Никакого цвета, потому что было хорошо так, как есть, неоконченное.

Я от этого в восторге, и Додд поэтому дал № 1 Дахуму, который каким-то неизвестным образом попросил у него один из портретов. Я оставил № 3 (лучший, более всего доставляющий приятность, хотя не самый «приятный») у Додда, чтобы отправить тебе. В самом деле, на это стоит посмотреть.

Дахум берет свой в Кархемиш, чтобы показать своим родственникам. Я украду это позднее, поскольку, как он

---

* Ф. Додд (1874-1949) в то время был признанным портретистом, позднее стал официальным военным художником.

говорит, они поудивляются только девять дней, а потом забудут. Этот портрет превосходен – хотя на нем он не выглядит таким мальчиком, как на № 3.

... Это, в самом деле, было ужасно хорошо с твоей стороны: ты нашел подходящего человека, и результаты удачные. Как ты только догадался это сделать?»

Создание портрета Дахума стало для Лоуренса апогеем его восхищения перед красотой любимого – и гордости за него.

Обратный путь лежал через Голландию, Германию, Австрию и Египет. В последних числах августа Лоуренс и его арабы уже были в Кархемише.

У Дахума и Ходжи осталось довольно благоприятное впечатление от посещения незнакомой страны. «Очевидно, вам интересно узнать, что арабы думают об Англии, – писал Лоуренс домой. – К сожалению, они слишком умны, чтобы быть смешными в своих суждениях. Они описывают ее как сад, лишенный селений, с людьми, собравшимися в многочисленных городах. Города удивительно мирные и многолюдные, дома очень высокие; метро для них – источник изумления. Они говорят селянам, что Сирия – небольшая бедная страна (очень вероятно, вожделенная для нас, любителей деревьев) и что арабов слишком мало, чтобы играть роль в мировой политике. Все это правильно. Они также оценили пользу и качество той пищи, которую ели в Англии. И они чувствуют облегчение после того, как узнали, куда же на самом деле уходят собрания древностей. Что касается нас самих, они хвалят Вилли и Арни. А также мистера Бэлла и сэра Артура Эванса».[2] В числе удивительных вещей, кроме метро, оказались также самолеты и холод в июле. Дахуму особенно понравились краны с горячей водой: он хотел бы увезти такой для более приятного умывания холодным утром. И обоим арабам пришелся по душе белый кафель,

которым была отделана ванная: из-за его гладкости. Они с удовольствием его поглаживали.

Глава XXXVII

Очередное покушение на историю. – Археологическая разведка в Хаммаме и Кара-Казаке. – Утраченные ценности.

Между тем, в Кархемише немецкие строители в очередной раз покусились на историческую территорию, поставив там несколько сараев. Однако долго торжествовать им не пришлось: они были изгнаны Хаджем Вахидом, исполнявшим обязанности смотрителя во время отсутствия Лоуренса. «Инженеры заслуживают медаль за свое упорство в претерпевании поражений»,[1] – замечал Лоуренс. Выселение стало не единственной их неудачей: «Мост оказался ненадежным, – продолжал он, – некое насекомое-англофил съело опоры на уровне поверхности воды, и дерево можно теперь черпать обеими руками!» В качестве средства защиты немцы собирались использовать металлическую обшивку.

В начале сентября Лоуренс с Дахумом и Ходжой отправился на археологическую разведку в Хаммам, ниже по Евфрату, где находилось древнее кладбище. Его остатки в полдюжину могил ютились узкой полосой между современными захоронениями и руслом потока. Однако провести изыскания помешало присутствие госинспектора, занятого подсчетом урожая. Только позднее Лоуренс смог достать погребальную утварь из трех могил в том месте. Когда он спустился в одну из них, на него из темноты внезапно выскочили две огромные ящерицы, до смерти перепугав его.

Побывать в Хаммаме Лоуренсу больше не пришлось, о

чем он немало сожалел, поскольку там оставались еще три неисследованных погребения. Даже после войны он не раз вспоминал о них. «Я как сейчас вижу, – рассказывал Лидс, – как он описывает их расположение относительно друг друга. В нашу последнюю встречу [в апреле 1935 г.] он повторил свое описание почти слово в слово. После его смерти я пытался найти кого-нибудь, чтобы посетить это место и посмотреть, могут ли еще те могилы быть найдены».[2]

В полутора часах ходьбы от Хаммама и примерно в тридцати пяти милях к югу от Джераблуса находится место Кара-Казак, где Лоуренс обнаружил неизвестные хеттские памятники. Над переправой через Евфрат высились руины небольшой хеттской крепости, у подножия которой располагалось обширное непотревоженное кладбище, а к реке вела высеченная в скальной породе дорога. Место не имело никаких следов последующего заселения. Из-за небезопасной близости к правительственной инспекции Лоуренс не смог провести должным образом осмотр и там. Однако позднее ему удалось получить оттуда некоторые предметы.

После Кара-Казака он направился к Калаату-эн-Неджиму – большому и красивому арабскому средневековому замку на Евфрате. Там местные арабы выкопали яму в поселении XIV века, обнаружив множество арабской керамики и стекла XV и XVI веков. В лихорадочных поисках золота, которое они ожидали найти на дне ямы, они все это перебили и отбросили. Так в извлеченной земле оказались фрагменты эмалированных чаш из терракоты и около двадцати сосудов из мозаичного стекла с рыбами, змеями и птицами в цветном рельефе: каждый из этих стеклянных сосудов стоил бы в Европе от пятисот до тысячи фунтов стерлингов. Это разорение вызвало горькое сожаление Лоуренса: «Если бы я пришел в Каллат-эн-

Неджим двумя неделями раньше, мы легко собрали бы все за короткое время! Не думаю, что когда-нибудь в истории было обнаружено другое подобное хранилище арабского стекла».[3]

Глава XXXVIII

Приезд Уильяма в Кархемиш в сентябре 1913 года: Дамаск. – В Кархемише. – В гостях у курдов. – Расставание.

В сентябре 1913 года Уильям отправился в Дели, где должен был приступить к преподаванию в Колледже Св. Стефана. По пути он собирался посетить Кархемиш, как то было ранее условлено с Томасом. «Будет приятно увидеть его в его родных и любимых местах, – не говоря уже о Дахуме и Ходже»,[1] – замечал Уильям.

Уильям, обладавший столь же чистым взглядом на мир, как у его брата, умел так же глубоко воспринимать красоту и улавливать те оттенки мира, что скрыты от поверхностного или предвзятого наблюдателя. Оказавшись в Сирии, он был восхищен ее образами. Особенное впечатление на него произвел Дамаск: «Я несказанно очарован. Только что вернулся [в отель «Виктория»] после созерцания лунного света и отсветов заката в их борьбе за город, что было просто великолепно. Минареты, белые и розовые крыши и темные вечнозеленые деревья – в большом городе в форме Н. На восточном горизонте – многие мили деревьев, к северу – холмы, а к югу и западу – обширная пустыня. Все это я видел с одного арабского кладбища, гнездящегося на склоне холма, откуда открываются целые мили красоты».[2]

Вид с кладбища полюбился Уильяму: «Я снова был на склоне холма, – писал он на другой день, – и наблюдал,

как луна всходит над городом. Я не видел ничего более красивого. Общий эффект города – розовый: розовые крыши и белые бесчисленные минареты смешаны вместе. Все это расположено среди двадцати-тридцати миль деревьев – фруктового леса. Далее раскинулась пустыня, как море, обладающая той же силой привлекательности, только она телесного цвета. Мне нравится название «Сад Аллаха», но все же оно не слишком подходящее... Отсветы заката – причудливое явление, которое возникает, как вспышка, спустя некоторое время после захода солнца, пылает розовым заревом в небе в течение получаса, затем становится лимонного цвета и вскоре исчезает, оставляя тени, созданные луной».[3] Из уединенности высокого склона со старым кладбищем казалось, что покоем овеян и сам город, лежавший внизу и принимавший, как небесное благословение, вечную славу огненных закатов. Воистину, он мог быть «садом Аллаха», если бы не был земным городом с напряженной жизнью, слагавшейся из множества отдельных судеб, наполнявших, как эхо моря, перламутровую раковину красоты.

Изнутри Дамаск изумлял своим разнообразием, будучи полон представителей различных типов – бедуинов, оседлых арабов, турок, друзов в их несхожих одеяниях – и являя смешение старых и новых манер: например, можно было видеть, как закутанные по мусульманскому обычаю женщины, похожие на черные коконы, прогуливаются под руку с подругами во французских платьях. Немало было турецких кавалеристов, а также бедуинов, сидевших во всеоружии на конях или ослах, что придавало городу военный оттенок. По некоторым улицам звенели электрические трамваи, из отдельных кафе доносились звуки граммофонов. На базарах в толпе разъезжали всадники на лошадях, верблюдах и ослах, и все казались чрезвычайно занятыми, кроме владельцев лавочек, которые сидели

нога на ногу и курили.

«Мне было жаль покидать Дамаск, – признавался Уильям. – Это самый красивый город из всех, что я видел, – с черными и белыми голубями, порхающими над ним, вечнозелеными деревьями вокруг, обширной пустыней вдали, где пыль взвивается, как столбы дыма. А фрукты и цветы!.. Основными из фруктов были персики, нектарины, яблоки, виноград – и другие, названий которых я не знаю, а подсолнечник и розы были основными цветами. Когда я уезжал, в поезде одна девочка подарила мне маленький белый цветок, похожий на розу-бутоньерку на стебле лилии, с ароматом более приятным, чем у всех известных мне цветов. Вообще это место достойно того, чтобы там жить: что я сказал бы лишь об очень немногих городах».[4]

15 сентября он прибыл в Халеб, где его встретили Томас и Дахум. Они провели там пару дней, посетили цитадель, базар и некоторых из знакомых Томаса, а 18-го числа приехали в Кархемиш, и их весело приветствовали многие из рабочих во главе с Ходжой.

Первые несколько дней Уильям плавал на каноэ и купался в Евфрате. Он нашел Кархемиш очень приятным. В то время в доме археологов снова были посетители – доктор Алтунян из Халеба с семьей, американский миссионер Ашер и лейтенант Хьюберт Юнг, направлявшийся в Индию через Багдад. Спустя пару дней все уехали, кроме Юнга.

21-го числа Уильям отправился в гости к курду Бусрави-Аге в ответ на его приглашение, сделанное в Халебе. Его сопровождали Дахум и Ходжа, а переводчиком стал Юнг, поскольку Томас опять был болен малярией и немалую часть времени только мрачно проводил на крыше дома.

В шатрах гостям было предложено богатое угощение, после чего их развлекали танцами и игрой на барабане и свирели. То же повторилось на другой день. «Мы покинули шатры Бусрави вместе с ним и с двенадцатью наездниками на следующее [третье] утро, когда еще светила луна. После быстрой езды в полутьме мы прибыли к Нэду как раз вовремя, чтобы я и лейтенант успели на поезд до Алеппо».[5] Было 23 сентября 1913 года. Братья больше никогда не видели друг друга.

Милость – не знать в последний раз, что это последнее, и отпускать, не теряя прежде времени. Память запечатлевает минуту, как самую обычную, среди многих иных, бывших прежде, и лишь когда нить оборвется, мысль обратится к этому мигу в страхе забыть его – потерять дорогое окончательно. Каждая незначительная подробность станет важной, несущей в себе особый смысл «последнего» – неизмеримо ценного, глубинного, любимого. Что-то отступит в туман, и сознание будет биться в нем, стараясь еще раз увидеть и спасти из темноты хотя бы мелочь, которая теперь кажется дороже всего. И всю жизнь будут бережно сохраняться эти солнечные крохи, как отражение в темной воде памяти: земное богатство.

Так, ничего не подозревая, Томас уже потерял. И остался в счастливом мираже Кархемиша перед подступающей, как слезы, болью – своим рассветающим днем, где не будет ни брата, ни друга, ни «родных и любимых мест» – только собственная гибельно живая душа, хранящая среди всего остального образ, растворяющийся в розовом утреннем свете.

Глава XXXIX

Поразительная горгулья. – Одиночество личности. – Способы фотографии. – «Загадочное» изображение. – Страстный читатель. – Собрание головоломок. – Дары Дахума и Бусрави. – Хищный сторож. – Салюты. – Неожиданное поручение.

Когда Юнг находился в Кархемише, Лоуренс привлек его к вырезанию фигурок для украшения дома. Юнг исполнил в известняке женскую головку, тогда как Лоуренс в том же материале – обнаженную сидящую горгулью в стиле скульптур собора Нотр-Дам, прототипом для которой послужил Дахум. Эта работа была помещена на крышу дома и крайне поразила Вулли, которому претила гомосексуальность Лоуренса. Однако Лоуренс был достаточно умен, чтобы не обращать на это особого внимания и продолжать уважать своего сотрудника как археолога. Рядом был Дахум, как придающая силы радость. «Когда двое вместе, большинство бессильно»,[1] по верному слову Э.М. Форстера, – а не только один человек.

В данном случае Лоуренс и Вулли представляют две несовместимые части мира. Любовь продолжается, как жизнь, и длится ненависть к ней. Примирения нет: любящим открыта истина, незримая для тех, кто в неведении истово верит в свою правоту. Так же правыми считали себя те, кто распинал Христа как смутьяна; кто нес «свет Божий» к «неверным» на лезвии меча; кто забрасывал камнями поэтов... Таков лишающий разума страх перед неизвестным, и, как его следствие, – стремление подчинить чуждое или изгнать. Но – не понять. Зло от незнания.

Такие любящие ждут только понимания и приятия. Отмеченные Богом ожидают, чтобы их сочли за людей. Ждут человечности. Общество как таковое бесчеловечно: обезумевшая толпа, сбивающая каждого, кто движется в

ином направлении. Свиное стадо, охваченное бесами предрассудков на пути к обрыву. Можно лишь уйти в сторону, как ищущий Бога – в пустыню: личность выживает в одиночестве. Одиночество Лоуренса длится до сих пор...

Новый сезон раскопок был начат в первых числах октября. Как и в прошлый раз, на них были задействованы около двухсот рабочих. Основными находками попрежнему являлись плиты с рельефами. Фотосъемка поврежденных из них была затруднительна, так как утраченные части производили ненужный эффект, поэтому Лоуренс с Вулли стали замазывать эти места грязью, чтобы воссоздать ровную поверхность. Результат на фотографии приводил их в восхищение, однако Хогарт не разделил их восторга, указав на то, что некоторые детали оказывались затемнены.

Продолжалось расширение экспедиционного дома: к нему пристроили еще несколько помещений. Лоуренс постарался придать гостиной уют и разместил там немного керамики – турецкой, арабской, римской и хеттской, некоторые безделушки из стекла, деревянные изделия и несколько бронзовых вещей. На пол были постелены ковры, а на стены повешены гобелены фабрики У. Морриса и большая арабская вышивка по шерстяному полотну. Кроме того, там висел портрет Дахума, созданный Доддом. «Это действительно прекрасная работа, которая становится еще приятнее по мере привыкания к ней, – писал Лоуренс. – Он сам так и не нашел в себе смелости, чтобы показать ее родственникам. На днях пришел Хассан Махли и неожиданно увидел рисунок. “Уаллахи! – воскликнул он. – Это самое живое подобие коровы!” – и, перевернув картину вверх ногами, показал на “рога” в виде двух ножек стула! Я объяснил, что это изображение человека. Тогда он, покачав головой, произнес: “Бог милостив и простит того, кто сделал это.” Дахум за дверью так и сел от

восторга».[2]

Три огромные кладовые, по тридцать пять футов в длину, были заполнены разнообразными фрагментами, поднятыми из земли, и представляли собой наглядную картину разрушения. «Библиотекарь из Королевской библиотеки Мюнхена, который увидел их несколько дней назад, сказал, что это самое печальное зрелище из всех, что он видел, – рассказывал Лоуренс. – Кстати, он оказался забавным человеком: пришел с несколькими инженерами, когда нас не было, и, найдя камин, книги и приличное кресло (в домах железнодорожников нет ни одного), попрощался со спутниками и принялся читать, пока мы не вернулись во второй половине дня. Он сказал, что наша библиотека была лучшей (по качеству) из всех небольших собраний, что он видел, и что это явно показывает природный гений в выборе. Он не хотел уходить! В конце концов, мы были вынуждены одолжить ему четыре книги для его вечерних чтений в немецком поселении: немецкую, английскую, греческую и французскую. Он хотел взять еще и латинскую, но побоялся показаться жадным. Мы слышали потом от инженера по постройке моста, что он весь вечер пел нам похвалы в своем лагере. Жаль, что с вами нет Вилли, чтобы узнать, что мой Эредиа оказался достоинством наших полок».[3] Библиотекарь пообещал подарить археологам несколько редких изданий средневековой немецкой поэзии из собственного собрания. Всего в их походной библиотеке было сто пятьдесят книг на восьми языках.

4 декабря раскопки были завершены из-за погодных условий. Пошли сильные дожди, между которыми временами проглядывало солнце, а иногда веял ледяной холод, и земля покрывалась инеем, оттаивавшим к полудню под солнечными лучами. Крыша дома начала протекать, и ее пришлось укрепить слоем грязи с мякиной, которую вы-

ровняли каменным валиком, найденным на раскопках. В этот сезон, кроме плит, были обнаружены два-три десятка скульптур и три длинных надписи, что стало отличным результатом.

По окончании работ археологи приступили к разбору складированных фрагментов, пытаясь составить из них нечто целое. «Вы оцените трудность выбора из этой кучи (требуется полдня, чтобы ее перекопать) отдельного когтя, или уха, или обломка челюсти, чтобы завершить разбитого льва, найденного при раскопках. И обычно нужен гений, чтобы понять, *что* есть львиная шерсть, а *что* человеческие волосы – в смешении крошечных обломков, многие из них не больше пенса, – а некоторые весят три-четыре тонны».[4]

8 декабря Лоуренс посетил Бусрави, по его приглашению, и провел у него два дня, воспользовавшись этой возможностью, чтобы осмотреть хеттские памятники в округе. Бусрави преподнес ему большой ковер – подарок для Вилли. Незадолго до того времени проявил признательность и Дахум, передав занавеси для матери Лоуренса и две седельные сумки для Бэлла.

А сотрудник правительства в Халебе подарил археологам молодого леопарда из Малой Азии. «Он питается только мясом; а вообще хорошо выглядит и заменяет нам сторожевого пса: почти каждый держится от него подальше».[5] Через неделю: «Мы два дня назад забавлялись, надевая на нашего леопарда более прочный ошейник. Он был в ящике, но все равно слишком беспокойный, чтобы его можно было поймать. Так что мы сделали дыру в боковой части ящика и набивали в нее мешок за мешком, пока леопард не оказался зажат так прочно, что не мог двинуться. Тогда мы сняли крышку, надели ошейник и снова отпустили его на волю».[6] Впоследствии животное погибло: вероятно, было кем-то застрелено.

Рождественский вечер археологи провели за фотосъемкой находок, которую выполняли около своего дома. Вспышка фотоаппарата сверкала столь часто, что немцы, жившие в миле от них, пришли посмотреть, думая, что это фейерверки. К тому времени они стали совсем мирными: самый беспокойный из них ушел, а остальные были «исключительно вежливыми и дружелюбными», охотно использовали для своих сооружений отброшенные на раскопках камни и землю и больше не покушались на археологические ценности.

Так безмятежно шла жизнь, когда вдруг, в последних числах декабря, неожиданно поступила телеграмма из Британского Музея с поручением предпринять экспедицию на Синай.

Глава XL

Цели экспедиции. – Археологические задачи. – Пустыня Син и Кадеш-Барнеа в библейской истории. – Предыдущие исследования местности. – Филистия. – Гезер. – Ашдод. – Газа. – Беэр Шева. – Ньюкомб. – В пустыне. – Каласа. – Эсбеита. – Эль-Ауджа. – Тель эс-Серам. – Дарб эль-Шур. – Пропавшие археологи. – Коссаима. – В Кадеш-Барнеа. – Разделение. – Синай: облик и история.

Археологическая экспедиция на Синай имела скрытой целью военную разведку, идея проведения которой принадлежала саперному офицеру капитану Стюарту Ф. Ньюкомбу. Он уже производил рекогносцировку пограничной с Египтом территории и сообщил Военному министерству о желательности расширения ее зоны. Министерство дало согласие, но признало необходимым, чтобы экспедиция проводилась в целях маскировки под эгидой Палестинского исследовательского фонда, к тому же ее

осуществление совпадало с желанием Фонда восполнить ряд лакун в библейской истории. Руководителем экспедиции стал Ньюкомб. Лоуренс и Вулли были немало удивлены узнать об этой тайной цели.

Археологическими задачами являлось: проследить Дарб эль-Шур – старый караванный путь из центральной Палестины в Египет; идентифицировать места, упомянутые в Библии и в других исторических источниках; получить некоторое представление о местности в последующие периоды и исследовать окрестности Аин-Кадеис, который, как предполагалось, являлся библейским Кадеш-Барнеа. Это подразумевало составление планов, фотосъемку, датировку поселений и регистрацию их арабских названий. Территорией исследования являлась «пустыня Син», в которой, согласно Библии, израильтяне блуждали сорок лет. История их странствий такова.

Свыше трех тысяч лет назад израильтянин Моисей, которому было суждено стать величайшим из пророков, пас стада в глубине пустыни Мадиан, к востоку от залива Акаба, когда к нему из горящего куста воззвал Бог и открыл, что тот избран освободить свой народ из египетского пленения. К тому времени израильтяне несколько сотен лет изнывали от принудительного труда в Египте. Однако Фараон – вероятно, Меренптах (1224–1211) – не пожелал отпустить народ израилев, и тогда Господь наслал на Египет одну за другой десять казней, самой страшной из которых стала последняя – умерщвление всего первородного. После этого монарх потребовал от Моисея, чтобы его народ был уведен.

Израильтяне вышли со своими стадами и, перейдя расступившееся Чермное море (возможно, северную оконечность Суэцкого залива, или одно из Соленых (Горьких) озер, или же залив Акаба), вступили в Синайскую пустыню, где Моисей сотворил чудеса для обеспечения наро-

да водой и пищей. Когда спустя три месяца они достигли горы Хорев (Синай), Бог призвал Моисея взойти на нее и на вершине повелел ему возвестить израильтянам, что если они будут покорны Ему, то станут Его уделом, Его святым народом. Вместе с тем Вседержитель открыл Моисею Свое Имя, которое позднее стали обозначать на иврите буквами ЙХВХ. Как оно звучало, неизвестно (иврит не имеет знаков для записи гласных), наиболее вероятный вариант – Яхве. Открыв Свое Имя, Бог явил Свою природу: как считалось, имена содержали сущность того, кто их носил, и имели способность передавать дух обладателя.

После трех дней очищения израильтяне собрались у подножия горы и услышали громоподобный глас Божий, что привел их в трепет. Моисей же взошел на гору, где получил каменные скрижали завета с начертанными на них десятью заповедями. Спустившись через сорок дней, он увидел, что народ вновь обратился к мерзости язычества, и в гневе разбил скрижали. Израильтяне раскаялись в своем падении, и Моисей, проведя еще сорок дней на вершине, получил новые скрижали.

Пробыв у Хорева около года, они продолжили свой тяжелый путь по почти бесплодной земле и, наконец, добрались до Кадеш-Барнеа, расположенного у границ Земли Обетованной, Ханаана. Там недоставало воды, и народ начал роптать против Моисея и брата его Аарона. Тогда повелел Господь Моисею ударить жезлом своим по скале, дабы явить из нее воду. И Моисей ударил дважды, однако с сомнением в сердце, и полилась вода в изобилии. Но разгневан был Всевышний неверием народа и предводителей его и объявил Моисею и Аарону, что сами они не войдут в Землю Обетованную, а народ будет скитаться по пустыне еще сорок лет.

Аарон умер на горе Хор. Моисею было дано увидеть

Ханаан издали – с горы Нево, расположенной напротив Иерихона, после чего он был призван к Богу. Израильтяне же под руководством Иисуса Навина завоевали Ханаан.

Исход является ключевым моментом истории Израиля, ибо благодаря этому событию израильтяне стали народом богоизбранным и – первым признавшим Единого Бога. Это стало также событием мирового масштаба, поскольку именно из иудейской глубины открыта миру вера в истинного Бога, какие бы изменения она не претерпела впоследствии. С Исходом связан семидневный иудейский праздник Пасхи – «Песах», что означает «прохождение мимо», так как, когда уничтожение всего первородного поразило египтян, дома израильтян не были затронуты.

Что касается Кадеш-Барнеа, или Аин-Кадеис, находящегося на северо-восточном краю Синайского полуострова, в пятидесяти милях юго-западнее Беэр Шева, то он представляет собой лишь водопой с мутной водою. Однако в пяти милях от него, в Вади эль-Аин, находится Аин эль-Кудейрат – самый обильный источник региона, который с 1905 года большинство ученых считали наиболее вероятным местоположением упомянутого в Библии Кадеш-Барнеа. Само же название Кадеш-Барнеа могло распространяться на весь относительно большой оазис, бывший некогда много плодороднее, чем теперь, и приносивший хороший урожай ячменя и пшеницы. Кроме того, это место было важным перекрестком многих дорог.

К тому времени, когда Лоуренс и Вулли отправились в пустыню Син, ее уже неоднократно исследовали другие путешественники – французские, немецкие, английские, американские... Так, французские священники описали Абду и свой путь от Нахля до Кадеиса и через Вади Джерафи до Петры, что было опубликовано в «Revue biblique»; австрийский исследователь Музил осмотрел всю территорию, хотя его записи были иногда неудовлетвори-

тельны; английский профессор Эдвард Палмер вместе с Т. Дрейком предпринял экспедицию в Тих и Негев в 1869 и 1870 годах. Будучи лингвистом, он уделял большое внимание названиям, археологическая же сторона оставалась неизученной.

Лоуренс и Вулли отправились в экспедицию в последних числах декабря 1913 года. Конечно, Лоуренс взял с собой Дахума (Уильям замечал в письме к родителям, что благодаря Дахуму тот «будет защищен от всяких разбойников»[1]). Доехав до Бейрута, они морем добрались до Яффы, откуда пару часов ехали в повозке по филистийской равнине на юг, в сторону Газы. Сначала путь вел через апельсиновые рощи, простиравшиеся на мили и разделенными рядами эвкалиптов и акаций, отмечавших владения различных хозяев. Здесь и там виднелись высокие заросли кактусов, преимущественно опунции. Эта была территория древней Филистии. В XII-XI веках до Р.Х. эту узкую полосу весьма плодородной почвы в сорок миль длиной и пятнадцать-двадцать шириной, тянущуюся вдоль Средиземного моря от Яффы до Газы, заселили филистимляне – выходцы с Кипра, Крита или юго-запада Малой Азии (Карии). Они основали пять сильных городов-государств – Газу, Ашдод, Ашкелон, Гат и Экрон. Эти города стали со временем важной и независимой военной силой, а попытки расширить владения вовлекли их в противостояние с израильтянами, что нашло отражение в Библии. Первый царь Израиля Саул вел беспощадную борьбу с этими вторгавшимися в Ханаан захватчиками, пока не потерпел от них поражения у горы Гильбоа. Тогда погибли трое его сыновей и в том числе наследник Ионафан, а сам он, раненый, бросился на свой меч. Царствовавший после Саула Давид одержал полную победу над филистимлянами, что привело к падению их могущества.

На своем пути в Газу Лоуренс со спутниками осмотрел

Гезер, один из древнейших ханаанейских городов, располагающийся на естественном укреплении на западной оконечности возвышенности Эфраим. Это место было заселено свыше пяти тысяч лет назад. Оттуда открывался широкий обзор, благодаря чему Гезер в древние времена мог властвовать над пересечением двух торговых путей – тракта вдоль побережья и дороги, шедшей от моря до Иерусалима. В X веке до Р.Х. он был подарен египтянами царю Соломону, который укрепил его и расположил там отряды колесниц, на которые опиралась его военная мощь. Раскопки в Гезере велись с 1900-х годов британскими археологами от Палестинского исследовательского фонда.

Ночевали Лоуренс, Дахум и Вулли в Ашдоде, где нашли для отдыха только неудобное, грязное место. Некогда этот город был центром почитания главного филистийского божества Дагона.

На следующий день, 6 января, они проехали Ашкелон, бывший когда-то филистийской гаванью с процветающей торговлей, и к полудню достигли Газы, города с четырехтысячелетней историей. Это некогда филистийское поселение было расположено в трех милях от берега на месте древнего ханаанейского укрепления Бейт-Эглаим, уничтоженного филистимлянами. Именно здесь плененный богатырь Самсон обрушил на себя весь храм Дагона, убив и себя, и находившихся там врагов. Вся история Газы отмечена бедствиями и кровью. Будучи аванпостом Африки и вратами Азии, она имела важное стратегическое значение, и едва ли какая-либо армия миновала ее без боя. В 332 году до Р.Х. Александр Македонский завоевал Газу после пяти месяцев осады и полностью разрушил ее. В 66 году, во время первой иудейской войны, она была сожжена восставшими против Рима израильтянами. В VII веке ее покорили мусульмане. От разрушения город спасло

то, что там был похоронен Хашим, прадед Пророка Мухаммада. В XII веке Газа оказалась подвластна крестоносцам. Век спустя она была уничтожена монголами. В 1348 году ее опустошила бубонная чума, а в 1352-м разрушило наводнение – редкое явление в той засушливой части Палестины. В 1516 году Газа вошла в состав Оттоманской империи. В 1799-м она была ненадолго захвачена французской армией Наполеона. В 1839-м в ней вновь бушевала чума, а год спустя под ее стенами сошлись оттоманские и египетские войска. В 1903 году Газа пережила сильное землетрясение. К 1914 году ее население составляло около сорока тысяч человек, по большей части мусульман. Ее значение в то время обуславливалось местоположением на пересечении караванных дорог из Египта в Сирию и из Аравии к Средиземному морю.

Между Газой и морем волновались песчаные дюны, а сам город окружали сады и плантации, многие из которых были обнесены живыми изгородями из кактусов.

Лоуренс и Вулли посетили здесь консульство и нашли письма от Ньюкомба, в которых он желал узнать, каков был объем их багажа. Ему телеграфировали, что для перевозки всех вещей достаточно одного осла. Он ожидал их полностью подготовленными, тогда как Палестинский фонд обещал им, что Ньюкомб сам предоставит им необходимое. Поэтому пришлось приобретать все самим – лагерное снаряжение, две палатки, посуду, постельные принадлежности, столик. Сотрудник британского консульства А.А. Кнесевич и его сын оказывали всяческую помощь, в том числе в приобретении вещей. 7 января археологи выехали в Беэр Шеву, где была назначена встреча с Ньюкомбом.

Путь на Беэр Шеву проходил по обширной волнистой равнине с плодородной почвой. Там не было деревьев, как не было и присутствия живого человека, только следы

более древних оседлых цивилизаций: россыпи византийской керамики, мраморные и цементные прессы для отжима оливок и разрушенные водные цистерны – среди развалин тысячелетней давности.

По приближении к Беэр Шеве местность стала еще более печальной, явив собой картину пустынных пространств земли и щебня. Современная Беэр Шева была небольшим поселением, основанным лет за десять до того на месте древнего города патриарха Исаака. В те далекие времена она являлась главным городом южной пограничной области Ханаана. Над плодородным оазисом высился массивный, песочного цвета холм святилища Исаака, а само место было известно своими колодцами, особенно Клятвенным колодцем, или Колодцем семь, по которому город, как считается, получил свое название (на иврите «беэр» – колодец, «шева» – семь).

Здесь Лоуренс впервые увидел Ньюкомба, которому было суждено спустя несколько лет служить вместе с ним в Аравии. Лоуренс отметил порядок и четкую налаженность жизни его отряда военной разведки, а также то внимание, которое было проявлено по отношение к ним, археологам. «Он был послом от всех нас к арабским племенам и к турецким должностным лицам, и ему удавалось то и другое, причем он оставлял по себе впечатление, которое сделало бы легким путь любого будущего английского путешественника по пустыне. Этот труд организации был бы достаточным для большинства людей, живущих так неустроенно и неудобно, как Ньюкомб, но он, вдобавок, ухитрялся составлять карту больших округов, чем любой из его помощников. Отправляясь на работу на рассвете с проводниками и инструментами, он обычно возвращался в лагерь в сумерках и работал примерно до полуночи – разбирая, подсчитывая и записывая в помощь другим отрядам. Он был отцом этой топографической

съемки, и благодаря его четко разработанному найму верблюдов, мастерскому обхождению с транспортом и колоннами снабжения и спартанской простоте жизни, к которой он обратил также своих подчиненных, экспедиция по экономии денег и времени бьет все рекорды подобных съемок на Востоке».[2] А Ньюкомб, «предполагавший, что археологи будут столь же почтенны, как и их предмет»,[3] был немало удивлен, когда увидел столь молодых людей, особенно Лоуренса, которому в его двадцать пять лет нельзя было дать и восемнадцати.

В путь выступили 11 января, имея в своем распоряжении дюжину верблюдов. Ночи были холодны, а днем над пустыней дышал летний зной. К югу от Беэр Шевы волнистая равнина уступила место бесплодным холмам и кряжам из мягкого известняка, покрытым рассеянным щебнем и кремнем. В некоторых из довольно широких долин почва была возделана под зерно, но даже это не уменьшало общего впечатления покинутости. По мере приближения к Каласе, расположенной в пятнадцати милях к югу от Беэр Шевы, каменистые холмы сменились широкими песчаными дюнами, местами поросшими кустарником, а близ руин города простиралась обширная равнина легкой, но хорошей почвы, значительную часть которой возделывали арабы, чьи шатры стояли рядом с колодцем. Каласа была основана, по всей вероятности, набатеями, позднее стала византийским поселением, а затем пришла в упадок.

В Каласе была сделана остановка на три дня. За это время археологи осмотрели руины, все из которых относились к христианской эре и не представляли особого научного интереса. Лоуренс вообще мало верил в возможность обнаружения каких-либо отпечатков трехтысячелетней давности. «Палестинский фонд желает найти места, иллюстрирующие Исход, который, как предполагается,

шел этим путем, но, конечно, народ через 40 лет после выхода из Египта едва ли мог оставить много следов на территории своих стоянок. Не больше, чем Авраам или Исаак».[4]

Посещение Рехобота, возможного колодца Исаака (в чем Лоуренс сомневался), принесло некоторые результаты: в находившихся поблизости руинах, похожих на остатки форта, была обнаружена керамика, датируемая примерно временем царя Соломона (X век до Р.Х.). Через эти места проходила его дорога от Эцион-Гебера, торгового порта на Акабском заливе, в Газу.

16-го выступили в Эсбеиту, на подходах к которой простирались пески, где рос только тамариск. Затем следовали известняковые холмы, а за ними внезапно открывался выход в Вади Мигрих. Местность была по-прежнему безжизненной, а скудные участки возделываемой земли только подчеркивали безнадежность окружающей пустыни.

Эсбеита являлась византийским городом, среди развалин которого сохранились остатки церквей, монастырей и жилых домов. Городские ворота были заложены камнями, равно как и многие улицы были перегорожены ими. Все свидетельствовало о том, что город прекратил свое существование внезапно, – как если бы население покинуло его в один день и больше никогда туда не возвращалось... Эсбеита существовала недолгое время в начале христианской эры и была разрушена арабскими завоевателями.

Лоуренс с Дахумом и Вулли поставили палатки рядом с северной церковью и пробыли здесь до 24-го числа, составляя план города, а затем выехали в Эль-Ауджу, где находились византийские руины и современная правительственная станция – единственные строения между Беэр Шевой и Акабой.

В Эль-Ауджe к ним присоединился Юсуф Канаан, при-

нимавший прежде участие в полевой работе Палестинского фонда. Здесь они провели два дня, выполняя план строений и исследуя некоторые из погребений на холме Тель эс-Серам (в трех милях к югу от Эль-Ауджи), которые оказались захоронениями кочевников, живших в византийскую эпоху. Потом они вышли к караванному пути Дарб эль-Шур, дороге Авраама и Исаака, ведущей из Хеврона в Египет.

27-го вьючные верблюды с палатками были отправлены с погонщиками вперед, к Аин-Кадеис, а Лоуренс, Дахум и Вулли отправились по этой старой дороге до Бир Биреин, а оттуда в Рас Серам и затем – в Мувейле, причем задержались и были вынуждены провести ночь под открытым небом. Пока они спали, оба их верховых верблюда сбежали. Наутро путники нашли проводника и направились прямиком в Аин Кадеис. Отсутствие верблюдов оказалось даже преимуществом, ибо местность была совершенно непроходима для них: усеянные булыжником обрывистые холмы, пересеченные узкими вади.

Тем временем, люди с вьючными верблюдами прибыли в Коссаиму и, встревоженные отсутствием спутников, подняли на ноги всю местную полицию. «В итоге возникла дикая суматоха телефонных переговоров вдоль всей границы; 20 из 25 полицейских на верблюдах здесь, в Коссаиме, день и ночь блуждали по своим холмам, а турки – по своим; около 40 арабов были задержаны и оставлены как заложники до нашего появления; а мы, тем временем, спокойно сидели в Аин-Кадеис, удивляясь, куда же исчезли наши палатки».[5] Из-за почти непроходимой местности, которой двигались «потерявшиеся», никто не смог их обнаружить. Подождав в Аин-Кадеис, путники направились к северу и спустя несколько часов были с облегчением встречены в Коссаиме.

Здесь располагались казармы для полицейских, пра-

вительственное здание и три лавки, давая представление об охранных постах иудейских царей. Лоуренс и Вулли исследовали расположенный неподалеку холм, на котором находилась группа погребений, отмеченных каменными кругами и относящихся приблизительно к первой половине второго тысячелетия до Р.Х. Они раскопали четыре захоронения, где обнаружили немного керамики, а потом снова отправились в Мувейле, после которого вновь посетили Аин-Кадеис. Долина Аин Кадеис была необычайно пуста – даже среди долин южной местности. Ее устье представляло собой каменную пустыню, хранившую следы наводнений, рядом с которой извивалось неглубокое русло потока. На одной стороне долины виднелись последние остатки грубо сооруженной стены террасы, а неподалеку располагались восемь погребений византийского периода. Далее долина становилась еще более каменистой, с отвесными, пустыми откосами холмов, без единого пятнышка зелени и без единого ровного участка, вся ослепительно сияющая белизной известняка под лучами палящего солнца: скорее картина из Данте, чем библейский оазис. Только название места вызывало у европейцев живую реминисценцию библейского Кадеш-Барнеа и, соответственно, интерес к Аин Кадеис. Первым, кто посетил его, был Роулэндс, побывавший там в 1842 году. В 1870 году здесь проводил исследования Э. Палмер. В 1882 году американец Х.С. Трамбулл дал фантастически живописный образ долины (его книга была у Лоуренса и Вулли с собой).

После посещения Аин Кадеис исследователи расположились в долине Аин эль-Кудейрат, где журчали ручьи, росли акация и шиттим, пестрели цветы и поднимались молодые хлеба в три фута высотой – единственные хлеба во всей этой пустыне. Там находился водоем, достаточно большой для купания (погода стояла весьма жаркая), а

вытекавший из известняка источник был единственно хорошей водой на всем пространстве между Египтом и Сирией. «Нескромно приятное место»,[6] – отмечал Лоуренс. Здесь были проведены несколько дней. Никто из европейских путешественников не бывал здесь прежде, и Лоуренс с Вулли чувствовали себя первопроходцами.

В долине располагался небольшой холм, на котором находились руины некоего укрепления. Археологи произвели небольшие раскопки и смогли составить план постройки. По найденным образцам керамики удалось датировать строение приблизительно концом второго – началом первого тысячелетия до Р.Х. Кроме того, они раскопали в вади несколько аморитских погребений примерно того же периода, где обнаружили лишь несколько осколков керамики. В последней из раскопанных могил скелет не имел черепа. На северной стороне долины находились остатки византийского поселения, а около русла потока можно было обнаружить фрагменты римской керамики.

Что касается разрешения проблемы Кадеш-Барнеа, то Лоуренс и Вулли склонялись к тому, что этим библейским оазисом была территория, включавшая Аин эль-Кудейрат, Коссаиму, Мувейле и Аин Кадеис. Их мнение основывалось на том, что этот округ располагался неподалеку от многих путей, предоставлявших возможность и возвращения, и дальнейшего продвижения, а также изобиловал водой и обладал значительными территориями плодородной земли.

8 февраля Лоуренс и Вулли разделились: Вулли с Юсуфом Канааном отправились на север к Мертвому морю, а Лоуренс с Дахумом – на юг к Красному морю, через такие же пустынные пространства, где изредка встречались только чахлые кустарники, как слабые усилия жизни.

Большую часть пустыни между Беэр Шевой и Акабой занимают известняковые холмы, покрытые слоем крас-

ного кремня, который по мере разрушения основы уносится дождями и покрывает землю на многие мили багровой мантией. Несдерживаемые ветра, часто витающие над этими каменными просторами, несут с собой песок, который полирует кремнистую поверхность холмов до того, что она начинает отражать лучи солнца и кажется влажной от росы. Долины и плоскогорья покрыты волнистыми песками, в редких местах узкие русла потоков открываются в широкие равнины, где жесткая почва обладает некоторым плодородием. На холмах встречается вереск и римт – чахлый узловатый кустарник, в долинах растет белый ракитник, и повсюду вдоль высохших русел виднеется перистый тамариск.

На протяжении многих веков эти пространства пересекались путниками – или через Эль-Ариш, или по дороге Хеврон – Беэр Шева – Мувейле. Древние египтяне, патриархи, иудеи, римляне, крестоносцы, арабы прошли там, словно великое воинство теней, и так же неясен оказался их синайский путь в истории, где от него остались только названия мест.

Но при этом пустыня, как никакое иное место, хранит память: сложенная странником кучка камней у дороги сохраняется на века, тогда как самые величественные монументы других земель приходят в упадок.

Множество каменных пирамидок, кругов и примитивных построек существует на Синае. Это круглые и прямоугольные убежища для людей и для овец; круглые и прямоугольные погребения; межевые сооружения на вершинах холмов, служащие для того, чтобы отделить пастбища различных кланов или указать путь; ритуальные кучки камней, к которым каждый путник может добавить свой камешек – зачастую даже не зная, зачем, – лишь оттого, что кто-то *знал* смысл. Небольшие пирамидки, называемые «макатал», складывались там, где было обнаружено

чье-либо мертвое тело (при этом его могли похоронить в другом месте). Похожие пирамидки, шехадаты, сооружались на могиле. На вершине Джебель Мувейле их столь много, что Э. Палмер принял их за руины некоего большого города.

Три тысячи лет назад через эти земли, вплоть до Акабы, простиралось царство Давида, а после – его сына Соломона. Потом Синай перешел под власть набатеев, живших торговлей и использовавших для нее синайские пути. Затем началась византийская эпоха, оставившая после себя в этой пустыне больше следов, чем любая другая. Торговые пути пролегали от Айлы и других портов Красного моря через Синайскую пустыню до Газы и Сирии. На Синае были возведены крепости, и там же рассеялись многие монастыри, руины которых и поныне возвышаются среди песков и камня, словно природная часть пустыни. После арабских завоеваний история Синая почти сходит на нет. Во время крестовых походов его внутреннюю территорию несколько раз пересекали предводители обеих сторон, позднее появлялись турки и египтяне, потом Наполеон, но все эти прохождения не были сопряжены с какими-либо важными событиями. К 1914 году Синай находился под англо-египетским контролем, выполняя роль буферной зоны.

Глава XLI

Пространства Бога. – По старой дороге к Акабе. – Акаба. – Невиданная флотилия. – Джезирет Фараун. – Растерянный эскорт. – Ненастная ночь у могилы Аарона. – Вади Араба. – Петра. – Наибольшая красота.

Лоуренс и Дахум шли старой караванной дорогой че-

рез Вади Луссан и Кунтиллу в сторону Акабы.

Никогда еще они не были столь подчеркнуто близки друг к другу, как на этих омертвевших пространствах, где пески времени и окаменевшие усилия земли, застывшей словно в смертном борении своего одиночества, выявляли слабость человеческого существа в его бесприютной земной жизни и вскрывали его связь с Творцом. В обнаженном существовании пустыни, как в забвении мира, душа ощущалась частицей сияющего Бытия, частью Бога, без Которого потеряла бы самое себя в небытии совершенного одиночества. Без Бога жизни нет, ибо Он – Любовь, а ее отсутствие – смерть. Бог – единственное прибежище на земле, и в объятиях брата – Его теплота.

Мир остался за горизонтом, смутный и нереальный. Их миром были они сами, единые в своей любви, нераздельные в Любви высшей. Пустыня молчала первозданной тишиной, и по ночам, казалось, можно было услышать тонкий звон ясных звезд, а в биении родного сердца звучала пульсация Бытия. Они уже принадлежали ему, явленному в небесной глубине братства, где животворящие движения ласк соединяли чуткие души.

За равниной Аин Кадеис заканчивались возделываемые участки, а вместе с ними и всякие следы человеческой жизни. «Бедуины проходили по этой земле и хоронили там своих мертвых; путешественники шли в ту или иную сторону по большим дорогам; но единственным человеком древних времен, кто построил там дом, был некий одинокий византиец в Вади Луссан, – и то, возможно, это была скорее дорожная станция, чем жилище».[1] На покрытом кремнем известняке блестела под солнцем дорога – колеи от десяти до сорока по численности, выбитые и отполированные множеством караванов, некогда прошедших здесь. На равнинах поднимались холмы и кряжи из того же известняка, что и почва, так же усеянные крем-

нем. Несколько в стороне от дороги располагалась Кунтилла – правительственный пост из нескольких зданий. Дальше, за гранитными пиками и пыльной белой равниной, путь круто поворачивал в небольшую долину, что является началом Нагба, или проходом Акабы.

В Нагбе «на склонах холмов были беспорядочно перемешены все породы скал. Серо-зеленые известняковые утесы отвесно вздымались на сотни футов; в огромных ущельях (стороны которых являли смесь цветов повсюду, где были размыты выступающие отроги черного порфира и диорита или мягкого песчаника) виднелись длинные розовые и красные пятна на более светлых красках».[2] Далее следовал полуторачасовой спуск с плато к мосту в Вади эль-Масри, откуда легкая дорога вела по долинам и кряжам до Вади Араба и, наконец, понижаясь до уровня моря, бежала через прибрежные пески мимо древнего Эйлата к окруженной пальмовыми садами Акабе.

Первое поселение на месте Акабы возникло четыре тысячи лет назад. До Р.Х. это был эдомитянский город (Эйлат или Элат), в I веке по Р.Х. его заселили набатеи. Позднее он стал одним из главных римских портов. В VII веке его завоевали арабы. В начале их владычества поблизости было основано поселение Айла. В XII веке Акаба оказалась в ведении крестоносцев, которые выстроили форт в самом городе и укрепление – на небольшом острове Джезирет-Фараун. В 1187 году Саладин возвратил как город, так и остров; в 1250-м Акаба перешла под власть мамлюков, а в начале XVI века вошла в состав Оттоманской империи. При турецком правлении она являлась небольшим рыболовецким поселением.

Население Акабы в 1914 году составляло примерно тысячу человек, дома были построены большей частью из грязевых кирпичей или из прибрежного булыжника, скрепленного грязью. Старый форт, частично разрушен-

ный, до сих пор использовался для размещения войск. Перед ним и поселением узкой полосой тянулась пальмовая роща. Большая дамба из земли и щебня ограждала город с внутренней стороны, способствуя накоплению почвы, приносимой наводнениями, и защищая его от вод, приходивших с холмов. Со стороны же моря ее высота составляла от десяти до тридцати футов. Лоуренсу не удалось обнаружить никаких следов предыдущего заселения, что заставило его предположить, что прежние города вокруг залива были выстроены также из грязевых кирпичей.

Каймакам Акабы запретил Лоуренсу фотографировать и проводить какие бы то ни было исследования. Однако Лоуренса нелегко было остановить: «Я фотографировал все, что мог, и вел исследования повсюду».[3] Особенно его интересовал Джезирет-Фараун, на котором, как он слышал, было немало интересного. «Акабский залив полон акул – голодных акул, а остров находится в полумиле от берега. Поэтому я, конечно, нанял лодку, но так и не увидел ее, потому что владелец был тотчас взят под стражу. Это показалось мне возможностью дешевого плавания, так что я взял бесхозную лодку, – но отряд полиции помешал мне и отнял мое сокровище. Увы, я был один! Я передал каймакаму, что это на его совести – запрещать мне плавание, и он ответил, что да... И пока его полиция передавала наши взаимные обвинения, я опустошил оцинкованную канистру, привязал к ней вторую для Дахума и еще одну для камеры, мерной ленты и прочих вещей – и поплыл к острову с парой досок в качестве весел. Полиция, вернувшись, обнаружила мой флот медленно уплывающим в море, а у них не было ни лодки, ни оцинкованных канистр, так что им оставалось только плакать, тогда как мы гребли».[4]

Но старания оказались почти напрасными: руины при ближайшем рассмотрении не представляли особого исто-

рического интереса. Небольшой форт находился на вершине скалы и был возведен из обломков красного гранита (образующей породы острова) с добавлением обработанных блоков желтого известняка вокруг окон и дверей и местами на углах. Стены изнутри были некогда оштукатурены желтым известковым раствором. Все строение находилось в сильно разрушенном состоянии. Лоуренс, как и его французские предшественники, затруднялся с точной датировкой его строительства. «Некоторые из амбразур и окон предназначены для стрельбы из пушек, некоторые – для стрелков, поэтому дата переходного периода наиболее вероятна».[5]

Усталые и замерзшие, Лоуренс и Дахум отправились обратно, преодолевая знобящий встречный ветер. На берегу их ожидало новое беспокойство. «Каймакаму было сообщено о его участи ... и он в отместку прикрепил ко мне лейтенанта и пол-отряда солдат, чтобы всегда держать меня в поле зрения. Я вспомнил страдавшего дизентерией слугу Хогарта, и сделал таким образом шесть фотографий, а затем растерял всю полицию в ущельях вокруг Горы Хор. Это долгая история... Они были на верблюдах и не могли взбираться так же быстро, как мы с Дахумом. И мы прогуливали их до тех пор, пока у них не закончилась вода и они не проголодались, а мы ускользали по долинам, избавляясь от их сопровождения, пока не достигли желаемого и последний из них не оставил нас. И я провел великолепное утро в полном покое у могилы Аарона на горе Хор».[6] Лоуренс и Дахум имели такое преимущество в скорости и ловкости, потому что их верблюды сбежали накануне, и в Акабу путешественники пришли пешком и без палаток.

На горе Хор они провели больше суток. Утром Лоуренс подстрелил куропатку, и ее приготовили на костре. На ночь устроились у вершины, под небольшим выступом

утеса. Было пронизывающе холодно, сильный ветер свистел над скалами, и временами обрушивались резкие шквалы дождя. Лоуренс с Дахумом прижались друг к другу, образуя тесный комочек, защищенный от непогоды плащами, которыми они укрылись и сверху, и снизу, и со всех сторон, но все равно ощущали пронзительный холод горной ночи, преодолевавший родное тепло.

На другой день нашлись верблюды и палатки, и Лоуренс с Дахумом отправились дальше. Они обнаружили две большие пересекающиеся дороги, проходившие через холмы Вади Араба (долины, пролегающей от Мертвого моря до Акабы), по которым современные кочевники в своих набегах проникали в Синай и которые некогда служили израильтянам. По Вади Араба они прошли до Джебель Гарун. В этом вади, расположенном среди пустынных плато, пространство между Аин Деффийе и Вади Гадиан весной подобно парку. Тамариск и невысокий кустарник, часто встречающиеся в руслах вади, здесь обладают яркой пышной зеленью и покрывают равнину длинными рядами, подобно живым изгородям. Местами из них поднимаются большие древовидные акации. Иногда встречаются небольшие стоячие водоемы с неприятной для питья водой. К северу от Гадиана с его несколькими ямами воды и песчаной почвой, поросшей кустарником, вплоть до Аин Гарандель долина бесплодна и занесена глубокими песками, в которых растут колоцинты и местами тамариск. Затем, после каменистого участка, Араба достигает пересечения вади и, через несколько миль, открываются изрезанные волны Джебель Гарун. Лоуренс и Дахум перешли по крутой тропе через его склон и оказались в Вади Муса, вблизи от каменного чуда Петры.

Возникающий из неприступных скал,

Город высечен в камне отчаяния,

и красные обломки усилий
покоятся в тишине.
Движение песков омывает углы,
распутья,
раздумья
на берегу глубокой пустыни
одиночества.[7]

Высеченная в красном песчанике Петра была наследницей эдомитянского поселения Села, основанного около 3200-3500 лет назад. Приблизительно в VI веке до Р.Х. ее заселили набатейские арабы, сделавшие ее впоследствии столицей своего процветавшего государства, выступившего на первый план в эпоху угасания царств Птолемеев и Селевкидов (конец II века до Р.Х.). Благодаря защите окружающих скал и не пересыхавшему потоку, Петра занимала выгодное положение как крепость. К тому же она владычествовала над торговыми путями, проходившими через нее в Газу, Босру, Дамаск, к Красному морю и Персидскому заливу.

В 106 году по Р.Х. Римская империя завладела набатейским государством. Несмотря на прекращение местной династии, Петра продолжала оставаться богатым городом. Однако к III веку, когда стало возрастать значение Пальмиры и уже она стала привлекать торговлю, начался закат Петры. В 363 году землетрясение разрушило многие строения и систему водоснабжения. Однако жизнь города не прекратилась, и в том же веке Петры достигло христианство, и одна из скальных гробниц стала служить церковью. В VII веке Петра была завоевана мусульманами, и христианское вероисповедание в ней угасло. Во время Первого Крестового похода ее захватил Болдуин I, и до конца XII века она принадлежала крестоносцам.

Со Средневековья Петра необитаема и, как любой

мертвый древний город, стоит памятником мимолетности и уничтожению. Розовато-серой раковиной открывается амфитеатр, высеченный под стеной скалы. Зияют черные прямоугольные входы в гробницы, вырубленные в красно-розовых утесах. Окаменевшим торжеством высится погребальный монумент Эль-Касне, созданный в I веке до Р.Х. и посвященный обожествленному царю Ободасу I. Его фасад с ровными колоннами и треугольными сандриками, подобный древнегреческим портикам, вырисовывается, как четкий штамп, на сплошной поверхности скалы, и статуи полузабытых божеств взирают с него на руины прежнего величия.

Петра кажется осуществленным только местами замыслом камня, лишь частично проявившимся потенциалом, усилие которого уступает величию природных красок и форм. Именно они восхитили Лоуренса, который столь любил живые цвета и выразительные очертания природы. «Петра, о Лидс, самое удивительное место в мире – не из-за руин, которые скорее дело второе, но из-за цвета скал – красных, черных и серых со штрихами зеленого и голубого, что изгибаются небольшими линиями, – из-за формы утесов, отрогов и пинаклей и из-за удивительного ущелья, где всегда струится глубокая вода и которое полно олеандров, плюща и папоротника и настолько узко, что там может пройти только один верблюд, а длина его составляет пару миль... Я читал множество прекрасно написанных рассказов об этом месте, но даже они не дают никакого представления, тогда как я, уверен, не могу писать столь же изящно, как их авторы. Поэтому ты не узнаешь, что такое Петра, если сам не приедешь сюда. И будь уверен, что пока не увидишь ее, у тебя не будет ни малейшего представления о том, насколько прекрасным может быть это место».[8]

Лоуренс своим восхищением перед очарованием при-

роды, по сравнению с которым творения рук человеческих теряют всякую прелесть, выражает те же чувства, что и Дахум в Каср Ибн Вардани. «Сладчайший из всех ароматов» – чистый воздух, и прекраснейшее из всех творений – сама природа, в котором запечатлен нерукотворный образ Божий. Лоуренс и Дахум были едины в своем мироощущении, а их любовь – одно из явлений наивысшей красоты.

Глава XLII

Возвращение в Кархемиш. – Итоги экспедиции. – Благоприятные перспективы работ. – Сражение местного значения. – Песня грома. – Цветы. – Велосипед в Джераблусе. – Завершение сезона.

Лоуренс и Дахум провели два дня в Маане, ожидая поезд из Медины на Дамаск. Турки, решившие, что не нуждаются ни в чьей помощи, уволили с работы на железной дороге всех иностранных механиков, и составы стали либо ходить неисправными, либо опаздывать и лишь иногда прибывали по расписанию. Этот поезд пришел на тринадцать часов позднее положенного. Через двадцать восемь часов пути Лоуренс с Дахумом прибыли в Дамаск, а оттуда полночным поездом добрались до Халеба. В первых числах марта они были в Кархемише.

Итоги экспедиции не сполна оправдали надежды: следы трехтысячелетней древности исчезли в песках, над которыми поднимались византийские строения, не представлявшие интереса в этих изысканиях. Дарб эль-Шур был пройден от Беэр Шевы до Мувейле. Поскольку из-за ограниченного выбора странникам оставался, как прави-

ло, лишь этот путь, можно было с уверенностью предположить, что именно он был путем патриархов. Общее представление о местности в последующие за временем Исхода периоды было схвачено в пределах возможностей, предоставленных столь поспешным осмотром. Названия мест были тщательно зафиксированы, однако, по мнению Лоуренса и Вулли, на территории постоянных кочевий едва ли могли сохраниться прежние наименования: места обычно назывались по какому-либо заметному, но не всегда долговечному природному признаку или вслед за недавним жителем, что раскидывал там свои шатры. Посещение Аин Кадеис и Аин эль-Кудейрат убедило их в том, что название Кадеш-Барнеа могло относиться ко всему району, включавшему эти два места.

Таковы были научные итоги. Кроме того, Лоуренс приобретел полезный опыт: он фактически произвел рекогносцировку местности, где спустя несколько лет должен был осуществлять свои операции. Следуя по Синаю в поисках истории, он об этом не мог и предполагать: пророком он не был. А что касается его мечтаний об освобождении арабов, то сколь увлекающими бы они ни являлись, это были всего лишь юношеские грезы, для осуществления которых он никогда бы не получил возможности, если бы не разразилась война.

Начало раскопок откладывалось из-за задержки разрешения из Константинополя. Пользуясь свободным временем, Лоуренс вместе с помощниками водружал на место упавшие сотни лет назад хеттские скульптуры и снова занимался ремонтом дома. От анонимного дарителя были получены средства, достаточные для проведения работ в течение пяти лет, поэтому археологи готовились к длительному пребыванию в своем экспедиционном жилище: покрывали крышу асфальтом, цементировали пол, приобрели два стола, стулья, скатерти и прочее.

Важность раскопок в Кархемише была теперь общепризнана. В январе 1914 года Хогарт писал в “Illustrated London News,” что они «оказались самым масштабными и во многих отношениях самыми важными и плодотворными из всех раскопок, что были организованы [Британским Музеем]». Новый сезон работ был начат 22 марта.

В конце марта произошло восстание рабочих, нанятых немцами. Между черкесами и курдами разгорелся спор об оплате, вызвавший у курдов вспышку негодования по отношению к инженерам. Между спорившими началась перестрелка. Лоуренс и Вулли, услышав из дома шум, выскочили на улицу и едва не оказались под огнем, когда один из черкесов попытался выстрелить в них, но промахнулся. На вершине холма, где находились археологи, собрались около трех сотен человек, по большей части курдов с ружьями, которые хотели отомстить строителям железной дороги за свои прежние недовольства. Лоуренс с Вулли смогли их остановить. В ходе перестрелки один человек был убит и двадцать ранены.

Немецкий консул обратился к археологам с просьбой восстановить мир между инженерами и курдами. Археологи указали на то, что, во-первых, необходимо выплатить компенсацию родственникам погибшего и раненым; во-вторых, все черкесы, один из инженеров и служащий, выдававший зарплату, должны уйти; в-третьих, около дюжины курдов должны отныне следить за выдачей платы своим соплеменникам. Консул принял все условия. Лоуренс и Вулли переговорили с Бусрави, который затем отправился к этому консулу и подписал «мирное соглашение». В официальных кругах высоко оценили посредничество археологов.

В апреле раскопки посетил, среди прочих, библиотекарь Бодлеанской Библиотеки А.Э. Каулэй с женой. Для

них Лоуренс и Вулли пригласили двух курдских музыкантов. Было очень холодно, и после обеда хозяева и гости расположились около жарко пылавшего очага, где весело горели оливковые поленья. «Один из музыкантов был стариком, что всю свою жизнь пробыл пастухом, – рассказывал Лоуренс. – У него была длинная белая борода и спокойное обветренное лицо. Он играл на свирели примерно в два фута длиной, сделанной из тростника, но выглядевшей, как полированная медь. Она издавала хриплый, однако похожий на флейту звук и обладала удивительным диапазоном: от высоких до очень низких нот, которые звучали словно ветер, блуждающий над скалистыми холмами и шуршащий в высохшей траве долин. Другой был более молодым человеком, игравшим на двухструнном инструменте. Он был темным, с тонким лицом и очень глубоко посаженными глазами. Я думаю, он был незрячий. Во всяком случае, он обернул объемный тюрбан и головное покрывало надо лбом, чтобы его лицо всегда оставалось в густой тени, и, когда пел, обычно держал глаза закрытыми.

Они играли и пели курдские военные и любовные песни и погребальные плачи около получаса, когда вдруг разразилась гроза. То был шквал проливного дождя, который свистел полосами и громко стучал по булыжнику в нашем дворе, словно поступь огромной толпы. Затем ударил гром, – и тотчас последовала голубая вспышка молнии, что сделала нашу открытую дверь и окно синеющими провалами в черной как смоль стене, через которые мы уловили странные образы скульптур на улице, сиявших в дожде и ярком свете. Я особенно запомнил семифутовую фигуру божества в шлеме, широко шагавшего через надпись в сторону дверного проема, и разомкнутые челюсти двух львов, изображенных на пьедестале, которые, как казалось в сменявшихся блеске и тени вспышек,

ухмылялись на нас в окно.

Музыканты не остановились, но сменили свою песню на неистовую импровизацию в ритме грозы. Свирель пронзительно звучала всякий раз, как раздавался раскат грома, и снова затихала медленно и тяжело на промежутки напряженной тишины. Невозможно представить, что они играли независимо: настолько ритм казался рожденным из порывов ветра и дождя, настолько связывал элементы ночи в одну великую песню грома. Все это длилось, предполагаю, около десяти минут, но, уверен, что это было моим самым удивительным временем. И когда все закончилось, то закончилось внезапно – без медленного удаления бури в даль и незначительность».[1]

Этой весной, как и прошлой, Лоуренс с Дахумом дважды в неделю плавали на каноэ за цветами. Всю гостиную украшали букеты: из раннехеттского горшка, стоявшего на трех ножках, выглядывали маргаритки, в позднехеттской каменной чаше располагались розы, а в финикийской базальтовой ступке росли незабудки.

В мае был доставлен из Англии велосипед для Дахума. «У Дахума страсть к скорости, но эта местность и ее дороги мало подходят для этого. Как бы то ни было, это полезная вещь, и мы часто пользуемся ею, чтобы съездить на станцию и т.д. Он использует велосипед только для езды между своими селениями, никаких путешествий еще не совершал»,[2] – писал Лоуренс 17 мая.

3 июня раскопки, как всегда, приостановили на время летней жары. Среди находок этого сезона были цилиндрические печати, плита и колонна с надписями, а также бронзовые ножные латы хеттского воина. Лоуренс собирался в Англию на три недели, чтобы завершить работу над отчетом о синайской экспедиции, получившим название “The Wilderness of Zin.” Немалая часть уже была написана, совместно с Вулли, однако теперь требовались

материалы из библиотек... Странной кажется издали жизнь в преддверии конца – словно детская беззаботная игра на краю пропасти. Еще немного – и все, что казалось важным, потеряет свое значение, и останется только основное – острое в своей внезапной оголенности.

Глава XLIII

Мир накануне Великой войны

Теперь ненадолго отвлечемся от солнечного Кархемиша и еще беззаботного Лоуренса и окинем взглядом предвоенный мир: каким он был накануне катастрофы?

Весьма бестревожным: научно-технический прогресс, создание разнообразных международных организаций, экономическое спокойствие создали удивительно благоприятную обстановку, которая уже сама по себе, казалось могла предотвратить какой бы то ни было конфликт.

В конце XIX века начался активный подъем экономики, что два десятилетия находилась в состоянии депрессии после краха в 1873 году Австрийского банка и падения цен на нефть и промышленные товары, и к 1914 году сложилась прочная финансово-экономическая система, основанная на коммерческой взаимозависимости. Происходил бурный рост производства. Уже с конца века существовали такие новые виды продукции как электротовары, двигатели внутреннего сгорания, новые нефтепродукты. Расширение колониальных владений Англии, Франции, Германии и Италии вовлекло в сферу международного рынка жителей Азии и Африки как поставщиков и потребителей сырья. Открытие новых месторождений драгоценных металлов благотворно повлияло на систему кредита. В Европе были предприняты меры по улучшению условий труда – например, сокращение рабочего дня и запрет на использование детского труда.

Превалирование тоннажа паровых судов над тоннажем парусных, наблюдавшееся в конце XIX века, привело к расцвету морского транспорта и торговли с заокеанскими странами. Тогда же бурно развивалось строительство железнодорожной сети. С 1890 по 1913 год длина железных дорог в Европе увеличилась с 31 000 км до 71 000 км.

Происходил заметный демографический подъем. Так, с 1880 по 1910 год население Великобритании возросло на 26%, Германии – на 43%, России – более чем на 50%.

В результате научно-технического прогресса и активизации экономики возникла необходимость урегулировать международные отношения в различных областях. В 1873 году был учрежден Международный радиотелеграфный союз, в 1875 году появился Международный почтовый союз, в 1890 году – Европейский таможенный совет. В 1880 году были заключены первые соглашения по охране авторских прав. В 1882 году было заключено международное соглашение о соединении железных дорог на границах. В 1883 году была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности.

Во второй половине XIX века и в начале XX был подписан ряд соглашений, касавшихся международно-правовых норм войн. В 1864 году ряд европейских государства подписали Женевскую конвенцию, которая устанавливала необходимость ухода за больными и ранеными, попавшими в плен, и неприкосновенность санитарных учреждений и учредила положение о Красном Кресте. В 1868 году в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о запрете на использование снарядов большой разрушительной силы и автоматического оружия. В 1899 году в Гааге состоялась конференция, задачей которой было ограничение вооружений и обеспечение мира. На ней, в частности, были подписаны декларации, запрещавшие употребление снарядов, распространявших удушающие газы, и применение разрывных пуль.

При всем этом сотрудничестве и развитии пятном оставалась религиозная рознь. Она нелепа, даже если существует между представителями разных религий, так как кто дает право одному судить убеждения другого, вос-

принятые от отцов? Нет «правых» и «неправых» религий, есть – *различные*. Но, когда вражда возникает внутри одной конфессии, распавшейся на разные ветви, это превосходит всякую критику. Христианская Церковь, чей фундаментальный принцип – быть единой, дробилась веками, самый сокрушительный удар был нанесен Реформацией. Для римско-католической церкви протестанты стали схизматиками и еретиками. А те, в свою очередь, невзлюбили папство – и друг друга. В начале XX века это противостояние было немного скрыто благотворительностью и миссионерской деятельностью.

В значительной степени европейцев сплачивала культура – область единения и духовности, только благодаря которой цивилизация может называться таковой. Наследие великих писателей, поэтов, композиторов было известно не только на родине, но и за ее пределами, а университеты давали схожее образование и, следовательно, равные знания и общность взглядов. И, что важно, образование в европейских университетах было доступно многим. О. Мандельштам, сын еврейского разночинца, учился в Гейдельберге, а в шестнадцать лет слушал в Париже лекции Анри Бергсона. Б. Пастернак, происходивший из артистической семьи, получал образование в Марбурге. Михаил Кузмин изучал церковную музыку в Италии.

В начале XX века было легкодоступным перемещение из одной страны в другую. Если в предыдущем веке зарубежные поездки предпринимали, как правило, по делам, то теперь стали выезжать и на отдых. Этому способствовало развитие железнодорожного сообщения и создание сферы услуг, доступных представителям среднего класса. Постепенно обычными стали поездки в Италию, на склоны Альп, на северное побережье Средиземного моря, в Париж, Карлсбад и Мариенбад. Италия с ее благоприятным климатом была местом отдыха, творческой работы или лечения для представителей русской интеллигенции. Когда у матери Марины Цветаевой обнаружили чахотку, врачи предписали ей лечение в Италии, и она провела там полтора года. З. Гиппиус и Д.С. Мережковский ездили в Италию лечить бронхиты. Мережковский пользовался

итальянскими библиотеками при работе над своими произведениями, и книги ему там подвозили буквально тележками.

Люди творчества пользовались уважением, а их работы – вниманием. Например, сколь легко было издать книгу в России начала прошлого века!.. Марина Цветаева в 1910 году, еще семнадцатилетняя, «собирает свои стихи пятнадцати-семнадцати лет и издает “Вечерний альбом” – это было просто, нужно было только заплатить за печатание [скромную сумму!]».[1] И «эта книга имела по выходе большой успех. Ее приветствовали в Москве М. Волошин в “Утре России” и В. Брюсов в “Русской мысли,” в Петербурге – Н. Гумилев в “Аполлоне” и в далеком Ростове-на-Дону начинающая поэтесса Мариэтта Шагинян в газете “Приазовский край”».[2] Михаил Кузмин в 1905 году дебютировал в «Зеленом сборнике стихов и прозы», а в год спустя опубликовал стихи в журнале «Весы», и все это принесло ему признание.

Существовали разнообразные творческие объединения, велись поэтические дискуссии, издавались журналы, книгоиздательства нередко являлись центрами литературной и умственной жизни, издание книги было доступным, а сама книга – замечалась. Талантливое произведение было *событием*, а его создатель – достойным внимания и восхищения, ибо было кому проявить это внимание: немало было тех, для кого культурная действительность являлась жизнью.

... Блаженное время! – когда существовала возможность и учиться, и заниматься творческим трудом, и отдыхать. Политический коллапс июля 1914 года навсегда положил конец благоденствию.

Глава XLIV

Причины Первой Мировой войны. – Гибельное решение.

Первая Мировая война, разразившаяся как гром среди ясного неба европейской стабильности, оказалась чудовищным следствием политической бездарности. Здесь не было ни идеи и цели, как, например, во Вторую Мировую, ни неизбежности. Противостояние разрослось из зародыша небольшого локального столкновения, неосторожное вмешательство в которое вызвало цепную реакцию из-за взаимосвязи государств, соединенных заключенными ранее соглашениями.

В начале XX века в Австро-Венгрии получило развитие националистическое движение славянских народов, вдохновителем которых была Сербия, что завоевала независимость в ходе борьбы с Оттоманской Империей и стремилась объединить всех балканских славян. Идея объединения вела некоторых ее наиболее радикально настроенных приверженцев на путь террора. Одним из его актов стало убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, произошедшее в боснийском Сараево 28 июня 1914 года. Было установлено, что террористы получили оружие в Сербии, а перейти границу им помогли сербские пограничники. Это позволило Австро-Венгрии рассматривать Сербию как угрозу целостности Империи и показало необходимость применения силы для подавления антиавстрийских настроений. Австро-Венгрия могла начать военные действия, не опасаясь вмешательства какого-либо государства, кроме России, что поддерживала дружественные отношения с Сербией. Последняя возможность и заставила Австро-Венгрию заручиться поддержкой Германии: подвергаться риску вести войну на два фронта было бы крайне неосмотрительным.

Большую часть июля правительство Австро-Венгрии размышляло, какую тактику избрать в отношении Сербии: начать войну или направить ноту. Было выбрано второе. В ноте, что была вручена 23 июля, требовалось

пресечь антиавстрийские выступления и позволить провести расследование убийства эрцгерцога. Сербия, по размышлении, уже была готова принять все условия, как вдруг 25 июля пришло известие, что Россия целиком на ее стороне и готова к мобилизации войск для защиты родственного народа. Сербия вспомнила о национальной гордости и отказала Австро-Венгрии в одном из пунктов – в допуске к расследованию. Таким образом, если бы не опрометчивая солидарность России, было бы возможно избежать даже *локального* военного конфликта.

28 июля в Австро-Венгрии началась частичная мобилизация, причем приказ не касался войск, расположенных у русской границы, чтобы не провоцировать активных ответных действий. Кайзер Германии Вильгельм II призывал царя Николая II не вмешиваться в австро-сербский конфликт. Его призыв был услышан, и приказ о полной мобилизации отозван. Однако на мнение царя влияли министр иностранных дел, военный министр, начальник генштаба и французский посол в Петербурге, которые считали мобилизацию необходимой. В частности, существовало опасение, что, если Россия потеряет влияние на Балканах, турки могут предпринять попытку закрыть черноморские проливы, имевшие немалое значение для связи России с союзниками.

Поэтому 31 июля Николай II подписал указ о полной мобилизации армии. В тот же день аналогичный указ был подписан в Австро-Венгрии. Германия отправила Николаю II ультиматум с требованием немедленно прекратить мобилизацию. Однако ответа не последовало, и 1 августа Германия объявила России войну. Далее пошла цепная реакция: франко-русская конвенция 1892 года предусматривала совместное выступление Франции и России против Германии в случае нападения последней на одно из этих государств. Соответственно, в войну вовлекалась Франция, и 2 августа она также начала мобилизацию.

Англия, связанная с Францией «сердечным соглашением», согласно которому могла при желании оказать ей поддержку, до конца не имела ясного представления о том, как действовать. 2 августа состоялось заседание каби-

нета министров, на котором было принято решение объявить войну Германии лишь в том случае, если она нарушит нейтралитет Бельгии, определенный трактатом 1839 года, и оказать поддержку Франции, прикрыв ее побережье Ла-Манша силами Королевского флота.

Утром 4 августа немецкие войска начали вторжение в Бельгию. Англия направила Германии ультиматум с требованием очистить бельгийскую территорию. Ультиматум был проигнорирован, и Англия объявила Германии войну.

6 августа Австро-Венгрия объявила войну России, 10 августа получила объявление войны от Франции и 12-го – от Англии. Увлекшись ультиматумами, объявлениями и мобилизацией, державы забыли о первопричине конфликта. В Сербии военные действия начались лишь спустя четырнадцать месяцев.

По мере развертывания событий, когда военные планы приводились в действие, политики не могли точно спрогнозировать, какое развитие эти события получат. Равно, как это затруднялись предугадать и дипломаты. Только два человека верно оценили обстановку: французский посол в Берлине Жюль Камбон и английский посол в Петербурге Джордж Бьюкенен. Так, последний предупреждал русских, что мобилизация вызовет цепную реакцию и, как результат, – начало военных действий. Но что могли сделать послы?

Первая Мировая война стала следствием политической недееспособности, нашедшей проявление в принятии скоропалительных решений и в несогласованности действий конкретного государства с какими бы то ни было попытками других предотвратить конфликт. Например, 26 июля министр иностранных дел Англии Эдвард Грэй предложил созвать международную конференцию для обсуждения положения и разработке программы по урегулированию конфликта, но его предложение одобрили только французы.

Никто не хотел войны, но и никто не мог ее предотвратить в обстановке всеобщей несогласованности. Война оказалась неудачным решением политической задачи.

ЧАСТЬ III

1914 – 1916

Глава XLV

Время смерти

Это время во всполохах боли –
Как в зрачке остановленный страх.
Голос крови на взорванном поле
Застывает на мертвых губах.

И в пространстве, разбитом, как стекла, –
Легкой гибели жадная суть.
... Сквозь века мимо слепнущих окон
На распятие Брата ведут.[1]

История человечества – нанесение каинова удара: братоубийство, повторяющееся сквозь время, как толчки крови из пронзенного сердца. Несмотря на всевозможные различия, мы все братья в Боге – признаем мы Его или нет. И так же, как нелепа гражданская война, в которой более всего явлена братоубийственная суть кровавой распри, так же нелепо любое другое вооруженное противостояние, ибо в каждом человек убивает человека: Каин возносит нож над Авелем.

Территориальный спор, одержимость безумной идеей, удар в ответ на оскорбление, грубая сила вместо переговоров – какими бы ни были причины войн, нет причин правых. Только восстание как приступ отчаяния угнетенного народа имеет оправдание. Все остальное – неистовство разъяренного зверя.

В ненависти распахивается небытие, и каждая война –

его волна. Самое чудовищное – в повторяемости этих волн смерти, бо́льших или меньших, всегда несущих после себя легкое забвение боли, несмотря ни на какие жертвы и разрушения. Человек продолжает убивать человека, ибо не в состоянии убить в себе зверя.

Гибельный зародыш ненависти таится в крови, готовый в любой момент толкнуть на убийство. Зверь инстинкта владеет человеком, лишенным духа, и конца этому нет. Цивилизация сохраняет ту же сущность, что и древние сообщества: ярость. Но эта ярость страшнее, ибо развита: убийство стало продуманным, рассчитанным, изощренным, а усовершенствование оружия уничтожения оказалось неотъемлемой частью развития.

Человечество веками училось убивать, поэтому оно не умеет жить. Жизнь подразумевает человечность, и лишь совокупность тех, кто обладает ею, может быть названа цивилизацией.

Жизнь есть любовь, но мир ее отверг. «Свои не приняли» – и совершили самоубийственное Братоубийство, смертью прокатившееся по земным долинам.

В каждой насильственной гибели, в каждом деянии ненависти повторяется распятие Спасителя: *с каждым страдающим страдает Христос.*[2] Весь мир – Голгофа, и миг Его смерти – время истории.

Жертвой Христа был отвращен гнев Божий, но в человеке ничто не изменилось. На Кресте животворящее Слово вобрало в Себя всю боль мира, – и Его смысл не был понят.

Глава XLVI

Лето 1914 года: Неизвестность. – Патриотический всплеск. – Ожидание Лоуренса. – Последняя встреча.

В середине июня Лоуренс приехал в Англию и приступил к работе над отчетом. Июльский политический кризис едва ли мог вызывать у него, как и у других, серь-

езные опасения, но в начале августа ему стало ясно, что всему пришел конец. Война! – ударило в воздухе первым разрядом надвигавшейся грозы. Тяжелое, неправдоподобное, невозможное – и все же было только оно, и ничего больше.

Кархемишское счастье, которое только что было настоящим Лоуренса, отступило в прошлое; жизнь, бывшая определенной и обозримой, стала неизвестностью. Неизвестность: насколько мучительной она была для него!..

А вокруг даже теперь, когда полмира находилось в состоянии войны, мало кто понимал, что может быть завтра. Жуткое веселье патриотического подъема охватило Лондон, Париж, Берлин, Петербург, Вену. Манифестации, шествия, флаги, пение гимнов, возгласы во славу отечества: казалось, никто не думал о гибели, но только о величии своей родины, подвиге, славе, жизни... Даже проводы новобранцев были отмечены ликованием патриотизма и радужной верой в победу и скорое возвращение. Тысячи обреченных шли на смерть, как на праздник, рассчитывая вернуться «до первого листопада»... В Англии наплыв добровольцев был столь велик, что пришлось повысить требования, увеличив норму роста.

Брат Лоуренса Фрэнк записался в 3-й Глостерширский полк, а Уильям, который находился тогда в Индии, мог только сожалеть о том, что остается в стороне. Он принял решение вернуться домой весной, чтобы отправиться на фронт, хотя был готов сделать это тотчас. Продолжая преподавать, он испытывал нелепое чувство вины оттого, что не может выполнить свой «долг». То был порыв вслепую: встать на защиту родины в отечественной войне – одно, но рваться в бессмысленную битву на чужой земле – для этого надо лишиться способности мыслить, лишиться памяти о близких. Однако для Уильяма преувеличенно патриотическая абстракция оказалась дороже людей, которым он был нужен.

Томас отличался бо́льшим здравомыслием и держался поодаль от гибельного переполоха, ожидая своего часа: «Я могу делать больше, чем сражаться, и больше, чем это полезно». Он думал о Сирии и представившейся возмож-

ности освобождения арабов от турецкого ига. Среди мирового безумия бессмысленной войны только это могло заслуживать усилий и быть «более чем полезным» – необходимым. К тому времени в юношеской мечте об освобождении народа от рабства понятие народа персонифицировалось, и давнее стремление приобрело новый смысл, став оправданным и рациональным. Лоуренс хотел сделать Дахуму «приятный подарок», как он уменьшительно и трогательно называл свое грандиозное предприятие.

Однако в то время, как Европа безумствовала, на Востоке почти ничего не изменилось, и Лоуренс мог только надеяться, что рано или поздно Турция вступит в войну. Но даже если бы этого не произошло, во Франции он вряд ли бы оказался.

Дахум наверняка знал о разразившейся буре и мучился неизвестностью их будущего не меньше, чем Лоуренс. Они прощались на несколько недель, после чего счастье совместного бытия должно было возобновиться. А теперь чего можно было ожидать?..

Приблизительно в середине августа Лоуренс вернулся в Кархемиш. Это мы узнаём из единственного источника – домашнего письма Уильяма от 23 сентября: «Возвращение Нэда в Кархемиш меня несколько удивило. Турция мобилизовалась по всей Сирии, и раскопки будут нелепы. Возможно, существует политический мотив. Ведь нам следует получить некоторые сведения о Багдадской железной дороге». Когда читаешь эти слова, поражает не открывшийся факт, возможность которого предполагал сам, исходя из логики вещей – взаимной привязанности Лоуренса и Дахума, но незнание Уильямом своего брата. Он удивляется, поскольку ему неизвестно о значении для Томаса Дахума – сущности его жизни, в противном случае неожиданное возвращение Уильям воспринял бы как само собой разумеющееся.

Время пребывания Лоуренса в Кархемише неизвестно. Он выехал не ранее второй декады августа, а 18 сентября (дата одного из писем) уже был в Оксфорде. Дорога до Сирии в мирное время занимала двенадцать дней, теперь могли быть (но не обязательно были) задержки:

таким образом, только путь требовал около четырех недель. Из указанного отрезка остается несколько дней.

Несколько дней обреченной близости вместо продолжающегося счастья. Пока не было войны, Лоуренс не собирался покидать Восток, и его отношения с Дахумом вполне могли бы длиться всю жизнь.

Но даже теперь он едва ли считал их закончившимися: впереди был лишь неопределенный период разлуки, после которой могло наступить воссоединение. Эта иллюзорная возможность осталась, как силы жить, – и жизнь отныне будет направляться Дахумом, который станет идеей...

Когда-то, едва познав теплоту Дахума, он уже не хотел от него отрываться и беспокоился о том, продолжатся ли раскопки. Волнение закончилось и: «Я на седьмом небе – или где-то поблизости». Уезжая в Англию, спешил вернуться: страшно было лишний день провести врозь. На Востоке они не расставались: округ Кархемиша, Халеб, Джебейль, Александретта, Синай – Дахум повсюду сопровождал Лоуренса. Они работали рядом на раскопках, спали в одной палатке (и в доме, когда не было Вулли): мгновение разлуки казалось неестественным состоянием. Они были одно, были своим осуществленным стремлением, своей любовью. Это Дахум, еще невстреченный, звал когда-то Лоуренса на Восток, став его желанием, явленным из арабской истории, из грез о Крестовых походах, из лазурных волн Средиземного моря, что приносили сияющие впечатления от далеких берегов... Сквозь всю юность Лоуренса нарастало их бытие, чтобы на вершине своего крещендо открыть счастье братства. И для Дахума, который с самого начала потянулся к Лоуренсу, с готовностью согласившись на его импровизированные уроки, он тоже, может быть, был неясным образом друга из томящих мечтаний...

Теперь словно тяжелое лезвие упало между. Они и прежде знали, как нужны друг другу... Однажды смешанная кровь, однажды слившиеся души: теперь разрывалось живое. Оставалась надежда.

... Последней ночью ласкали друг друга, словно запо-

миная на ощупь, в ранящей сладости последнего раза. И раньше едва ли могли насытиться близостью – сквозь преграду тел, а в эту ночь перед концом тем более. «Мой любимый, мой брат...» – должно быть, шептал Лоуренс Дахуму – живому, родному, жаркому от близости, всем существом ощущая его, как радость. Раствориться бы в этом тепле, как в блаженном забвении мира!.. И светлейший, сладчайший миг слияния – сквозь все сумерки земные, радость иного бытия – сквозь тоску земли.

Дахуму было восемнадцать лет, Томасу двадцать шесть, но они выглядели ровесниками, а их юная красота еще не была затронута никакой болью. Еще не открылась грязь мира глазам Лоуренса, что так часто созерцали Дахума в его обнаженности, как в дарении всего себя. Они еще были полны теплоты друг друга, а завтра должны были стать только памятью.

... В последний раз взглянули голубые глаза в черные, как ясное небо в темноту вод, – и закончился сотворенный любовью мир.

Глава XLVII

Зачисление Лоуренса в Географический отдел. – Первые обязанности. – Произведение в лейтенанты. – «Идеальный офицер». – Вступление Турции в войну. – «Урок смирения». – Под поверхностью рутины.

Лоуренс никогда уже не стал прежним. Духовная основа – вера, аскетизм, теплота – сохранились на всю жизнь, но все вторичное, оболочка духа, – живость, внутреннее горение, задор – постепенно сошло на нет. Его молодость (удивительно долгая физически) духовно кончилась в двадцать шесть лет, с началом войны, оказавшимся для него началом того гибельного уставания, от которого в этой жизни нет отдохновения.

Осенью томительный период бездействия и ожидания завершился. Лоуренс написал к Ньюкомбу, спрашивая его

совета относительно получения работы на военной службе. Ньюкомб упомянул о нем в разведывательном управлении, и тот был включен в списки кандидатов. Затем Лоуренс обратился к Хогарту, имевшему влияние в Королевском Географическом обществе, с просьбой посодействовать. Хогарт также нашел, что Географический отдел Военного министерства является наиболее подходящим местом, и закулисно переговорил о Лоуренсе, после чего предложил ему зайти в Министерство к полковнику К. Хэдлею (стоит заметить, что позднее Хэдлей утверждал, что не помнит, чтобы с ним кто-либо заранее говорил о Лоуренсе).

Хэдлей был немало удивлен, когда перед ним предстал мальчик лет восемнадцати, в сером спортивном костюме и без шляпы. Однако достаточно было узнать его фамилию, чтобы всякие сомнения рассеялись: Хэдлею было хорошо известно о работе Лоуренса на Синае, и он охотно принял его на службу. Знание Востока, которым обладал Лоуренс, было его лучшей рекомендацией, без которой не помогло бы ничье посредничество, – если бы оно было вообще.

В Географическом отделе существовала острая потребность в работниках, поскольку служившие там офицеры были отправлены на фронт. Оставался только капитан Нэджент, который тоже собирался во Францию. Он спешно проинструктировал Лоуренса о его обязанностях и отбыл. В отделе остались только Лоуренс и Хэдлей. Одним из первых дел Лоуренса было завершение карт Синайского полуострова, которые следовало добавить к картам Палестины, проверенным и опубликованным Палестинским Исследовательским фондом вместе с картами Синайского полуострова, подготовленными Географическим отделом.

Свою службу Лоуренс начинал как штатский, но 26 октября был произведен в младшие лейтенанты (без прикрепления к определенному полку) – после того, как произвел сильное впечатление на Генри Роулинсона, недавно назначенного командующим новыми экспедиционными силами, предназначенными для оказания по-

мощи бельгийской армии. Лоуренс зашел в его кабинет, чтобы показать только что отпечатанные карты Бельгии, и Роулинсон, потрясенный гражданским обликом этого юноши, воскликнул: «Я буду разговаривать с офицером!» И Лоуренса пришлось зачислить в кадры – без формальности медицинского осмотра.

Лоуренс, умевший использовать свои знания и выполнявший любую работу так хорошо, как только мог, проявил себя гораздо более квалифицированным в новом деле, чем от него ожидали. Его работоспособность и старание были таковы, что он мог бы работать ночи напролет, если бы его не удерживали. Спустя несколько недель, когда Хэдлея спросили о том, как обстоит дело с новым сотрудником, он шутливо ответил: «Теперь он руководит вместо меня всем моим отделом». Хэдлей должным образом оценил Лоуренса и рекомендовал его начальнику оперативно-разведывательного управления как «идеального офицера» для разведывательной работы в Египте.

29 октября Турция вступила в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии. В конфликт она была вовлечена Германией, пообещавшей восстановить ее власть над Египтом, который хотя и оставался юридически частью Империи, но с 1882 года находился под управлением британского «агента» с полномочиями от правительства. Лоуренс писал: «Мне хотелось бы каким-нибудь образом воздать Германии за то, что она так бесстыдно втянула Турцию в войну».[1] Из-за возникшей угрозы Египту и, самое главное, Суэцкому каналу было решено усилить разведывательную службу в Каире. Для отправки туда были выбраны Ньюкомб, отозванный из Франции, Ллойд-Джордж, Обри Герберт, Вулли и Лоуренс. Лоуренс узнал об этом к середине ноября. Однако его отбытие было задержано тем, что его попросили написать отчет о синайских дорогах. «Я думал убить одним выстрелом двух-трех зайцев – и предложил “Пустыню Син.” Ее приняли и попросили еще. Так что я пишу отчет с военной точки зрения о местности, которую не знаю и еще не посещал. Один из меньших ужасов состоит в том, что позднее мне придется взять свою собственную книгу и следовать через эту

местность по ней. Думаю, это станет уроком смирения».[2]

Лоуренс не без юмора отзывался о своей работе в Географическом отделе и 16 ноября писал Лидсу: «Полагаю, что моему преемнику потребуются месяца, чтобы справиться с эффектом моих официальных писем по нескольким случаям. Сегодня он отправился в Саутгемптон умиротворять Артиллерийскую разведку после того, как я раскритиковал их предположение о пути Исхода». В письмах он еще сохранял некоторую долю своей веселости.

А под рутинной поверхностью жизни билось живое сердце, сжимаясь от самой тяжелой для Томаса неизвестности: что будет с Дахумом, что будет с их братством?.. Работа позволяла забываться, но дождливыми вечерами и особенно по ночам, конечно, являлись воспоминания, как обрывки недавнего солнечного сна. Они были еще слишком близкими, чтобы можно было поверить в безвозвратность радости, и слишком яркими, чтобы можно было не слышать в тягостном шуме дождя свой внутренний, скрытый от мира, плач... А с фотографии смеялся Дахум – в остановленном счастье их близости. Все счастье стало этой фотографией.

9 декабря Лоуренс отправился в Египет.

Глава XLVIII

Турция в войне. – Опасности для Британии на Востоке. – Каирский штаб. – Деятельность Лоуренса в штабе. – Тщета. – Тревоги. – Западный фронт осенью 1914 года. – Потери в 1914 году. – Невстреча. – Тоска по дому.

Вступление Турции в войну создало новые фронты. Ее участие было весьма выгодным для Германии и Австро-Венгрии, поскольку Черное море, через которое Россия могла снабжаться припасами, оказалось запертым. Благодаря этому возникала возможность прикрыть выход на Балканах, а также надеяться на отвлечение английских и русских сил. «Сама Турция была чрезвычайно уязвима,

так как, образно выражаясь, ее голова и шея, расположенные на краю Европы, находились в опасности быть отрезанными, а ее распростертое в Азии тело было предрасположено к параличу».[1] Слабость Турции заключалось в растянутости и уязвимости железнодорожной сети и в мятежных настроениях населения, особенно арабов.

Союзники, строго следовавшие принципу Клаузевица о сосредоточении всех усилий на главном театре против главного врага, не успели воспользоваться слабостью Турции и дали ей время на укрепление. Таким образом, в попытке сохранить свои силы, не вступая в борьбу с «незначительным» противником, они теперь должны были расточать их на оборону от него.

Для Великобритании зонами особого внимания были Суэцкий канал – жизненная артерия, связывавшая с Индией, – и регион Персидского залива, где находилась Англо-Персидская нефтяная компания, признанная стратегически важной как поставщик топлива для нового поколения дредноутов с нефтяным отоплением котлов.

Когда со вступлением в конфликт султан Мехмед V объявил «священную войну», он подсказал хедиву, номинальному вице-королю Египта, подтвердить свою лояльность Турции. Великобритания немедленно упразднила его кабинет и объявила протекторат, что вызвало возмущения в египетском обществе, которые быстро угасли, так как были бесполезны, когда вся власть сосредотачивалась в руках протектора, а коммерческая жизнь зависела от эмигрантов из Великобритании, Италии, Франции и Греции. К тому же Египет был запружен войсками – как направлявшимися на Западный фронт из Индии, Австралии и Новой Зеландии, так и присланными из Великобритании на замену регулярного гарнизона Суэцкого канала, отправленного во Францию. К январю 1915 года их общая численность составляла семьдесят тысяч.

В конце декабря Лоуренс начал службу в Каирском отделе разведки. Отдел возглавлял Гилберт Фокингэм Клейтон (1875–1929). «Он был спокойным, отстраненным

и прозорливым человеком, обладавшим бессознательной смелостью в принятии на себя ответственности. Своим подчиненным он предоставлял свободу. Его взгляды были общими, равно как и знания, и он действовал скорее посредством своего влияния, чем прямого руководства. Его влияние нелегко описать. Он был подобен воде или просачивающемуся маслу, проникая молча и упорно во все. Невозможно сказать, где Клейтон был, а где нет, и сколь многое в действительности принадлежало ему. Он никогда не вел видимым образом, но его идеи всегда были на первом месте у тех, кто вел. Он производил впечатление своей умеренностью и некоей спокойной и величественной сдержанностью надежды. В практических вещах он был свободным, не придерживавшимся правил, небрежным: человеком, с которым могли ужиться независимые люди»,[2] – так описывал его Лоуренс. Кроме названной должности, Клейтон являлся агентом в Судане и начальником политической разведки.

Далее по значимости следовал Рональд Сторрс (1881–1955), секретарь по делам Востока в английском агенстве в Каире, правая рука Верховного комиссара Египта Генри МакМагона, «самый блестящий англичанин на Ближнем Востоке»,[3] обладавший знанием музыки, литературы, живописи, скульптуры. «Его тень покрыла бы нашу работу и британскую политику на Востоке подобно мантии, если бы он был способен отречься от мира и подготовить свой разум и тело с твердостью атлета для великого сражения»,[4] – заключал Лоуренс.

Немаловажную роль играл капитан Обри Герберт (1880–1923), прежде бывший путешественником и членом Балканской Лиги. Он был незаурядной, даже эксцентричной личностью; владел турецким, албанским, итальянским, немецким, арабским и французским языками, как родным английским.

В начале службы Лоуренса в Каире его сослуживцем был Ллойд Джордж (1879–1945). «Он придал нам уверенности и, со своим знанием финансов, оказался верным проводником по подземным путям торговли и политики, а также пророком будущих артерий Ближнего Востока».[5]

Еще одним членом штаба являлся Марк Сайкс, получивший у Лоуренса такую характеристику: «Собрание предрассудков, интуитивных догадок и полузнаний. Его идеи происходили извне, и ему недоставало терпения проверить материал, прежде чем выбирать свой стиль строения. Он обычно принимал во внимание один из аспектов правды, отделял его от обстоятельств, раздувал, поворачивал и моделировал, пока прежнее подобие и новое отличие не начинали вызывать смех, – и смех был его триумфом. Его инстинкты лежали в пародии, по своему выбору он был скорее карикатурист, чем художник, даже в государственных делах. Он видел во всем странное и упускал простое. Он обычно набрасывал несколькими мазками новый мир, весь вне пропорций, но живой, как видение некоторых сторон того, на что мы надеялись».[6]

Там же служил Хогарт: «Он был нашим арбитром и неутомимым историком, который предоставлял нам свои огромные знания и осторожную мудрость даже в самых малых вещах, поскольку он верил в то, что мы делали».[7]

Главнокомандующим был генерал Арчибальд Мюррей (1860–1945). В первоначальном варианте «Семи столпов мудрости» Лоуренс описал его беспощадно: «Завистливый, язвительный, со скверным характером, злобный, умный, быстрый и ограниченный».

Главным источником информации о турецкой армии являлся бывший корреспондент «Таймс» Филип Грэйвс, сводный брат поэта Роберта Грэйвса. После балканской войны он начал наблюдать за последовавшей реорганизацией турецкой армии, досконально изучая методы и людей, так что ко времени вступления Турции в мировую войну стал квалифицированным военным экспертом. Лоуренс с его знанием простого населения Империи и сведениями о тайных революционных обществах арабов был прекрасным дополнением к Грэйвсу. Главной обязанностью Лоуренса была подготовка карт, но, кроме этого, он помогал Грэйвсу в составлении «боевого расположения» – документа, где указывалось расположение раздробленных и потому чрезвычайно трудноуловимых неприятельских частей. Информацию об их местонахожде-

нии получали из агентурных донесений и опросов пленных. В последнем Лоуренс проявил редкостную ловкость, используя свою способность выявлять детали, ускользавшие от внимания других, и по ним воссоздавать действительную картину (обладая таким качеством, он мог бы стать прекрасным ученым...). За последние пять лет он столь хорошо узнал Сирию и ее население, что теперь мог только по одежде и диалекту определить место проживания данного человека с точностью до тридцати километров и затем, задав вопрос вроде «Как поживает такой-то?», заставить его открыться. Для того, кто не знал механизма действий, они казались удивительными.

Лоуренсу поручали сбор сведений о повстанческом движении в Египте, посылали в Западную пустыню, совместно с Грэйвсом он выпустил ряд новых изданий «Справочника турецкой армии»... Но прежде всего были карты: «Сотни тысяч, что должны быть начерчены, напечатаны, упакованы и отправлены. ... А кроме этого – отслеживание передвижений турецкой армии, что подобно ловле пьяной иголки с пляской святого Витта на целых полях сена. И из-за этого мы шлем яростные и наспех составленные телеграммы в Софию, Белград, Петроград, Афины, Басру и Тифлис».[8] Его работа в штабе начиналась в 9 часов утра и заканчивалась в 7 часов вечера. «Сижу весь день, выглядя, как эта бумага...»[9] А после – в гостиницу, где также не было отдыха от работы, и даже ночью не отпускали, среди остального, мысли о ней. Поглощающая рутина, столь дикая после его прежней деятельности, опустошала, и только книги были его отдохновением. «Все утешение, которое я получаю, – писал Томас к Уильяму 17 июля 1915 года, – заключается в “Греческой антологии,” Эредии, Моррисе и немногом другом». Тогда, как и позднее, книги являлись его единственной возможностью укрыться от тягостной действительности, уйдя в бестревожное пространство вечного. Но даже такая возможность – это совсем немало...

Духовное напряжение Лоуренса, начавшееся еще осенью, нарастало на протяжении всего 1915 года – его первого страшного года... Так внутри что-то сжимается с каж-

дым днем все больше и больше, стесняя дыхание, и душа замирает в гибельной вялости, словно под внушением бессмысленной, как взгляд безумца, обстановки и уничтожающих обстоятельств. Духовный потенциал, еще недавно получавший осуществление в увлекательной работе и радости братства, теперь расходовался вхолостую среди бумаг, телефонных звонков, телеграмм, пленных и чуждого окружения. «Я могу сделать больше, чем может быть полезно», – но разве таким образом? Арабский народ, олицетворением которого был для него Дахум, не получал от этих усилий ни малейшей пользы. «Все оставлено несделанным, что нам следовало сделать; мы не сделали ничего вообще, – писал Лоуренс Лидсу 9 марта 1915 года, не выделяя собственной неудачи. – Поэтому мне так скверно, как только может быть, но еще не так, как остальным из нас. Когда-нибудь я расскажу тебе все об этом, но не сейчас. ... Видишь, и мне скучно, и Вулли скучно, и Вулли желает вернуться домой, а я хочу уйти куда-нибудь, где нет никакой политики – только покой. Это, наверное, небеса...» То было началом его тоски о спокойствии, что пройдет через всю его бесприютную жизнь. И в Каире, и в Аравии, и после: всегда он стремился к покою, к этой единственной возможности жить.

Совершенный покой только в объятиях брата, как предощущение бесконечного бытия. Только в любви – и отдохновение, и счастье, и жизнь. Томас был теперь один, а его любимый оставался на вражеской территории и легко мог оказаться в опасности...

Судьба Дахума была не единственным тревогой Лоуренса. Фрэнк с февраля находился во Франции, и Уильям неудержимо стремился туда же. Последний еще в октябре, чувствуя вину за пребывание в стороне и беспокоясь о матери, боявшейся за сыновей, писал отцу: «Как сильно это ударило ее... В этой войне никто в Англии не может быть бодрым, и будет трудно находить силы жить. Но, по крайней мере, у нее есть утешение, что Фрэнк участвует в этом»[10] (в то время Фрэнк пребывал еще на сборном пункте в Англии). Это скорее было нелепым утешением самого Уильяма, гордившегося, должно быть, что брат

уже служит родине, и стремившегося присоединиться к нему на пути смерти. А на Западном фронте к тому моменту, когда Уильям писал эти строки, завершился так называемый «бег к морю» – обоюдная попытка немецкой и французской армии обхватить открытый фланг неприятеля, что неуклонно вела противников на север, – и боевые действия развернулись во Фландрии, куда во второй декаде октября была переброшена английская экспедиционная армия для расширения левого фланга французов. Со второй половины октября до 22 ноября шло кровопролитное сражение, получившее название Первой битвы при Ипре. В апреле 1914 года семья Лоуренсов – родители и Арни – ездили на отдых в Ипр. «Я рад, что вы побывали там, – откликался Уильям 29 апреля. – Крепостные валы с их рвом и лебедями в нем были большой радостью. Когда мы с Бобом были там, края рва тоже весело пестрели даффодилями»... В битве при Ипре осенью 1914 года английские экспедиционные войска потеряли убитыми, ранеными, попавшими в плен и пропавшими без вести половину своего состава – восемьдесят тысяч человек.

Кроме этой цифры, в кровавый итог сражений 1914 года входили 510 тысяч французов – погибших, раненых, попавших в плен и пропавших без вести, 241 тысяча погибших немцев, 30 тысяч убитых бельгийцев... Смерть на цифры непереводима: в каждой гибели – небытие чьего-то горя.

Достижение цели не оправдывает потерю даже одного человека. На Западном фронте в ту осень погибли тысячи, а цели не были достигнуты ни у одной из сторон. Рухнул как немецкий план, так и французский; маневренная война перешла в позиционную, ставшую к началу 1915 года фактически тупиком.

21 января 1915 года Томас писал Уильяму: «Я хочу, чтобы ты был в Египте, хотя нет такой работы, которую я мог бы тебе предложить сейчас, поскольку ты не говоришь по-арабски. Не можешь ли ты зачислиться в какой-нибудь

полк, что прибудет сюда позднее?» В тот же день Уильям писал отцу: «Для меня было бы хуже, чем бесполезно ехать к Нэду, как советует Боб, потому что я не знаю ни арабского, ни положения в Египте...» А оставаться в Индии для него было невыносимо. «Вилли снедаем диким патриотизмом», – отмечал Томас в письме домой и добавлял: «Боюсь, что я не чувствую особенного».[11] В середине марта Уильям покинул Дели, чтобы отправиться на Западный фронт. Он надеялся встретиться с Томасом в Порт-Саиде 22 марта. Братья не виделись полтора года.

Это могла бы быть лишь короткая встреча, больше похожая на прощание... Она не состоялась: «Нэд приезжал встретить меня в Порт-Саиде, но на Канале был бой – просто бессмысленный парад турок, – что задержало пароход, и Нэд был вынужден вернуться в Каир. Он оставил для меня письмо и другие вещи. Так как у нас было время сойти на берег, я позвонил ему, и мы немного поболтали – о политических вещах в основном».[12]

Даже эта мимолетность оказалась невозможной. Для Томаса оставалась только затирающая повседневность, сквозь которую длилась тоска по дому – по обретенному дому, где был его названый брат. «Каир – невыразимая вещь, – писал он к Бэллу в апреле. – Я в прошлом месяце взял один день, пошел и посмотрел на это – не больше. И только подумать, что, если бы не это безумие, можно было бы жить на том холме в излучине Евфрата, в чистом месте, с приличными людьми неподалеку... Интересно, можно ли будет когда-нибудь снова успокоиться и заняться должными вещами?»[13] Позднее он писал: «Пока война не поглотила все, я не желал ничего, кроме Кархемиша, который был совершенной жизнью». Есть некая изначальная, самому существованию присущая несправедливость, что у того, кто нуждается в самом малом, отнимается даже это. Томасу ничто не было нужно в этом мире, только – палатка на холме и родной человек, брат – как смысл бытия, без которого нет ничего. И особенно тяжело оттого, что то, что сегодня кажется пределом, завтра вспоминается, как радостное существование: темнота сгущается и однажды становится уже не сумерками, в которых

можно было видеть край боли, но черной ямой.

Глава XLIX

1915 год: положение на Востоке и на Западе. – Первая потеря. – Страх за Дахума. – Вторая утрата.

Согласно плану Энвера-паши, зимой 1915 года предстояло начать наступление сразу на двух фронтах – на Суэцкий канал и на Кавказе. В результате должны были вспыхнуть восстания в Египте, Ливии, Судане, Афганистане, Персии и Средней Азии. Перед наступлением на Суэцкий канал по приказу Кемаля-паши были казнены многие сирийские арабские патриоты, стремившиеся к освобождению своего народа и потому бывшие для турок ненавистными и опасными.

На Суэцкий канал турки начали наступление в первых числах февраля. К тому времени он стал линией британского сопротивления: большие территории к северо-востоку были затоплены, на самом Канале присутствовали военные корабли, а на Горьких озерах несли дозор патрульные суда. Однако расчеты турок на внезапную атаку не оправдались. В то время, как они пересекали пустыню, их заметила французская авиация. Около недели продолжался бой между ними и британцами, закончившийся отступлением турецкой армии.

Что касается атаки турок на Кавказе, то она вызвала столь сильное беспокойство у русского главного командования, что оно обратилось к Великобритании и Франции с просьбой провести отвлекающий маневр. Таким маневром стала высадка десанта в Галлиполи – отчаянная операция, осуществленная почти вслепую, без знания местности и расположения противника. Она имела целью открыть проход через Дарданеллы, что предоставило бы не только возможность отправки снабжения в Россию и

получения взамен зерна, но даже выведения Турции из войны. Кампания, начатая в феврале, длилась до конца 1915 года и завершилась катастрофой. Небольшой полуостров у Дарданелл оказался смертельной западней для 265 тысяч англичан, австралийцев и новозеландцев. Со стороны турок потери убитыми и ранеными составляли около 300 тысяч человек. Сражавшиеся с обеих сторон и в этой битве, и в других были только пылью людской, бросаемой на ветер смерти. Он стих, и после открылся лишь провал невыразимого горя.

На Кавказе турки потерпели поражение. Вести боевые действия в условиях горной зимы было полным безрассудством, и это безрассудство Энвера стоило многих тысяч жизней: только от холода погибли тридцать тысяч человек.

В Европе масштабы катастрофы расширялись. В мае в войну на стороне союзников вступила Италия. Еще бóльшая территория Франции оказалась в огне кровопролитных боев – Фландрия, Артуа, Пикардия, Шампань. Англия, первоначально собиравшаяся лишь оказывать помощь Франции экспедиционными войсками, приняла ответственность за участок фронта от Ипра до Соммы и направила туда новые силы, в частности «китченеровские» дивизии добровольцев. Никто уже не верил в скорое завершение войны, однако боевой дух не угасал, хотя потери были велики, а достижения ничтожны. В этом году преимущество было на стороне Германии.

Весной англичане с нечеловеческим усилием удерживали так называемый Ипрский выступ: шла Вторая битва за Ипр. В ней немцы предприняли первую на Западном фронте газовую атаку – сначала хлором, вызывающим отек легких, потом – горчичным газом, впоследствии получившим название иприта. В дальнейшем использовался еще более страшный удушающий фосген. Однако, несмотря на потери, выступ, хотя и несколько сдвинулся к городу, был удержан. «Сегодня, – писал английский историк Джон Киган в 1998 году, – воронки и могильные холмы на этом маленьком поле боя все еще источают нездоровую атмосферу, зловещую даже на фоне остатков За-

падного фронта».[1]

В мае союзники провели атаку в Артуа, где не добились практически ничего, и после летнего замедления, когда обе стороны готовились к дальнейшим действиям, английские войска продолжили наступление в Артуа, а французские – начали его в Шампани.

25 сентября 1915 года англичане выступили в атаку в Лоосе. Они шли сплошной стеной, направляясь через обширное поле на окопы неприятеля. Немцы, пораженные видом «вражеской пехоты, покрывшей весь фронт», открыли яростный огонь по верным мишеням, так что раскалились стволы винтовок. Из пятнадцати тысяч пехотинцев восемь тысяч погибли. Когда уцелевшие повернули назад, противники прекратили огонь, ужаснувшись представшим перед ними пространствам смерти... В течение еще трех недель англичане пытались прорвать укрепленную линию. За это время из них было убито шестнадцать тысяч человек и отвоевано лишь три километра земли.

В тот же день французы атаковали в Шампани. До 31 октября они смогли продвинуться также только на три километра и потеряли 143 567 человек.

9 мая 1915 года погиб Фрэнк, когда вел в атаку свой взвод. Накануне он написал домой письмо, оказавшееся последним. Оно заканчивалось словами: «Теперь буду спать»... Ему было двадцать два года.

Томас не был с ним близок (они слишком различались), но все равно не мог не почувствовать утрату. Он видел Фрэнка в последний раз примерно в августе 1914 года. Они не прощались: «Потому что он скорее хотел бы, чтобы я не говорил ему “прощай,” а я знал, что существует малая возможность увидеть его снова. В таком случае нам было лучше без прощания».[2] Он ободрял родителей: «... нет необходимости оплакивать его. Я не вижу никакой причины вообще: в любом случае, умереть за свою страну – это своего рода привилегия. Вы с матерью найдете более мучительным и трудным жить для нее, чем он – умереть. Но, думаю, в это время является долгом не проявлять ничего, что могло бы огорчить других, и выгля-

деть подавленным определенно подлежит осуждению. Поэтому, пожалуйста, сохраняйте для других бодрое выражение. Мы не можем все сражаться, но можем делать то, что равно этому».[3]

Слова утешения найти трудно, если вообще возможно, а родители нуждались в его поддержке. Едва ли Томас видел какую-нибудь «привилегию» в бессмысленной жертве, но что еще он мог сказать? «Нет причин оплакивать того, кто у Бога», – тихо слышится за строками...

Но мать, видимо, ждала иных слов, и за этим письмом Томас пишет почти с отчаянием следующее: «Бедная дорогая мама... Я получил сегодня твое письмо, и оно очень огорчило меня. Ты никогда, никогда не поймешь никого из нас после того, как мы немного выросли. Разве ты не чувствуешь, что мы любим тебя, не говоря об этом? Я чувствую себя таким презренным червем оттого, что так пишу... Если бы ты только знала, что, когда человек воспринимает что-то глубоко, он скорее умрет, чем что-нибудь скажет об этом».[4] Никогда не скажет тому, кто не сможет должным образом понять и принять. Между Томасом и его матерью всегда было болезненное непонимание, а теперь – особенно. Он, столь глубоко осознававший других людей, не знал, что сказать матери, и писал о чести погибнуть за родину, а сам наверняка думал иначе, уверял, что не стоит скорбеть, и недоговаривал, почему... Истинные слова утешения обнажили бы его собственную душу, его чувства, которые он всегда тщательно таил от нее. Ныне же они были болью, а боль стыдлива, «и, чем тоска неутолимей, тем молчаливее уста». И он только повторял о необходимости держаться, «хранить бодрое выражение»: «Во времена такого страшного бедствия в нашей стране это является долгом – очень внимательно следить, чтобы не ранить того, кто слабее. И ты знаешь, что мы всегда были более сильными, и, если люди увидят тебя убитой горем, то начнут бояться за своих, находящихся на фронте».[5]

Известие было подобно дурному сну, а наяву продолжалась все та же затирающая повседневность – карты, телеграммы, пленные, с единственным утешением в чте-

нии по вечерам. Внимание Лоуренса было приковано к Сирии, но никаких новостей не приходило оттуда и казалось, что там все было мирно. «Сирия очень спокойна, – писал он 3 июля, – зерно дешевле, чем обычно, а сахар и парафин недоступны. Угля нет; золото в изобилии в стране, и правительство не отважилось еще выпускать купюры. Молодые люди почти все на военной службе. Оппенхейм [немецкий археолог и руководитель кайзерской разведки на Ближнем Востоке] был в Джераблусе 15-го. Думаю, не с добрыми намерениями».[6] Лоуренс боялся, что в Джераблусе могли набирать рекрутов для отправки в Галлиполи. Страх за Дахума не покидал его. Легче узнать худшее, чем не знать ничего. Неизвестность угнетала, и из-за нее время в Каире было еще тяжелее для Лоуренса. Ему проще было бы стерпеть все, если бы он только мог знать, что Дахум вне опасности.

Осенью, на фоне этого неослабевающего напряжения, пришло второе известие: 23 октября погиб Уильям. Во Франции он прослужил меньше недели, когда был сбит под Сен-Кантеном на самолете, на котором летал как наблюдатель. До своего 26-го дня рождения он не дожил полтора месяца. В домашних письмах Томаса между 19 октября и 25 декабря – зияние.

16 ноября он пишет Лидсу: «Я не писал тебе так давно... Думаю, это оттого, что не было ничего, что бы я должен был сказать. Также это отчасти из-за такой занятости здесь, что все мысли сосредоточены на работе, которую делаешь, и нет желания делать что-то еще и нет никаких других интересов. А отчасти оттого, что я довольно подавлен, потому что сначала один мой брат, а теперь другой убиты. Конечно, я очень далеко от них, и это не стало ударом... Но, тем не менее, я содрогаюсь при мысли об Оксфорде и о том, каким он может быть, если туда вернуться. К тому же они оба были младше меня, и кажется неправильным продолжать мирно жить в Каире. ... Мне хочется, чтобы однажды наступил конец».

В первое время расстояния спасают, делая произошедшее далеким до нереальности и создавая странное ощущение мимолетности: случившееся кажется делом сегод-

няшнего дня, а завтра все снова будет по-прежнему... Привычное существование подчас даже не нарушается, и человек продолжает заниматься обычными делами, помня о своей потере, – пока вдруг эта память не обернется острием и не остановит на пол-движении. А за ударом – опять затишье оглушенности, когда боль уходит в глубину и позволяет жить, даже иногда забываться, но вновь и вновь из этого забвения будет возвращать резкая вспышка осознания – словно вновь и вновь будет приходить то известие. Лучше быть рядом, чем вдали: постоянная боль не так мучительна, как внезапное осознание потери сквозь иллюзию жизни; и легче помнить ушедшего мертвым, чем живым: с мертвым прервана земная нить, а живой образ продолжает принадлежать этой жизни и обманывать своей невозвратной близостью. И вернуться назад – значит, насильно разорвать эту последнюю связь и увидеть могилу.

Глава L

Только память. – Каирская бессмысленность. – Миссия в Кут эль-Амара. – Убийственный доклад возмутительного младшего лейтенанта.

«Я так хочу снова соприкоснуться с приличными арабами», – признавался Лоуренс в письме домой в январе 1916 года. В Каире он сознательно избегал контакта с египтянами, так что в конце концов даже начал утрачивать свои навыки в арабском языке: «Я не разговаривал из страха подцепить ужасный египетский акцент и лексикон».[1] Он оберегал свой сирийский диалект, который оставался для него как память о Дахуме.

Неведение Лоуренса продолжалось. «Я не могу получить никаких известий о Дахуме. На самом деле, я боюсь посылать и спрашивать. Большинство мужчин (и мальчиков) из того округа были направлены в Константинополь, где они находятся до сих пор. Пока только немногие из

них уже были на линии огня», – сообщал он в том же письме. Даже одно то, что он вопреки обыкновению поделился своим переживанием с семьей, показывает, насколько тяжелым оно было.

Как явствует из дальнейших событий, Дахум оставался в Джераблусе. И нет сомнения, что его тревога за Лоуренса была не меньшей: он тоже ничего о нем не знал. Томас оставил его в Кархемише как смотрителя за местом раскопок, которыми теперь никто не интересовался. С детства привычный холм над Евфратом высился ныне как мучительное напоминание о вчерашнем дне, равно как и опустевший дом археологов. Все было связано с Лоуренсом и с их радостной жизнью: вот на этой пыли Томас чертил арабские слова, обучая его читать; на том островке они собирали маленькие звезды маргариток; на этом холме они работали рядом, с неизбывным волнением ощущая присутствие друг друга; а по ночам в палатке ласкали друг друга – одни в спокойном пространстве, бережно принимавшем их, как Божьи ладони... Наверняка Дахум возвращался к этим местам, словно желая застать там прошлое и в счастливом взгляде голубых глаз встретить самого себя, настоящего и живого. В опустошенном пространстве не стало не только Томаса – не стало их обоих: их бытие длилось этими ласками, и взглядами, и всепонимающим молчанием – речью соприкасающихся душ... Теперь они были только памятью друг друга. В одиночестве разлученных братьев – самая тихая и самая страшная боль: длящаяся гибель.

«Я выписался и выработался, превратившись в механическую игрушку, которая выполняет дневную рутину и отправляется спать, когда придется. ... Тринадцать часов в день в конторе, семь дней в неделю: это слишком для нервов, – особенно, когда ты – жалкая крупинка веры, пытающаяся сдвинуть горы»,[2] – писал Лоуренс Лидсу в январе 1916 года. Продолжая письмо, он отвечал Лидсу, который, будучи признан негодным к службе из-за хрупкого здоровья, все же не хотел оставаться в стороне: «Ты, желающий сражаться и делать дело, понятия не имеешь, как мало людей в армии действительно сражаются. Большин-

ство из них гниет в сухом месте, делая то, что им подскажет инстинкт, связанные по рукам и ногам на случай, если они смогут однажды пригодиться... Я действительно так хочу уйти!»[3] Как бы то ни было, прозябать в штабах являлось несравнимо лучшим, чем в прямом смысле гнить в окопах или медленно умирать, укрывшись в воронке и сжимая свою библию, как последнюю надежду. Но Лоуренс, переживший две потери, испытывал теперь нелепую вину за свое «спокойное» существование. Он хотел выполнять то же, что и его братья, перенести то же страдание, что и они: таково бессильное стремление облегчить чью-то непоправимую муку. Вместе с этим он осознавал и уничтожающую бессмысленность растраты своего потенциала тогда, когда это могло бы использоваться в деле. Бессмысленность – обертон его жизни в Каире так же, как усилие – последующего существования в Аравии.

В марте Лоуренс вместе с Обри Гербертом был направлен со специальной миссией в Месопотамию, в Кут эль-Амара.

Турки, которых поначалу сочли слабым противником, закрепили свой галлиполийский успех, нанеся сокрушительное поражение англо-индийским войскам, высадившимся в 1914 году в устье Шатт эль-Араб. Эти экспедиционные силы «D» неуклонно продвигались вверх по течению Тигра, пока в ноябре 1915 года не достигли Ктесифона. Казалось, преимущество было на их стороне, поскольку они смогли проникнуть вглубь Империи тогда, как ближайшие турецкие войска располагались в 650 км. на Кавказе и в 550 км. в Халебе. Однако турки выслали им навстречу войска, и генерал Тауншенд, считая, что противник очень силен, приказал отступать в Кут эль-Амара, на 150 км. вниз по течению реки. Там они окопались, не предполагая, что сами вовлекли себя в ловушку. Турки были сильны в окопной войне. Они окружили лагерь укреплениями и смогли отразить атаки и самого гарнизона, и подкрепления, которое четырежды пыталось прорваться через их окопы.

Целью миссии, с которой был отправлен Лоуренс, являлось вступить в переговоры с Халил-пашей, команди-

ром турецкой армии, осаждавшей Кут, в надежде, что тот согласится снять осаду взамен щедрого выкупа. У Лоуренса имелась и собственная цель – установить, возможно ли поднять восстание арабских племен вдоль железнодорожной линии, чтобы таким образом лишить осаждавших доставки продовольствия и подкреплений. Для восстания существовали все условия: население Неджефа и Кербелы, в тылу армии Халил-паши, было возмущено против него, арабы в его армии открыто не признавали турецкое правительство, а племена, проживавшие вдоль Евфрата, могли выступить против турок, если бы увидели соответствующее отношение к себе англичан. За несколько недель эти силы могли бы заставить турецкую армию снять осаду Кута, а сам гарнизон мог продержаться это время, если бы англичане нашли достаточно аэропланов для доставки продовольствия.

Лоуренс отправился в путь 22 марта на лайнере «Royal George». Это было его первое пребывание на Красном море. Слева виднелись длинные линии аравийских холмов, а из моря временами вставали скалистые островки, – и так до Адена, являвшего собой изрезанную полосу цветных утесов, вздымавшихся из воды. Время от времени через борт корабля перепрыгивали летающие рыбы. По ночам, при фосфоресценции, их полет рассеивал россыпи мерцающих брызг.

Дней через двенадцать посланники прибыли в Кувейт. Там Лоуренсу удалось наблюдать «удивительную грозу». «Мы находились на “Royal George,” когда около трех часов дня начали сверкать молнии. После заката они участились, пока к 9 часам вечера не стали полыхать почти непрерывно сразу с трех сторон. Грома не было, а дождь шел только несколько минут. Вспышки выглядели, как кружевной рисунок: сложная сеть, раскинутая по небу. Их цвет был интенсивно зеленым, и они производили долгий трещащий звук, который почти не прекращался. В их свете можно было видеть все на одну-две мили – очень отчетливо, но вдали менее ясно. Тройное направление света создавало зловещее впечатление нереальности, наподобие света рампы, потому что мы привыкли видеть вещи осве-

щенными только с одной стороны неизменным небом. От этих вспышек ты сам становился подмененным, а форма и положение корабля в бухте казались все время дрожащими и движущимися. Шторм закончился внезапным сухим порывом ветра, который развернул наш корабль (очень высокий, примерно 80 футов над водой) по оси почти что на небольшую шлюпку, "Клио," которая стояла на якоре рядом с нами. Команда была вынуждена в страшной спешке поднять якорь (никакой лебедки, только кабестан) и броситься прочь. Нам не хватило лишь нескольких футов, чтобы опрокинуть шлюпку, и поскольку ее мачты были ниже нашей палубы, мы могли перевернуть ее и потопить».[4] Эта зеленая гроза вызвала в памяти Лоуренса ту грозу в Кархемише, с музыкой курдов и будто ожившими в свете молний древними скульптурами...

Из Кувейта путь продолжался на почтовом пароходе «Elephanta» вверх по Персидскому заливу. Там, где Шатт эль-Араб выходит в море, серо-зеленые речные воды образовывали четкую и неровную границу с темно-синими морскими, а затем следовала отмель, являвшая собой жидкую грязь, которую винт парохода взбивал, словно шоколадный крем. Через несколько миль начиналась дельта Тигра и Евфрата, с рядами пальм по берегам, и дальше до Басры соединенные воды простирались потоком шириной в несколько сотен ярдов.

Темным дождливым вечером Лоуренс сошел на берег в Басре. Она стоит на воде и недаром называется «арабской Венецией». Улицы представляют собой каналы, по которым плавают грациозные лодки – длинный пассажирский белем с высокой мачтой и грузовая махаила с сильно изогнутой линией борта и одной тяжелой мачтой с квадратным парусом, напомнившая Лоуренсу корабли викингов, плывущие в грот мертвых. В этом городе он провел три дня и встретил в местном штабе, среди прочих, Кэмпбелл-Томпсона и Гертруду Бэлл.

Затем, на небольшом пароходе, он отправился к фронтовой полосе. Кают на пароходе не было, и пассажиры располагались на палубе, где были вынуждены мокнуть под дождем. В первый вечер судно встало на якорь близ

Курны, селения из выстроенных из грязи домов, как раз на развилке, где впадает Евфрат. «Евфрат прежнего цвета, но только около 1/5 от той ширины, что в Джераблусе»,[5] – отметил Лоуренс. Так он встретился со своим старым знакомцем, будто с памятью о Кархемише. Долгий путь проделала через Месопотамию эта река золотого света и огненных закатов, чтобы слиться с лунными, серебристыми водами Тигра между низких, зыбких берегов с перистым орнаментом пальм.

Должно быть, странно было находиться у завершения реки – как в конце солнечной истории своей любви – и, глядя на реминисценции прежней синевы, думать о ее прохождении сквозь то уютное пространство, что стало теперь прошлым – для Евфрата и для него, Лоуренса; думать о том, что над этими водами о нем вспоминал Дахум, который, может быть, и сейчас смотрит с опустевшего холма на темное половодье. Великая река памяти длилась из прошлого в настоящее и за бортом парохода шептала Лоуренсу о доме, любви, жизни... Шептала о холме с обнаженными и покинутыми руинами минувшего, об островке веселых маргариток, что каждую весну расцветают живыми воспоминаниями любви, и о юноше, ожидавшем его на безвозвратных берегах. Смутным потоком ожидания встретил Лоуренса Евфрат, как старый друг, знавший его душу.

На вторую ночь пароход встал у так называемой гробницы Эзры, представлявшей собой рощицу и несколько построенных из грязи домов. На самом берегу возвышалась мечеть, окруженная стенами из желтого кирпича, по которым темно-зеленым глазурованным кирпичом были выложены полосы и разводы.

Третья ночь была проведена в городке Амара. Затем последовали небольшие местечки Али Шерги, Али Гарби и Шейх Саад. Река, ставшая узкой между Амарой и Курной оттого, что несколько больших ирригационных каналов отбирали воду с восточного берега, к северу вновь расширилась до трехсот-четырехсот ярдов, сохраняя стремительное течение. По берегам местами тянулись пальмовые сады: «Светло-зеленые вершины и под ними прямые, ре-

гулярные ряды коричневых стволов, трудно различимых в тени».[6] Вдали на востоке простирались обрывистые кряжи персидских холмов, плотно покрытых снегом, с которых нередко налетал резкий ветер.

«Арабы здесь удивительно крепкие, намного грубее и беднее наших людей из Джераблуса, но веселые и разговорчивые. Они проводят в воде всю жизнь и едва ли замечают это. Я нескоро забуду разлив примерно в двадцать миль длиной и шириной близ гробницы Эзры (где река затопила оба берега насколько хватает глаз), посреди которого три человека пробирались скрывшимся берегом по шею в воде, таща нагруженную махаилу вверх по течению потока. Они уже протащили ее миль десять, шагая и плывя таким образом, а ближайшее место, где они могли достичь сухой земли, находилось, возможно, еще в десяти милях впереди».[7]

«Однажды это будет удивительная страна, – писал Лоуренс о Месопотамии, – когда удастся справиться с наводнениями и будут выкопаны ирригационные каналы. Но это никогда не будет по-настоящему приятной страной – или страной, где европейцы смогут вести нормальную жизнь. Все это, а также то, что касается жителей, относится к верховьям реки, где находимся мы».[8]

На шестой день Лоуренс прибыл на место. Вместе с Обри Гербертом и полковником Бичем из месопотамского штаба он был направлен к турецкому главнокомандующему. Помахав белым флагом из передовых британских траншей, они выкарабкались и прошли полпути (около пятисот ярдов) через луг, поросший высокой травой, за которым тянулись турецкие окопы. Турецкие офицеры вышли навстречу, и посланники объяснили им, чего желали. Те доложили об их прибытии Халил-паше, и после полудня англичане были доставлены с завязанными глазами в его штаб. Халил-паша был весьма вежлив, но согласился только на то, чтобы отпустить тысячу раненых в обмен на такое же число турок. Английские офицеры попросили его не карать арабов Кута, принимавших участие в военных действиях против своей воли. Эта просьба удивила Халила, ни во что не ставившего арабов и рассматри-

вавшего их как подрывной элемент. Однако он согласился и для начала повесил только девять арабов, что для него являлось весьма «милостивым».

Ночь была проведена в его лагере, где англичанам дали превосходный ужин, и на следующее утро они были отвезены обратно.

29 апреля гарнизон сдался. Тауншенд и десять тысяч уцелевших солдат оказались в жестоком плену, где впоследствии из пленников умерли четыре тысячи. Кут был отвоеван лишь в конце года силами двухсоттысячной соединенной армии англичан и индийцев. Действия в Месопотамии оказались бессмысленной растратой усилий и жизней без создания опасности для противника.

8 мая Лоуренс возвратился в Басру, где провел несколько дней, и затем отправился обратно в Каир.

Таким образом, не только цель миссии не была достигнута, но, напротив, своей попыткой англичане скомпрометировали себя, дав повод лишний раз назвать себя «нацией лавочников». Идея посланничества с самого начала была не по душе многим английским генералам, для которых подобные действия казались оскорблением воинской чести. Лоуренс также не был энтузиастом этой затеи, полагая, что Халил-паша слишком уверен в получении денег от Турции и в определенном военном успехе, чтобы согласиться на подкуп. Что же касается плана самого Лоуренса, то он оказался неосуществимым потому, что большинство английских офицеров слишком презрительно относилось к месопотамским арабам, чтобы видеть в них союзников.

На обратном пути единственным спутником Лоуренса был генерал Уэбб-Гилльман, откомандированный военным министерством с заданием оценить ситуацию. Поначалу он держался замкнуто, но, когда Лоуренс предложил ему разделить для прогулок верхнюю палубу, у генерала чувство юмора взяло верх над сдержанностью, и они подружились. Лоуренс тогда был занят написанием доклада о положении дел в английских воинских частях в Месопотамии. Генерал, узнав об этом, попросил показать ему записи и, прежде чем начать писать свои выводы, пол-

ностью обсудил с ним каждую страницу.

Доклад Лоуренса был убийственным для начальства. Лоуренс критиковал все: «Качество типографского шрифта, способы приставания барж к стенке, непригодность кранов, стоявших у складов, недостатки системы маневрирования вагонов и посадки воинских частей для отправки по железной дороге, отсутствие соответствующих складов медикаментов, слепоту санитарного управления, отсутствие у последнего представления о действительных нуждах и, о ужас, критиковал высшее командование и ведение им военных операций вообще...»[9]

Генерал Мюррей потребовал показать ему доклад. «В тот вечер в генеральном штабе царило смятение, – рассказывал один из офицеров, – так как мы были убеждены, что если Мюррей прочтет доклад, то его постигнет удар, и мы лишимся нашего командующего. Поэтому в срочном порядке мы засели за переделку доклада, выбрасывая из него самые рискованные места, и работали до тех пор, пока не привели в такой вид, в каком он мог быть представлен начальству».[10] В своем докладе Лоуренс был прав, что и подтвердилось в дальнейшем – например, когда начался хаос при поступлении первых партий раненых.

Глубокие знания и наличие своего мнения придавали Лоуренсу уверенность, с которой он отзывался по любому известному ему вопросу, а если замечал ошибки старших, то не стеснялся их поправлять. Он никогда не преклонялся перед авторитетами только оттого, что они авторитеты, и не боялся критиковать тогда, когда это могло принести пользу. Он не считался с чинами и судил как человек, обладающий достаточным опытом и здравомыслием, которых был вправе ожидать и от других. Однако в военной среде царила жесткая система иерархии, высшие чины считались непогрешимыми, и существование младшего лейтенанта, порицавшего начальство, было явлением неслыханным и оскорбительным. Оскорбительным казался даже его внешний вид. Тогда как штабные офицеры выглядели с иголочки, Лоуренс ходил без ремня, с неначищенными пуговицами, расстегнутым воротничком и в фуражке набекрень. Столь беспечный

облик придавал особую пикантность его смелым замечаниям.

Глава LI

Истоки арабского восстания: История порабощения. – Арабский национализм. – Тайные общества. – Противодействие турок. – Обращение турецкого правительства к Шерифу Мекки. – Давление на шерифов. – Опасность продовольственной блокады в Хиджазе и призыв Шерифа к Англии. – Обращение к Шерифу арабских патриотов. – Посланничество Фейсала в Дамаск. – Нежеланные гости и великодушие Фейсала. – Начало борьбы.

Вступление Турции в войну активизировало давно существовавшие арабские национальные движения.

Арабы являлись изначально свободным народом, некогда покорившим полмира, от Индии до Гибралтара, и обладавшим развитой культурой в то время, когда Европа была погружена во мрак варварства. Однако они были более способны создавать, нежели сохранять: вдохновенный порыв проходил, оставляя рутину, которой они тяготились. Как следствие, завоеванные провинции оказывались в небрежении, и арабы искали помощи в управлении у покоренных подданных или у чужеземцев. «Так, в раннем Средневековье, турки вступили в арабское государство: сначала как слуги, потом как помощники и затем как паразитирующий нарост, который изгнал жизнь из тела старой политической системы».[1] В XVI веке арабы попали под иго Османской Империи. «Для них это оказалось медленной смертью. Их имущество было отнято, а дух сжат под вызывающим оцепенение дыханием военного правительства. Турецкое правление было жандармским, а турецкая политическая теория столь же грубой, как и практика».[2] Арабский патриотизм заменялся кампанилизмом, арабский язык – связующее звено разобщенной нации – изгонялся из правительственных и общественных учреждений и из высших школ. Но арабы не желали отказы-

ваться от своего выразительного языка ради неловкого турецкого, – напротив, они наполнили турецкий арабскими словами и ревностно оберегали сокровища своей литературы. Язык стал родиной для них, потерявших расовую, политическую и историческую память, а Коран – святилищем, красота которого позволяла им осознавать духовное богатство своего народа и предоставляла мерило для суждения о ничтожных достижениях турок.

Возможность существования в Турецкой империи открывалась для них только через потерю национальной идентичности, равной духовному самоубийству, что вызывало стойкое сопротивление из некоего благодатного инстинкта духовного самосохранения, что спасает и народы, и отдельных людей. Так, в последней четверти XIX века среди арабов начали возникать движения освобождения. Этот арабский национализм был совершенно иным явлением в отличие от того, что ныне называют этим именем. То была не кощунственная идея национального превосходства, но идея национальной независимости.

С революцией младотурок и падением панисламистского режима Абдул-Хамида перед арабами, казалось, распахнулись благоприятные перспективы. Однако новая Турция была для турок, и другие народности испытали на себе все безумие государственного национализма. Арабы оказались в еще большем притеснении, чем прежде. Это привело к возникновению влиятельных тайных обществ. В Месопотамии был организован «Ахад», состоявший из арабских офицеров турецкой армии и имевший целью подготовку почвы для возможного восстания. В Сирии действовал еще более сильный «Фетах», членами которого были землевладельцы, писатели, врачи и другие люди из образованных кругов общества.

С началом войны турецкое правительство с особым рвением стремилось остановить все нетурецкие движения, особенно арабские и армянские, для которых именно теперь могло настать время действий. Оно видело угрозу также в самой армии, что была примерно на треть арабоязычной, и этих ненадежных офицеров и солдат спешно отправляли на линии огня.

Султан объявил священную войну, рассчитывая, что под ее знамена соберутся все мусульмане Империи, и это принесет не только силы для победы, но и нейтрализует национальные выступления. Для того чтобы этот призыв получил широкий отклик, было необходимо участие Мекки – духовного центра. Тогда правительство обратилось за помощью к Шерифу Хуссейну ибн-Али.

Шерифы являлись потомками Пророка через Его дочь Фатиму и Хассана, ее старшего сына. Имена членов благородного рода вписывались в свиток, хранившийся в Мекке. Семья потомков Пророка обладала светской властью на протяжении девятисот лет и насчитывала около двух тысяч человек. Но даже уважаемый род подвергся турецкому натиску. Влияние Турции постепенно распространилось вплоть до Святых Городов, пока не достигло такой степени, что султан Абдул-Хамид сместил одного слишком влиятельного, на его взгляд, шерифа и назначил на его место другого из соперничающего рода, чтобы получить выгоду из возможных разногласий между ними. Семью отстраненного шерифа султан забрал в Константинополь, в почетное пленение. Одним из ее членов был Хуссейн ибн-Али (1852–1931). Он сумел использовать лучшим образом свое печальное положение и дал хорошее образование своим сыновьям – Али, Абдулле, Фейсалу и Зейду.

После революции 1908 года новое правительство вернуло пленников на родину. Хуссейн укрепил свое положение и поддерживал связь с Константинополем через Абдуллу, бывшего представителем Мекки в турецком парламенте с 1908 по 1914 год, и Фейсала, являвшегося там же представителем Джидды в 1913-1914 годах. Когда началась война, они поспешно возвратились в Мекку.

Из-за войны оказалось нарушенным паломничество, а вместе с тем и торговая жизнь Святых Городов. Это было опасным обстоятельством, поскольку в Хиджазе не производились продукты питания, а турки могли в случае своего недовольства пресечь поставки. При таких обстоятельствах Хуссейн получил от турецкого правительства предложение стать духовным вождем Джихада. Будучи прони-

цательным и глубоко набожным, он понимал, что священная война, направленная против христианства, несовместима с наличием христианского союзника – Германии. Поэтому он отказал правительству и обратился к союзникам с просьбой не лишать его провинцию продовольствия, поскольку за народом нет вины. Турки тотчас частично блокировали часть Хиджаза, установив контроль за железной дорогой, однако британцы поддержали Шерифа и направили к берегу Хиджаза специальные суда с продовольствием.

В январе 1915 года Хуссейн получил еще одно предложение, на этот раз – от сирийских арабских патриотов: начать военный мятеж в Сирии. Шериф не мог оставить без внимания их обращение и направил в Дамаск Фейсала как своего представителя, чтобы обсудить планы, а в Медину – Али с целью подготовить почву для восстания и начать его, как только Фейсал даст знак. Абдулле, обладавшему политическими способностями, следовало письменно обратиться к британцам, чтобы выяснить их отношение к возможному восстанию против Турции.

Фейсал докладывал, что условия являются подходящими для действия, хотя общественное мнение уверено в победе Германии. Присутствие союзнической австралийской экспедиции в Александретте позволило бы рискнуть. Однако экспедиция была послана в Галлиполи, а вовсе не в Александретту. Фейсал направился туда, чтобы быть в курсе событий, но кампания затянулась на весь оставшийся год. Он возвратился в Сирию и нашел условия уже неблагоприятными для восстания. Арабские патриоты претерпевали гонения со стороны турецких властей, часть них была казнена, а сочувствующие арабские дивизии были отосланы на дальние фронты.

Фейсал советовал отцу ждать дольше, пока Англия не сможет оказать помощь. Однако Англия переживала тяжелые времена. В галлиполийской бойне погибли тысячи англичан, австралийцев и новозеландцев; осада английского гарнизона в Куте подходила к своему печальному концу, а в Ливии сектой фундаменталистов Сенусси был поднят мятеж, совпавший по времени с вхождением в

войну Болгарии, – эти два последних обстоятельства создавали угрозы новым британским флангам.

Фейсал продолжал оставаться в Сирии. «Его положение было отчаянным до крайности. Он зависел от милости членов тайного общества, президентом которого он являлся до войны, и был вынужден жить как гость Джемаль-паши, в Дамаске, вспоминая свои военные знания, поскольку его брат Али поднимал войска в Хиджазе под предлогом, что он и Фейсал поведут их против Суэцкого канала, чтобы помочь туркам. Так Фейсал, как добрый подданный Оттоманской Империи и офицер на турецкой службе, был вынужден жить в штаб-квартире и смиренно сносить оскорбления и унижения, которые щедро сыпал на его народ громила Джемаль.

Джемаль имел обыкновение посылать за Фейсалом и брать его на повешения его сирийских сотоварищей. Эти жертвы справедливости обладали достаточной смелостью, чтобы не показывать, что знают истинные надежды Фейсала, равно как и он не осмеливался проявлять свое умонастроение словом или взглядом, поскольку разоблачение привело бы его семью и, возможно, его народ к той же участи. Только однажды он не удержался сказать, что эти казни будут стоить Джемалю всего того, что тот пытается избежать, и потребовалось заступничество его константинопольских друзей, начальников в Турции, чтобы спасти его от цены этих опрометчивых слов».[3]

Фейсал вел переписку с отцом, причем соблюдая строжайшую конспирацию. Они сообщались посредством давних слуг семьи, которые перемещались в обе стороны по Хиджазской железной дороге, перенося письма в рукоятках мечей, пирогах, между подошв сандалей или как невидимые надписи на обертках безобидных свертков. Фейсал писал, что следует подождать с началом действий, однако Хуссейн, рассматривавший турок как предателей веры и духа времени, не желал ждать и намеревался начать войну против них, обладая мизерными силами. Он направил к Фейсалу Абд эль-Кадера эль-Абду с письмом, в котором говорилось, что все готово для его инспекции в Медине, прежде чем войска выступят. Фейсал собрался

возвращаться, но, к несчастью, Энвер-паша и Джемаль изъявили то же желание. Ожидания Фейсала поднять флаг восстания немедленно по прибытии не оправдались: согласно обычаю арабского гостеприимства, он не мог причинить вреда своим гостям. Отсрочка же подвергала опасности всю тайну предприятия.

В Медине во время военного смотра к Фейсалу незаметно обратился шериф Али ибн эль-Хуссейн, из Модига: «Господин, убьем ли мы их теперь?» И Фейсал ответил: «Нет, они наши гости». Великодушие Фейсала вызвало недовольство шейхов, которые хотели заставить его покончить тут же с негодяями. «И он был вынужден ходить среди них, вне слышимости, но на виду, и просить за жизни турецких диктаторов, которые убили на эшафоте его лучших друзей».[4]

Оказав прием, Фейсал проводил нежеланных гостей до Дамаска, чтобы сохранить их от опасности быть убитыми по пути. Он старался, чтобы они ничего не заподозрили, однако у тех возникли сильные сомнения. Прибыв в Дамаск, они направили значительные силы в Медину и хотели, к тому же, задержать Фейсала, но из Медины пришли телеграммы с требованием его срочного возвращения, и он был неохотно отпущен.

Медина оказалась наводненной турецкими войсками под начальством Фахри-паши, прославившегося своими «зачистками» Зейтуна и Урфы от армян. Но ничто уже не могло погасить давно метущийся дух угнетенного народа.

5 июня Фейсал и его брат Али подняли в окрестностях Медины знамя восстания. Арабов, откликнувшихся на призыв Хуссейна, было всего около пятидесяти тысяч, а их вооружение состояло менее чем из десяти тысяч винтовок, по большей части устаревшего образца. Однако при всей своей первоначальной слабости это была нараставшая сила, высвободившаяся из глубин нации, как некогда тот великий порыв на заре исламской эры. И только в этом неудержимом стремлении к свободе была истинная свобода, в этом усилии – сила.

Глава LII

Корреспонденция МакМагона-Хуссейна. – Соглашение Сайкса-Пико.

Арабскому восстанию предшествовал обмен письмами между Верховным Комиссаром Египта Генри МакМагоном и Шерифом Хуссейном, с 14 июля 1915 года до 10 марта 1916, в которых шла речь относительно будущего политического статуса территорий, входивших в Турецкую империю.

В своем первом письме Шериф желал заручиться поддержкой Британии в признании независимого Арабского Халифата, границы которого проходили бы следующим образом: «На севере через Мерсину и Адану до 37-го градуса широты, где располагаются Биреджик, Урфа, Мардин, Мидиат, Джезират (Ибн Умар), Амадия, – до границы Персии. На востоке вдоль границ Персии до залива Басры. На юге вдоль Индийского океана, за исключением Адена, положение которого должно остаться, как есть. На западе вдоль Красного моря, Средиземного моря до Мерсины».[1] Англии обещалось преимущество в экономических предприятиях на территории предполагаемого государства. При отсутствии ответа Шериф оставлял за собой право действовать по своему усмотрению.

30 августа МакМагон отвечал, что Англия поддерживает идею арабской независимости, но, что касается границ Халифата, замечал: «Кажется преждевременным тратить наше время на обсуждение таких деталей в разгар войны и тогда, как большинством их [границ] турки владеют до сих пор».

Естественно, Хуссейн не был удовлетворен ответом, выражавшим «холодность и колебание» и настаивал на необходимости уяснения данного вопроса до конца войны. Ибо после войны могли слететься коршуны, и арабские земли перешли бы под новое иго. Последовали еще девять писем с каждой стороны. В ходе переписки МакМагон и Хуссейн пришли к соглашению, что:

1. Арабы после войны получат территории в указанных

границах, за исключением округов Мерсины и Аданы. Вилайеты Халеба и Бейрута оставляются на время войны ведению Франции, по заключении перемирия Шериф мог надеяться получить поддержку Англии в возвращении данных территорий.

2. В Ираке округа, занятые британскими войсками, на короткое время оставляются под британской администрацией.

3. Англия окажет помощь в установлении правления в новообразованном государстве, без вмешательства во внутренние дела.

Для арабов обещания МакМагона стали формальным соглашением между ними и Англией. В феврале 1916 года Хуссейн запросил у МакМагона снабжения для готовящегося восстания, которое и было доставлено в Порт Судан в начале весны. Англия была заинтересована в союзничестве арабов, так как надеялась с их помощью вывести Турцию из войны. Однако у английского правительства, равно как и у французского имелись и другие, более далеко идущие интересы.

16 мая 1916 года, за три недели до начала восстания, дипломаты Марк Сайкс и Франсуа Жорж Пико, представлявшие Великобританию и Францию соответственно, заключили, с согласия России – члена Антанты, тайное соглашение о разделении сфер влияния на Ближнем Востоке после падения Оттоманской Империи. Это соглашение стало причиной отставки МакМагона и краха надежд арабов.

Согласно вышеназванному документу, под прямой контроль Франции попадали Киликия, побережье Сирии, Ливан и большая часть Галилеи – до линии, проходящей к северу от Акра до северной оконечности Галилейского озера («голубая зона»). К востоку от нее должно было быть образовано арабское государство под французским протекторатом (зона А). Под прямой контроль Британии переходили южная Месопотамия («красная зона») и территория вокруг средиземноморского залива Акра-Хайфы. Земли к востоку от реки Иордан и Негев образовывали

арабское государство под британским протекторатом (зона В). Территория к югу от французской «голубой зоны», включавшая Санджак Иерусалима и простиравшаяся к югу до линии Газа-Мертвое море, являлась «коричневой зоной» интернационального контроля.

За соглашением скрывались экспансионистские стремления. Франция обосновывала свои притязания на Сирию тем, что после крестовых походов на сирийском побережье остались латинские государства (жалкие остатки неудавшегося средневекового захвата, также прикрытого благовидными намерениями). Еще в марте 1915 года французское правительство заявило о своих притязаниях, после того как узнало о требованиях России на взятие Константинополя. Оно собиралось начать наступление посредством и военных сил, и политической стратагемы – такой как защита христианства в восточной части Средиземноморья и ислама в южной.

Великобритания руководствовалась «исторической целью» – распространением своего контроля над менее «культурными» странами (существует ли некий международный стандарт для определения культурности?[2]). Это чисто империалистическое стремление происходило от идеализации национализма, а также от застарелого консерватизма, продолжавшего связывать обширность владений с величием. Что же касается Месопотамии и всей «красной зоны», то здесь на мнение влияла нефть.

Политическое вмешательство в жизнь другой страны – слишком опасная форма «благотворительности». Довление одного народа над другим, особенно совершенно иным, не приносит последнему ничего, кроме вреда. Европеизация для восточных народов не могла стать лучше удушения национальной идентичности под властью турок, так как по существу она подразумевала то же самое, хотя и в иной, внешне более мягкой форме. Народ, как и отдельный человек, не может существовать без свободы.

Так с самого начала арабское движение освобождения было обречено, а вместе с ним и жизнь одного человечного англичанина – Лоуренса.

Глава LIII

Неудача арабов при Медине. – Гибель селения Ауали. – Освобождение Мекки. – Английская делегация в Хиджазе. – Освобождение Джидды и Таифа. – Продолжающиеся трудности Фейсала. – Иностранный контроль за положением в Аравии. – Дилемма Рабега. – Заинтересованность Франции в восстании арабов.

Арабское восстание было поднято наудачу и вслепую. Между частями не существовало связи, тактика и стратегия не были разработаны, необходимая военная информация отсутствовала и вооружения недоставало. Шериф Хуссейн отдал приказ, – и сыновья исполнили его, как импровизацию. Подобное начало грозило неудачей, что вскоре и произошло.

Турки оказались способны дать отпор. Их хиджазский гарнизон состоял из одной дивизии, три полка которой были дислоцированы в Мекке, Медине и Джидде. Их общая численность составляла приблизительно пятнадцать тысяч человек. Они обладали позициями, достаточно укрепленными для того, чтобы выдержать обрушившийся на них не набравший силы шторм.

После того, как на призыв Фейсала и Али откликнулись около тридцати тысяч человек, Али повел часть из них к северу, чтобы перерезать железнодорожную линию около Медайн-Салиха, в 225 км. от Медины, а Фейсал попытался взять город штурмом. Но его попытка не удалась, поскольку те, кто смог проникнуть в город, потерпели поражение в неравной схватке, а остальные, находившиеся за городскими пределами, оказались под огнем турецкой артиллерии и были наголову разбиты тем страшным шумом, который она производила. Аджейли и атейба бросились с коней на землю и замерли, а бени-али и вовсе обратились в бегство. Тщетно Фейсал и Али ибн эль-Хуссейн, которым была известна относительная безвредность подобного артиллерийского обстрела, ездили по равнине, пытаясь убеждением поднять упавший дух своего перепуганного войска, а заодно и его само... Для

арабов, знавших саблю и винтовку, современная артиллерия казалась непобедимым ужасом.*

Некоторые арабы из бени-али предложили туркам, что они сдадутся в плен в обмен на сохранение их селений. Фахри-паша, командовавший гарнизоном, принял их предложение. В минуту затишья он окружил пригород Ауали и приказал своим войскам атаковать его и уничтожить всех. После резни и поджогов, в которых живых и мертвых бросали в огонь, поселение перестало существовать. Для Аравии эта бойня стала потрясением, так как арабы свято придерживались правила сохранять жизнь женщин и детей и оставлять неприкосновенным то имущество, которое нельзя было забрать с собой.[1] Теперь кровь мертвых вопияла от земли, и сражение с турками стало делом чести.

Однако недостаток вооружения делал арабов почти бессильными, и Фейсал отвел на время свои войска с равнин близ Медины в холмы. Брат его Али отступил от железной дороги и соединился с ним. Старания Али тоже почти ни к чему не привели, потому что прерванное сообщение было восстановлено, и поезда ходили из Дамаска в Медину каждые два дня, совершая путь за двое суток.

Иначе обстояло дело в других местах. Из Мекки основная часть турецкого гарнизона была переведена в летние лагери в Таиф, расположенный в 120 км. к юго-востоку. Оставшийся отряд в одну тысячу человек был расквартирован

* В их оправдание стоит вспомнить одну историю их того же 1916 года – о том, какое впечатление могут производить технические новшества. В сентябре во Франции, вдоль старой римской дороги от Альбера до Бапома, на участке Флер-Курселет, были впервые использованы танки. Их число равнялось тридцати шести; одни были оснащены пулеметами, другие – 6-фунтовыми орудиями. За ними следовала английская пехота. Танки прошли три тысячи метров и остановились – некоторые из-за поломок, другие застряли в рыхлой земле. Тем не менее, они оказались весьма действенны: их появление так устрашило немецкую пехоту, защищавшую этот сектор, что англичане смогли без труда одержать победу – самую эффектную и самую недорогую из всех локальных побед на Западном фронте.

рован частью в казармах, находившихся в черте города, частью в фортах на близлежащих высотах. 9 июня в Мекке был поднят мятеж. Турецкий командующий оказался захваченным врасплох и вместо решительных действий позвонил Шерифу Хуссейну: «Бедуины восстали против правительства, найдите выход». – «Конечно, найду», – ответил Шериф, оценивший весь юмор положения, и немедленно отдал приказ об общем наступлении. Турки оказали упорное сопротивление, но 12 июня арабы подожгли казармы и изгнали их оттуда. В течение суток успех был развит: все оборонительные линии, кроме двух небольших фортов вне города, были заняты, а охранявшие их воинские части взяты в плен. Турки, удерживавшие оставшиеся два форта, показали, что для них не было ничего святого: артиллерийскому обстрелу подверглась мечеть. Снаряды пролетели вблизи Священной Каабы и подожгли ее покров. Это был выстрел в самое сердце Ислама, действо особенно дикое оттого, что было осуществлено представителями той нации, что полагала быть мусульманской. Но только полагала – так же, как, например, европейские народы считают себя христианскими, но много ли среди них истинных христиан? Религия на национальном уровне не существует, она – дело отдельного человека.

Святотатство еще более разожгло ненависть к врагу, хотя, казалось бы, после трагедии Ауали она не могла стать сильнее. Эти два форта сдались через месяц, и Мекка была освобождена.

6 июня близ Джидды высадилась английская делегация от Арабского бюро, возглавляемая Хогартом и имевшая целью обсуждение с Шерифом Хуссейном плана будущего восстания. Ожидалось, что ее встретит Абдулла, однако навстречу англичанам вышел Зейд, младший сын Хуссейна. Он объяснил это удивленным англичанам тем, что его братья заняты более важными делами. Делегация возвратилась в Каир с впечатлением, что арабы смогут выдержать эту борьбу, и с просьбой Шерифа прислать, по крайней мере, десять тысяч винтовок и некоторое количество горных орудий с мусульманской командой (поскольку арабы возражали против того, чтобы христиане при-

ближались к Священным Городам).

Генерал-губернатор Судана Реджинальд Вингейт, давно уже мечтавший об объединении арабов, не теряя времени направил из Порт-Саида три парохода, на которые были погружены под командой египетского офицера две горные батареи с офицерами-мусульманами и одна рота с четырьмя пулеметами, а также три тысячи винтовок и большой запас продовольствия и боевых припасов. 28 июня пароходы прибыли в Джидду.

Джидда была только что освобождена англичанами. Первую попытку предпринимал шейх племени харб 9 июня, но и здесь арабы не смогли выдержать артиллерийского огня. Однако им удалось отрезать город от доставки воды. Через два дня английские крейсера «Фокс» и «Хардиндж» обстреляли турецкие позиции, находившиеся к северу от порта, но ничего не могли поделать с окопавшимися турками, и вечером 15 июня на помощь были направлены английский авианосец и три гидросамолета. После воздушного обстрела противник силой в тысячу четыреста штыков сдался арабам. Позднее были взяты Рабег, в 175 км. к северу от Джидды, и Янбо. В руках турок оставались Вэджх, расположенный на севере Хиджаза, и Таиф.

В Таифе находились три тысячи турок, вооруженные десятью полевыми орудиями Круппа. Абдулла с пятью тысячами арабов окружил Таиф и стал ждать подкрепления. Оно прибыло с четырьмя пушками египетской горной батареи и захваченной у турок гаубицей. Обстрел был начат 16 июля (гул своей артиллерии привел арабов в восхищение) и скоро заставил замолчать турецкие пулеметы. Однако Абдулла не спешил развивать успех и продолжал держать осаду. 22 сентября, после того, как губернатор города был испуган попаданием нескольких снарядов в свой дом, гарнизон Таифа сдался.

В Рабеге, между Мединой и Меккой, была организована база, куда англичане направляли продовольствие и вооружение для арабов. Однако до Али и Фейсала не доходило ничего, а после того, как они послали туда гонцов узнать, в чем дело, к ним поступило только немного про-

визии и испорченные ружья. Денег не было прислано вовсе, и Фейсал, чтобы скрыть безнадежность положения, наполнил сундук камнями, тщательно закрыл и на время переходов приставлял к нему охрану из своих слуг. Наконец, Али сам отправился в Рабег. Там он узнал, что один из местных вождей, уверенный в победе турок, перехватывал прибывавшее снабжение. Али вызвал из Джидды Зейда с подкреплением. Вождь в страхе бежал, а шерифы завладели его селениями, где нашли все сокрытые вооружение и припасы, достаточные для их армий на месяц, и остались в Рабеге для длительного отдыха.

Фейсал оказался один в безнадежных холмах близ Медины. Его изолированные войска теперь зависели лишь от местных ресурсов, и в столь невдохновляющей обстановке довольно многие стремились уйти. В августе в только что освобожденный Янбо прибыл подполковник Вильсон, губернатор Судана, ставший представителем Вингейта в Джидде, и Фейсал воспользовался случаем, чтобы известить его о своем отчаянном положении. Вильсон был впечатлен историей Фейсала и им самим и обещал батарею горных орудий вместе с командами египетских офицеров, которые вскоре и были отправлены ему. Однако радость от прибытия подкрепления скоро угасла. Орудия были устаревшего образца с небольшой дальнобойностью, и турки, поначалу встревоженные, вскоре перехватили преимущество, и арабам снова пришлось отойти в холмы.

Что же касается иностранного контроля за положением в Аравии, то это было весьма запутанным делом. Политической стороной руководил МакМагон, покровительствовавший арабам, а его правой рукой был Рональд Сторрс. Но влияние МакМагона было ограниченным: во-первых, ответственность за дела в Аравии к югу от Хиджаза еще несло правительство Индии; во-вторых, МакМагон был подчинен генералу Мюррею, который являлся приверженцем косных доктрин и к тому же недолюбливал гражданские власти. В свою очередь, Мюррей подчинялся генеральному штабу в Лондоне, а МакМагон – министерству иностранных дел. Морское командование находилось в руках адмирала Росслина Вэмисса, поддерживавшего

идею восстания. Передвижениями через Красное море руководил Вингейт, и он же был назначен командующим операциями в Хиджазе и являлся советником Шерифа. Однако Вингейт располагал небольшими военными силами – и те были заняты подавлением мятежа в Дарфуре, – так что его содействие делу арабов являлось незначительным. Поэтому он направил Вильсона в Джидду как своего представителя в надежде, что тот окажется полезным, и Вильсон действительно вскоре смог заслужить доверие арабов и весьма подозрительного Шерифа. Связующим звеном между всеми этими руководителями являлся Клейтон.

В сентябре между английскими представителями власти начались разногласия. Неудачи арабов были неприятны для англичан в Египте и Судане, так как ставили под угрозу расчеты опрокинуть Турцию, и поэтому возникал вопрос об оказании практической помощи восстанию. Одним из проектов было занять Акабу с целью нарушить турецкое сообщение с Хиджазом. Шериф высказался против, и английское верховное командование, не желавшее посылать войска, осталось довольно. Но, тем временем, турки, усилившие свои войска в Медине, где их численность теперь составляла десять тысяч, угрожали наступлением на Мекку. Предполагалось, что они двинутся через Рабег, поскольку этот путь был менее трудным и на нем имелись источники, а также – снабжение для арабов. Было необходимо срочно найти возможность предотвратить их атаку.

МакМагон настаивал на отправке английских войск в Рабег, Мюррей был против – видимо, от неверия в успех восстания. Не придя к согласию, они в середине сентября передали дело на рассмотрение верховному военному командованию. Мнение Мюррея поддержал его преемник в центре Уильям Робертсон, который после краха кампании в Галлиполи и при неудачах в Салониках не желал отвлекать силы на дальние фронты и предлагал, чтобы поддержка была оказана только со стороны флота. Несколько министров, в том числе лорд Керзон и Остин Чемберлен, не согласились с позицией Робертсона, полагая, что на

месте о положении известно лучше. Было решено спросить мнение главнокомандующего английскими войсками в Египте и Месопотамии и вице-короля Индии. Те нашли возражения против отправки. Робертсон продолжал упорствовать, и министры сдались.

Между тем, восстанием заинтересовалась Франция. Для нее оно было весьма выгодным, так как, во-первых, могло, распространившись на Сирию, Палестину и Малую Армению, освободить эти территории от ига турецкого для замены его на французское; во-вторых, могло отвлечь турецкие силы и, в-третьих, заставить французских подданных-мусульман считать турок святотацами и возбудить симпатию к Франции, которая сражалась против союзников Турции.

По решению премьер-министра Франции в Хиджаз была направлена делегация религиозных деятелей с подарками Шерифу и денежной помощью, а также французская военная миссия, состоявшая из мусульман, но возглавляемая французским офицером. Во главе посланничества находился подполковник Бремон, специалист по Аравии, имевший опыт службы в Северной Африке. По прибытию в Джидду состоялась торжественная встреча, на которой французы передали арабам 1 250 000 золотых франков. Однако Шериф Хуссейн не был особенно рад материальному вспомоществованию со стороны Франции, полагая, что это может оказаться неблагоприятным для дела.

Французы рассчитывали воспользоваться затруднительным положением Шерифа и заключить с ним соглашение, которое гарантировало бы Францию в будущем от его притязаний на Сирию. Английское министерство иностранных дел ухватились за возможность сыграть на его нынешней слабости и, по возвращении миссии в Александрию, обратилось к Франции с просьбой прислать войска (желательно состоящие из мусульман), чтобы оказанием практической помощи повлиять на Шерифа и подогнать его желания под границы, определенные майским соглашением. Но французы не располагали на тот момент подходящими войсками, и единственно, что мог-

ли, это поддержать сторонников высадки экспедиции в Рабег. Вопрос вновь обострился.

Глава LIV

«Арабский бюллетень» и марки для Шерифа. – Воодушевление Лоуренса. – У Лоуренса появляется идея. – Маленький источник большого раздражения. – Перевод Лоуренса в Арабское бюро.

Теперь можно снова вернуться к Лоуренсу, которого мы оставили на столь долгое время.

Летом 1916 года Лоуренс переселился из гостиницы в дом одного из офицеров штаба, стоявший на острове посреди Нила. Хозяин находился в отсутствии, и он неплохо расположился там вместе с Хогартом. Теперь, по крайней мере, он обрел тишину. Ритм его жизни к тому времени стал еще более напряженным. «Наш штаб является центром анализа и синтеза информации, через который должен проходить каждый отчет и предмет, касающиеся Ближнего Востока. Объем материала поразителен, и все его части подбираются одна к другой, как самая удивительная мозаика».[1] К работе Лоуренса добавилось издание «Арабского бюллетеня», которое он инициировал в начале июня 1916 года «по естественной склонности».[2] «Бюллетень» выходил еженедельно, главным редактором был Хогарт, а публикациями являлись хорошо составленные офицерами отчеты о положении в Аравии. Хогарт писал в сотом номере: «Поскольку писать на хорошем английском было столь же легко, как и на плохом, но гораздо более приятно, “Арабский бюллетень” с самого начала имел литературный оттенок, не всегда присутствующий в отчетах разведки».

Лоуренс даже стал выпускать почтовые марки для Шерифа. «Это довольно забавно, потому что уже давно существовала идея относительно того, как должны выгля-

деть марки, и теперь ее можно претворить в приблизительном виде на практике. Плохо то, что они будут только маленькими изображениями, не с клише, поэтому очень мелкие детали невозможны. Я собираюсь намазать обороты душистым клеем, чтобы их можно было лизнуть без неудовольствия».[3] Он и к этому делу отнесся творчески, как если бы то было давно желаемое издание книг.

Известия о начале восстания воодушевили Лоуренса: это было именно тем, о чем он мечтал в школьные годы, чего мог ожидать в 1908 году, когда с волнением следил за происходившим в Турции, на что мог надеяться осенью 1914. «Я настолько ненавижу турок, – писал он домой 1 июля, – что очень приятно видеть, как их собственный народ восстал против них. ... Восстание, если оно увенчается успехом, будет величайшим событием на Ближнем Востоке с 1550 года». Это был проблеск надежды в темноте долгого гнета.

Однако вскоре движение смешалось, и радость Лоуренса угасла. Он справедливо полагал, что слабость восстания – в отсутствии должного руководства, и у него зародилась идея, над осуществлением которой он стал усердно работать.

Первым делом он добился для себя места, предоставлявшего ему бóльшие возможности. В штабе его деятельность не только была довольно общей, но еще и само положение являлось весьма неуютным. Поначалу его начальником в штабе был Клейтон, но его вытеснили оттуда, и освобожденное место занял полковник Хольдич, офицер разведки в Измаилии. Хольдич, не терпевший интеллектуального превосходства Лоуренса, начал ограничивать его действия, что тот расценил как стремление отстранить его от арабских дел. Между ними стали возникать противоречия: например, однажды Лоуренс оценил силы противника с точностью до одной сотни, Хольдич же забраковал его расчеты и дал свои, с приблизительностью до десяти тысяч, и только последующие события убедили его в своей неправоте.

Кроме того, сам восторг Лоуренса от арабского восстания являлся причиной неприятия к нему в штабе, поско-

льку некоторые из его представителей относились к происходившему с предубеждением, усиливаемым их личной неприязнью к МакМагону и Клейтону, покровителям восстания. Таким образом, Лоуренс был в их глазах своего рода «предателем» штаба.

Свое нелегкое положение Лоуренс использовал для достижения поставленной цели. В сентябре 1916 года он решил перейти из штаба в Арабское бюро, то есть снова под начало Клейтона. «Прямая просьба была отклонена, так что я приступил к стратагемам. Я сделался на телефонном проводе (генштаб был в Измаилии, а я в Каире) невыносимым для состава на Канале. Я использовал каждую возможность напомнить им об их сравнительном незнании и неспособности, проявлявшихся в отделе разведки (это было нетрудно!), и раздражал их еще больше литературными приемами, исправляя в их докладах сокращенные инфинитивы в стиле Бернарда Шоу и тавтологии. Через несколько дней они были доведены до белого каления и, наконец, решили больше не терпеть меня»,[4] – и переместить источник раздражения подальше. Лоуренс возликовал. А пока перевод оформлялся частным порядком через Лондон, он поймал эту «стратегическую возможность», чтобы попросить о десятидневном отпуске: «Я сказал, что Сторрс собирается в Джидду, где у него есть дела с Великим Шерифом, и что я хотел бы выходных и увеселительной поездки с ним по Красному морю. Они не любили Сторрса и были рады избавиться на время от меня. Так что они тотчас согласились и начали готовить для меня какую-то официальную нишу против моего возвращения. Излишне говорить, что я не имел никакого намерения предоставлять им такой шанс, потому что в то время, как я с большой готовностью отдавал свое тело ничтожной службе, я колебался тратить бездумно свой разум»[5]. Он отправился к Клейтону и рассказал ему о положении вещей, после чего тот устроил, чтобы неприкаянного Лоуренса перевели в Арабское бюро. Так перед Лоуренсом открылся путь, которого он давно желал.

Глава LV

Время настало. – Поездка Лоуренса в Джидду. – Встреча с Абдуллой. – По улицам Джидды. – Музыка пленников.

«Я могу делать больше, чем сражаться, и больше, чем это полезно», – знал Лоуренс среди всеобщего лихорадочного порыва первых дней войны, и позднее это осознание усиливало его угнетение от бессмысленного пребывания в штабе. Начатое же восстание, вскоре сбившееся, как неверно настроенный механизм, вызвало у него нетерпение приступить к давно желаемым действиям. «Фатальная подчиненность профессионального солдата (при том, что интрига неизвестна в британской армии) заставила бы настоящего офицера сесть и наблюдать, как его план кампании рушится людьми, которые ничего в нем не понимают и которых вовсе не привлекает его дух. Non nobis, Domine».[1] «Не нам, Господи»: время Лоуренса настало.

Он понимал, что слабость арабского движения происходит от отсутствия умелого руководства – «не разума, не суждения, не политической мудрости, но огня энтузиазма, который воспламенил бы пустыню»,[2] – и поэтому решил отправиться в Хиджаз с целью найти вождя для восстания, который мог бы привести свой народ к победе. Успех в этих поисках оказался бы неоценимой помощью арабам, особенно значимой оттого, что она исключала бы прямое вмешательство англичан. «Арабы должны сами выиграть свою войну», – таково было твердое и верное убеждение Лоуренса. Оказать поддержку, вывести на верный путь: как некогда он помогал Дахуму найти себя, так теперь желал поспособствовать его народу. Большего он не мог бы предполагать – и не хотел бы.

13 октября 1916 года Лоуренс вместе со Сторрсом вступил на борт военного корабля «Lama». Одним из спутников оказался Азиз эль-Масри, прежде полковник в турецкой армии и ныне генерал в армии Шерифа, направлявшийся к нему для обсуждения дел арабских регуляр-

ных частей, которые Азиз формировал в Рабеге. Он считался подходящим человеком для командования арабскими силами в Хиджазе.

Путь был спокойным, и погода приятной. Днем пассажиры лежали в тени, а по ночам прохаживались под звездами по влажной палубе. В полдень 16-го октября пароход стал на якорь в бухте Джидды. Аравийская жара поразила, «как выхваченный меч».[3] Казалось, белый город вместе со своим миражом витал в разогретом воздухе, заставлявшем мир плоиться, а прямо бьющее солнце стирало краски, превращая город в одно поразительное къяроскуро черных улиц и белых домов. В бухте мерцала знойная дымка, а за городом катились волны унылых песков, уходившие до слабо намеченных холмов в мареве на горизонте.

Вильсон отправил к кораблю лодку, и пассажиры «сошли на берег, чтобы узнать реальность людей, левитировавших в этом мираже».[4] Лоуренс и Сторрс миновали строившийся причал, прошли через полный людей и мух базар, сокрытый в полумраке навеса, и достигли консульства, где рассчитывали встретиться с Абдуллой, вторым сыном Шерифа. Там, в затененной комнате с открытым окном, их холодно поприветствовал Вильсон. Сторрс был для него подозрителен, а Лоуренса он знал только по одному эпизоду, когда их мнения разошлись относительно того, является ли ношение арабской одежды неподходящим для английских офицеров. Тогда мнению Лоуренса о практической «неудобности» этого одеяния Вильсон противопоставил свое о его идеологической неправильности.

Спустя некоторое время появился Абдулла, восседая на белой лошади в окружении своих пеших слуг во всеоружии. Невысокий, крепкого сложения, с тщательно ухоженной бородкой, скрадывавшей округлость его лоснящегося довольством лица, он светился гордостью за свои успехи в Таифе. Ему было тридцать пять лет, но он был излишне полным, что явно свидетельствовало о потворстве себе в любви к жизни, которая казалась ему весьма веселой и, надо полагать, таковою и была – в отсутствии

усилия и напряжения. Арабы справедливо считали его прозорливым государственным деятелем и ловким политиком, а слухи о его военных успехах представляли его как движущую силу восстания, чем он на самом деле не являлся, хотя и желал освобождения своего народа. Для Сторрса он был старым добрым знакомцем, тогда как Лоуренс видел его впервые. Однако еще до того, как Сторрс и Абдулла заговорили, у Лоуренса возникло подозрение в неискренности постоянной бодрости и благорасположения Абдуллы. Лоуренс умел с первого взгляда оценить человека, подметив и суммировав детали, нередко ускользавшие от внимания других. Как прежде казалось бы незначительные предметы помогали ему соотнести место раскопок с определенной эпохой и культурой, так черты поведения позволяли охарактеризовать человека.

По мере того, как шла беседа, Лоуренс все больше убеждался в непригодности Абдуллы для роли вдохновенного вождя, способного воодушевить арабов на их великую борьбу. «Абдулла был слишком уравновешенным, слишком холодным, слишком веселым, чтобы быть пророком – особенно вооруженным, который (если история права) побеждает в переворотах. Его ценность, возможно, открылась бы в мирной жизни после успеха [так решил Лоуренс осенью 1916 года, и так стало в 1921-м]. Во время физического усилия, когда были необходимы целеустремленность и притяжение, преданное служение и самопожертвование, Абдулла оказался бы инструментом слишком сложным для простой цели, хотя его не должно было игнорировать даже теперь».[5]

Затем в разговор пришлось вступить Лоуренсу – после того, как Сторрс попросил Абдуллу изложить для того свое мнение о состоянии военных дел и о связи со штабом в Египте. Абдулла желал, чтобы англичане немедленно и со всей серьезностью проявили участие в происходящем, поскольку, как он считал, из-за их небрежения Фейсал был отброшен от Медины, турки укрепились в ней, так как железная дорога не была перерезана, и ныне готовятся выступить на Рабег, а арабы в холмах на их пути лишены должного снабжения, и вождь племени масрух-харб встал

на сторону турок и в скором времени за ним может последовать все племя. При таком бедственном положении Шерифу ничего не остается, как возглавить свой мекканский народ и умереть в битве пред Святым Городом.

Патетическая речь Абдуллы была прервана телефонным звонком: Шериф желал переговорить с ним. Абдулла передал ему только что произнесенные трагические слова, и тот с готовностью подтвердил, что турки войдут в Мекку лишь через его труп. Когда разговор был окончен, Абдулла, чуть улыбаясь, попросил подготовить в Суэце бригаду, желательно из мусульман, чтобы, как только турки выступят из Медины, направить ее в Рабег. Лоуренс ответил сначала на пункты недавней речи Абдуллы, объяснив, что Шериф просил не нарушать работы железной дороги, которая ему потребуется для вступления в Сирию; что отправленный динамит был возвращен Шерифом как слишком опасное оружие для арабов; и что от Фейсала не поступало требований снаряжения. Относительно Рабега Лоуренс заметил, что бессрочно содержать транспорт в Суэце невозможно, мусульманские части отсутствуют, а отправка английских войск затруднительна и потребует много времени для погрузки и высадки, причем бригада не сможет удерживать обширные позиции Рабега и отправить отряд для задержания какой-либо турецкой колонны, проходящей мимо. Самое большее, что в их силах, – защищать побережье при поддержке с моря, но суда могут выполнить это и без них.

Абдулла указал, что британские военно-морские силы лишили себя доверия при Дарданеллах, ни один турецкий отряд не сможет проскользнуть мимо Рабега – единственно обладавшего запасами воды, а бригада в Рабеге требуется как временная мера, поскольку он намеревается повести свои победоносные войска к Медине, где, соединившись с Фейсалом и Али, произведет атаку. Тем временем, Азиз эль-Масри сформирует из добровольцев Месопотамии и Сирии батальоны в Рабеге, а после того, как англичане добавят военнопленных из Индии и Египта, всем этим силам будут переданы обязанности, временно вверенные английской бригаде.

Лоуренс отвечал, что, хотя и представит его планы в Египте, но почти наверняка они не будут приняты, поскольку англичане против отвода сил от Суэцкого канала и отправки христиан для защиты Святого Города... Но он мог бы с бóльшими основаниями отстаивать позицию Абдуллы, если было бы возможно представить собственный отчет по вопросу Рабега. К тому же он хотел бы встретиться с Фейсалом, чтобы узнать о его нуждах и перспективах.

Сторрс пылко поддержал Лоуренса, сказав, как необходима полная информация главнокомандующему в Египте, который, направив сюда «своего самого квалифицированного и самого необходимого штабного офицера», этим подтвердил серьезную заинтересованность в делах арабов. В этих словах заключалась замечательная ирония...

Абдулла позвонил отцу, чтобы испросить его разрешения для поездки Лоуренса к Фейсалу. Шериф отнесся к этому с недоверием, и Абдулла, добившись некоторого успеха в убеждении, передал трубку Сторрсу. Тот использовал все свое красноречие и дипломатию, противостоять которым было невозможно. Шериф снова вызвал Абдуллу и дал ему разрешение написать к Али, который, если сочтет должным и условия будут подходящими, может позволить Лоуренсу отправиться к Фейсалу в Джебель Субх. Абдулла, благодаря влиянию Сторрса, изложил для Али указания подготовить и осуществить поездку Лоуренса. На этом обсуждение завершилось.

Когда солнце опустилось ниже, и лучи не поражали столь сильно, Лоуренс со Сторрсом отправились побродить по молчаливым улицам Джидды. Звуки шагов гасли в слежавшемся песке и кружевном множестве оконных решеток. Дома с плотно оштукатуренными фасадами, выступающими надстройками, окнами, склоняющимися в одну или другую сторону, казались вырезанными из картона. Прохожих почти не было, лишь изредка мимо скользили худые фигуры в одинаковых белых одеяниях и красных головных покрывалах. Тишина казалась почти зловещей, словно весь город замер в ожидании чего-то значи-

тельного и тяжелого.

Вечером Шериф вызвал Сторрса к телефону и предложил послушать свой оркестр. Сторрс был изумлен. Шериф объяснил, что оркестр принадлежал штаб-квартире турецкого командования в Хиджазе и каждый вечер играл генерал-губернатору. Когда последний был взят в плен в Таифе, плененным оказался и его оркестр, который ныне развлекал победителей в Мекке. Шериф положил трубку на стол в своей приемной, и собравшиеся, торжественно вызываемые один за другим к телефону, слушали игру во дворце Мекки, расположенной в сорока пяти милях. Сторрс поблагодарил Шерифа от лица всех, и тот обещал прислать музыкантов форсированным маршем в Джидду для выступления: «Тогда Вы сможете доставить удовольствие и мне, позвонив с Вашего конца, чтобы я мог разделить Вашу радость».[6]

На другой день Сторрс снова встретился с Абдуллой. Лоуренс, решив, что Абдулла не подходит на роль вождя, теперь старался избежать ненужных аудиенций. Он возлагал надежду на Фейсала, который начал вызывать у него особенное расположение после того, как он узнал, что тот просил отца не следовать неосуществимым планам Абдуллы, разработанным для восстания.

Вечером того дня Абдулла, в числе других, прибыл отужинать с Вильсоном. Его сопровождали великолепные слуги и группа измученных людей в изношенной турецкой униформе и с потускневшими музыкальными инструментами. «Мой оркестр!» – гордо взмахнул рукой Абдулла. Их разместили во дворе, Вильсон послал им папиросы, тогда как приглашенные направились в гостиную. Под «вдохновением» сабель и дул слуг Абдуллы, оркестр заиграл мучительные турецкие мелодии. У гостей уши болели от шума, но Абдулла сиял.

Вскоре турецкая музыка наскучила, и гости попросили сыграть что-нибудь немецкое. Оркестр нестройно грянул одну мелодию – как раз, когда позвонил Шериф, чтобы послушать. Затем последовала следующая, сбившаяся посреди в вялый ропот барабанов, отсыревших во влажном воздухе Джидды. Музыканты попросили огня, чтобы

обсушить инструменты. После того, как у костра из соломы и ящиков они были приведены в порядок, оркестр заиграл то, что было представлено как «Гимн ненависти», хотя никто не смог признать в этом европейской мелодии. Один из присутствующих обратился к Абдулле: «Это похоронный марш». Глаза Абдуллы расширились, но Сторрс спас положение, обратив все в шутку. Несчастным музыкантам, желавшим только возвращения домой, были посланы благодарности и остатки со стола.

Глава LVI

Лоуренс в Рабеге. – Али бин Хуссейн. – Начало пути. – «Обратное паломничество». – Явление красоты.

19 октября Лоуренс отправился в Рабег, где встретился с шерифом Али. Тот подготовил для него своего великолепного верхового верблюда, предоставил собственное седло и должное убранство, весьма роскошное. Он старался устроить все как можно лучше из-за знакомства Лоуренса с Нури Саидом, блестящим багдадским офицером, ныне помощником командира регулярных войск, которые Азиз эль-Масри готовил в Рабеге. Лоуренс подружился с Нури в Каире, когда тот был болен.

Али пришелся Лоуренсу по душе. «Он был среднего роста, худой и выглядел старше своих тридцати семи лет. Он слегка сутулился. Его кожа была желтоватой, карие глаза большими и глубокими. У него был тонкий орлиный нос, а губы с опущенными уголками имели печальное выражение. У него была небольшая черная бородка и очень деликатные руки. Он обладал манерами достойными и заслуживающими восхищения, но прямыми, и поразил меня как приятный джентльмен, честный, без особой силы характера, нервный и скорее усталый. Его физическая слабость (он страдал чахоткой) делала его подверженным быстрым приступам лихорадочной страсти, которым предшествовали и за которыми следовали долгие перио-

ды бессильного упорства. Он был начитанным, сведущим в праве и религии и набожным почти до чрезмерного. Он слишком хорошо сознавал свое высокое наследие, чтобы быть амбициозным, а его сущность была слишком чистой, чтобы видеть или подозревать корыстные мотивы в людях, которые окружали его. Следовательно, он оказывался добычей любого постоянного сотоварища и был слишком чувствительным, чтобы подходить на роль великого вождя, хотя чистота его намерений и поведения обеспечили ему любовь тех, кто близко соприкасался с ним. Если бы Фейсал не оказался пророком, восстание вполне мог возглавить Али».[1] Лоуренс считал его в гораздо большей степени арабом, чем Абдуллу или Зейда. Зейд был рожден от турчанки в Турции и там же, как и его братья, получил образование. На момент знакомства с Лоуренсом он был юношей восемнадцати лет, застенчивым, спокойным и легкомысленным. Из-за своего происхождения и воспитания он не мог испытывать особого сочувствия к восстанию, но, тем не менее, понравился Лоуренсу, который понял, что однажды тот станет решительным человеком, – когда найдет себя.

Али не желал отпускать Лоуренса в путь ранее, чем с наступлением сумерек, чтобы никто из его лагеря – даже его слуги – не узнал об этой поездке. Он дал Лоуренсу арабский плащ и головное покрывало для сокрытия униформы и придания должного силуэта, когда тот будет ехать в темноте на верблюде. В проводники Али выбрал заслуживавшего доверия Тафаса эль-Рашида, хазими из бени-салема (клана племени харб), и его сына Абдуллу и поручил им охранять Лоуренса от каких бы то ни было любопытствующих странников, что могут встретиться в пути. Округ Рабега населяло племя масрух-харб, расположенное к туркам, и если бы его про-турецки настроенный шейх узнал об отбытии Лоуренса, то мог бы направить своих людей на его перехват. Для арабов была очень дорога верность спутников, и провожатый отвечал своей жизнью за безопасность доверившегося ему человека. Любой, кто осмелился бы нарушить этот неписаный закон жизни пустыни, оказался бы подвергнут суровому остракизму.

После заката 21 октября Лоуренс собрался в дорогу. Его провожали Али, Нури Саид, Азиз и Зейд. Зейд был очень обходителен с Лоуренсом и даже превзошел Али в своей приятности.

Покинув пальмовые рощи Рабега, окружавшие разбросанные здесь и там дома, Лоуренс и его проводники выехали на безликую песчаную полосу Техамы, тянувшуюся многие мили по западному побережью Аравии между берегом и холмами, – выехали к той дороге паломников, начало которой Лоуренс увидел близ Музериба зимой 1911 года. Над просторами одиночества безводной пустыни мерцали звезды, всюду те же. Спутники молчали, верблюды бесшумно ступали по мягкому песку, и Лоуренс мог нетревожимо погрузиться в свои размышления. Он думал о том, что в продолжение веков этим путем паломники шли поклониться Святыням Ислама и что арабское восстание должно было стать в некотором смысле «обратным паломничеством», возвращающим назад, в Сирию, идеал за идеал: свободу – за прежнее поклонение. Как дар Святынь должна была быть принесена свобода, величайший дар Божий, тому народу, который нес к ним с севера дар своей веры. И ему, Лоуренсу, следовало дать арабам на этом пути надежного «проводника», что привел бы их к ее величавому храму, врата которого распахнулись бы и перед тем сирийским юношей, ожидавшем его на берегах Евфрата. Свобода – дар Всевышней Любви, которой причастна любящая душа, и Лоуренс желал наградить своего любимого этим бесценным подарком.

Через несколько часов все чаще стали попадаться крошечные кустики с выметенными ветром впадинами между ними, затруднявшими продвижение. Смутный свет звезд не позволял хорошо видеть дорогу, и шаг верблюдов стал неуверенным, так что к полуночи странники спешились. Лоуренс плотнее завернулся в плащ и, устроившись в ямке, подходившей ему по размеру и форме, спал, как в самой удобной постели, почти до самого рассвета.

Утром 22 октября путники снова были в седле. Миновав голубые лавовые поля и кряжи, они выехали к открытому пространству – Мастуре, равнине, через которую Ва-

ди Фура выходит к морю. Ее поверхность покрывала сеть высохших неглубоких протоков, а под землей сохранялась влага, дававшая жизнь кустарникам и деревьям. Тафас сказал, что в двух часах езды, на выходе Вади Фура из последних гранитных скал, располагается небольшое поселение Корейба, где имеются источники. Таким образом, важность этого вади недооценивалась: оно было прямой дорогой из Медины к окрестностям Рабега, и турки в своем продвижении могли сосредоточиться как раз в Корейбе. Из дальнейших расспросов Лоуренс узнал, что к востоку от Рабега, в Хаджаре, находится другой источник, которым владеет племя масрух-харб. Таким образом, турки могли после Корейбы направиться в Хаджар, миновав Рабег. Английская бригада в Рабеге оказалась бы бесполезной.

У северной оконечности Мастуры располагался колодец, за которым возвышались разрушенные стены некоего строения, а напротив находились небольшие убежища из ветвей и пальмовых листьев, под которыми сидели несколько бедуинов. Лоуренс и его проводники спешились около стены. Лоуренс сел в ее тени, а Тафас и Абдулла принялись поить верблюдов и доставать воду для себя и него, после чего тоже присели отдохнуть. Спустя некоторое время появились несколько бедуинов из масрух-харб с большим стадом верблюдов. Лоуренс и его спутники молча наблюдали за ними, когда с севера подъехали два всадника на породистых верблюдах. Оба были молоды. Один был роскошен в богатых кашмирских одеяниях с вышитым шелковым головным покрывалом, а другой выглядел скромнее, будучи в белой одежде и красной куфии. Они остановились около колодца, и великолепный наездник грациозно спрыгнул на землю, не заставляя верблюда опускаться на колени, и, бросив поводья спутнику, небрежно сказал: «Напои их, пока я отдохну». Он подошел к той стене, где сидел Лоуренс, с нарочитым невниманием взглянул на соседей и присел в тени. Предложив Лоуренсу сигарету, он спросил: «Вы из Сирии?» Лоуренс ответил ему с вежливой неопределенностью и предположил, что тот из Мекки, на что также не получил прямого ответа.

Они немного поговорили о войне и о верблюдах.

Между тем, другой незнакомец ожидал у колодца, пока харб закончат поить своих животных. Его молодой господин, увидев, что тот медлит, крикнул ему: «В чем дело, Мустафа?» Слуга подошел и ответил уныло: «Они меня не подпускают». «Боже милосердный!» – вскричал его хозяин, поднимаясь, и ударил несчастного слугу несколько раз по плечам своей ездовой тростью: «Иди и попроси их». Мустафа пораженно взглянул на него, как будто собираясь ответить тем же, но удержался, и побежал обратно. Харб, наблюдавшие эту сцену, пожалели слугу и пропустили его верблюдов к своему корыту. «Кто он?» – шепотом спросили они у него. «Двоюродный брат нашего господина из Мекки». Они тотчас бросились отвязывать от одного из своих седел связку листвы, после чего рассыпали ее перед верблюдами мекканского господина и его слуги. Молодой шериф наблюдал за ними с удовлетворением. Затем, когда его верблюд насытился, он поднялся и так же грациозно и без явного усилия взобрался в седло. Устроившись, он церемонно попрощался с Лоуренсом и остальными арабами и направился к югу, тогда как Лоуренс и его спутники поехали к северу.

Вскоре Лоуренс заметил, что Тафас на что-то посмеивается, и спросил, что его так развеселило. Тафас напомнил ему о тех двух всадниках. «Шериф и его слуга?» – уточнил Лоуренс. «Да, только это были шериф Али ибн эль-Хуссейн из Модига и его двоюродный брат, шериф Мохсин, господа харитов, которые являются кровными врагами масруха. Они боялись, что арабы могли их задержать или отогнать от воды, если бы признали. Так что они разыграли хозяина и слугу из Мекки. Вы видели, как Мохсин был рассержен, когда Али ударил его? Али черт. Когда ему было только одиннадцать лет, он сбежал из дома к своему дяде, разбойнику на торговых дорогах, и жил у него собственным трудом многие месяца, пока отец не поймал его. Он был с нашим господином Фейсалом с первого дня боев у Медины и вел атейбу через равнины у Аара и Бир Дервиша. Все это было сражением на верблюдах, и с Али не было ни одного человека, который не

мог бы делать то же, что и он: бежать рядом с верблюдом и вспрыгивать в седло, опираясь на одну руку и держа винтовку в другой. Дети племени харитов – дети сражения».

Молодой блистательный шериф запомнился Лоуренсу. После двух лет каирского «отлучения» от истинных арабов, опустошенности и воздержания, он не мог не взволноваться, увидев это животворящее явление красоты, неожиданно возникшее в пустыне одиночества, как его греза. Али завладел его сердцем – первый после Дахума.

Глава LVII

Через пустыню. – Подозрительный незнакомец. – Вади Сафра. – Встреча с Фейсалом.

Вершина горы Рудва, поднимавшаяся за Янбо, смутно вырисовывалась вдали, поглощенная знойным туманом. Справа тянулись острые кряжи Бени Айюб, за которыми на отдалении вставали багровые на солнце массивы Джебель Субх. Мириады песчинок ослепительно сияли под палящими лучами, а от земли шли волны жара.

Путники покинули дорогу паломников и свернули вправо, на пески, поросшие жесткой травой и низким кустарником. Здесь заканчивалась территория неприятельского масруха и начинались владения племени Тафаса. Пустынная местность, со всеми ее слабыми признаками жизни, имела хозяев. У каждого источника, даже у каждого дерева был владелец, оставлявший доступ к ним свободным для любого человека, который захотел бы воспользоваться этими благами для себя, но готовый воспрепятствовать всякому, кто решил бы обратить их на корыстные цели.

Проехав анфиладу покрытых булыжником долин, Лоуренс и его спутники вновь выбрались на путь паломников и следовали им до заката, когда остановились в

небольшом селении Бир эль-Шейх. Там Тафас приобрел муки и испек в пепле костра лепешку на троих. Лоуренс чувствовал себя сильно утомленным. Глаза болели от солнечного блеска, отражавшегося от камня и песка, а тело ныло после непривычной нагрузки. Два последних года он был лишен какой бы то ни было физической активности, проводя все дни в штабе, и единственным движением была только недолгая ходьба в гостиницу и обратно. Тело быстро слабеет, и от прежней закаленности Лоуренса не осталось следа.

Через два часа путники снова были в седле. Черная мгла окутала долины, удерживавшие жаркий воздух дня. Сон одолевал Лоуренса, и он то и дело мучительно вздрагивал от своего короткого забытья, хватаясь за седло, чтобы удержать равновесие. Напрасно он напрягал слух и зрение, пытаясь уловить исчезнувшую в темноте пустыню и таким образом отогнать сон. Тьма и ненарушаемая тишина убаюкивали его. Наконец, когда время было далеко за полночь, был сделан привал. Лоуренс укутался в плащ и снова устроился в песчаной ямке, на три часа.

Он проснулся на рассвете. Свет бледнеющей луны озарял черно-белые скалы, постепенно приобретавшие цвет. Когда совсем рассвело, вдали открылось селение Бир эль-Хассани, состоявшее из тесно сгрудившихся домов, за которым вздымался темный обрыв Субха. От селения выехал всадник и направился прямиком к Лоуренсу и его спутникам, которые были уже в седле. Поприветствовав их с преувеличенной дружественностью и назвавшись Каллафом, он настойчиво попытался завязать разговор, но Тафас избегал его общества. Тогда Каллаф достал вчерашнюю лепешку и угостил путников, оставив себя без провизии. Арабы считали признаком изнеженности брать с собой запасы пищи для небольшого путешествия в сотню миль.

После того, как лепешка была съедена, беседа стала гораздо оживленнее. Каллаф заговорил о недавней битве и о поражении Фейсала. Среди соплеменников как Каллафа, так и Тафаса были потери, и о каждом было сказано отдельно. Лоуренс прислушивался к разговору и тем

временем осматривал местность, которую они проезжали. То была широкая долина с легкой почвой, полная древовидных акаций, тамариска и более низкого кустарника, казавшихся в ясности утреннего солнца кружевом мягкой тени. Землю усеивали разноцветные камни, привлекшие внимание Лоуренса своими красками. Картину обрамляли с обеих сторон правильные линии острых утесов из коричневого гранита и темного порфира.

Когда через миль семь на пути показалась полуразрушенная стена, соединявшая склоны долины, Лоуренс поинтересовался у Каллафа о ее назначении, но тот вместо ответа заговорил о своих знакомых в Египте и спросил у него, знает ли он там кого-нибудь из англичан. Лоуренс ответил на халебском диалекте, и тогда Каллаф упомянул о своих знакомых среди известных сирийцев. Словно невзначай он начал расспрашивать о Шерифе и его сыновьях. Лоуренс не находил нужных ответов и сбивчиво парировал, пока, наконец, не вмешался Тафас и не переменил тему. Лишь позднее стало известно, что Каллаф был турецким шпионом.

За стеной начинался приток Вади Сафра, просторный и каменистый, а через несколько миль, за склоном и выступом скал, открылось и само Вади. В нем ютилось поселение Васта, дома которого лепились по обоим откосам, а также стояли на наносных островках посередине. Зимний поток принес на дно долины белые плоские булыжники и валуны. Посреди этого высохшего русла было небольшое озерцо чистой воды, обрамленное густой травой и цветами. Путники спешились около него, чтобы немного отдохнуть, а потом направились к отдельно стоявшей группе домов, столь низких, что с седла можно было видеть их крыши. В одном из них, темном и чистом, они остановились переждать полуденный зной, после чего путь был продолжен. После пальмовых садов, которые питали специально устроенные каналы, взору открылось центральное поселение Васты. Некогда она была густо населена и насчитывала тысячу домов, но однажды трехдневный поток в футов восемь высоты прокатился по вади, смыв пальмы и обратив глиняные дома в исходное вещество, и

жизнь здесь пришла в упадок. Далее находилось еще одно, меньшее, селение и, наконец, в ровной долине с откосами из черного и красного камня показались отряды Фейсала. Каждый грот или рощица являли собой бивуак. Солдаты весело приветствовали Тафаса, бывшего для них своим, а он спешил скорее завершить свое дело и доставить Лоуренса к Фейсалу.

Слева показалось селение Хамра, примерно в сотню домов, сокрытое среди садов и небольших земляных насыпей. Проехав под деревьями на вершину одной из этих насыпей, Лоуренс и его спутники спешились у ворот длинного приземистого дома. Тафас что-то сказал стоявшему там слуге, и тот провел Лоуренса во двор. «На его дальней стороне, в обрамлении косяков черного проема, стояла белая фигура, напряженно ожидавшая меня. Я с первого взгляда почувствовал, что это был именно тот человек, ради которого я и приехал в Аравию: вождь, что приведет арабское восстание к полной победе. Фейсал выглядел очень высоким, стройным и очень изящным в длинных белых шелковых одеяниях и коричневом головном покрывале, перехваченном великолепной пурпурной с золотом перевязью. Его взгляд был опущен, а черная борода и бледное лицо казались маской по сравнению со странной спокойной настороженностью его тела. Его руки были скрещены на кинжале».[1] Так 23 октября 1916 года Лоуренс впервые увидел человека, с которым ему было суждено пройти свой аравийский путь – и ту тихую дорогу духа, что для него неизбежно заканчивалась одиночеством.

Лоуренс приветствовал Фейсала. Тот пропустил его в дом, а затем вошел сам и устроился на ковре у дверей. Когда глаза Лоуренса привыкли к полумраку, он заметил, что небольшая комната полна молчаливых фигур, одни из которых пристально взирали на него, а другие – на Фейсала. Тот, не поднимая глаз, медленно скользил руками по своему кинжалу, а затем мягко спросил Лоуренса, каким было его путешествие. Лоуренс сказал о жаре, и Фейсал поинтересовался, как давно он выехал из Рабега. Получив ответ, он заметил, что Лоуренс ехал быстро для этого времени года.

– Нравится ли Вам здесь, в Вади Сафра? – спросил Фейсал.
– Да, но это далеко от Дамаска.

Слова Лоуренса «упали, как меч». И имя Фейсала означало «меч, сверкнувший при взмахе»: так в своем порыве они уже стали едины, даже еще не узнав друг друга. Присутствующие встрепенулись от замечания Лоуренса и замерли: кто-то, должно быть, думал о будущей победе, а кто-то – о недавнем поражении. Наконец, Фейсал взглянул на Лоуренса и улыбнулся ему:
– Слава Богу, турки есть и поближе.

Глава LVIII

Трудности Фейсала и его планы. – Образ Фейсала.

Лоуренс узнал от Фейсала, как под натиском турок тот оказался вынужден отступать все дальше, пока 19 октября не перешел из Бир Аббаса в Хамру. Примечательно объяснение Лоуренса, данное этому отходу: «То было жестом отвращения, потому что ему наскучило свое очевидное бессилие, и он решил получить достоинство краткого отдыха».[1] Фейсал предполагал отступить еще дальше, в сторону Вади Янбо, откуда с новыми сторонниками из племени джухейна он вышел бы к Хиджазской железной дороге за Медину, в то время как Абдулла двинулся бы через лавовую пустыню атаковать Медину с востока. Фейсал надеялся, что в то же время Али выйдет из Рабега, а Зейд отвлечет значительные силы противника в Бир Аббасе. Таким образом, турки были бы задержаны в атакованной с трех сторон Медине, а в Рабеге и южном Хиджазе могли тем временем подготовиться к обороне или контратаке. Однако для осуществления плана не хватало вооружения.

Ранее уже вскользь отмечалось, сколь плохо была экипирована на тот момент арабская армия. Ее винтовки и

сабли оказывались почти бесполезны против турецких гаубиц и полевых орудий. Нередко стороны вступали в рукопашную схватку. Шум одного из таких столкновений однажды услышал Лоуренс, пребывая в лагере Фейсала. «Для моих ушей это звучало странно – как примитивный бой, с потоком слов с обеих сторон в предварительном состязании умов. После того, как перебранка с употреблением самых страшных ругательств, существовавших в известных им языках, достигала пика, турки в бешенстве называли арабов “англичанами,” а арабы вопили в ответ “немцы.” Конечно, никаких немцев в Хиджазе не было и я был там первым англичанином, но каждая из сторон любила проклятия, и любое определение звучало язвительно на языке таких артистов».[2]

Фейсал настойчиво требовал артиллерии. Его горячо поддерживал Мавлюд эль Мухлюс, некогда командир турецкой кавалерии, первый солдат регулярной армии, присоединившийся к Фейсалу. «Не пишите про нас историю, – сказал он Лоуренсу. – То, что сейчас необходимо – это сражаться и бить их. Дайте мне батарею шнейдеровских горных орудий и пулеметы, и я покончу с ними. Мы только говорим и ничего не делаем». Лоуренс ответил ему с тем же пылом, и между ними начался жаркий спор. Фейсал наблюдал за ними, улыбаясь. Даже эта речь оживляла его, смертельно измученного неудачами и безысходным напряжением. Само прибытие Лоуренса оказалось для него воодушевлением, как луч света в темноте. Лоуренс, пылкий, увлеченный и уверенный, был явленной надеждой для него, загнанного в глухую подавленность скал, равно как был и отдохновением. Фейсал, столь же чуткий, как Лоуренс, не мог не ощутить в нем равного и близкого – другого себя.

Для обоих были общими духовная чистота, честность, страстность в служении своему делу, открытость к людям, человечность вплоть до самоотречения и то презрение к миру и его ложным благам, что отмечает великие души. Но, в отличие от Лоуренса, Фейсал был человеком настроений, метавшийся между надеждой и отчаянием в лихорадочных взлетах и мучительных спадах, что бывают при-

сущи тем, в ком духовная сила горько противопоставлена телесной слабости, и дух в своих стремлениях вновь и вновь опрокидывается в бессилие тела.

Фейсал весь был живым порывом, устремленным к своей цели, и на этом пути он не щадил себя. «Если у него были силы, чтобы осуществить свои мечты, он мог зайти очень далеко, ибо был поглощен своей работой и жил только ею. Поэтому существовала опасность, что он изнурит себя, пытаясь достичь цели, всегда несколько превышавшей возможное, или же умрет от переизбытка действия. Его люди рассказывали мне, как после долгого боя, в котором он должен был вести войска, руководя ими и воодушевляя, он физически не выдержал перенапряжения и был унесен с поля своей победы, без сознания и с пеной на губах».[3] Так же и Лоуренс изнурял себя в томительном устремлении к цели, что была за гранью возможного: в усилии завоевать свободу для арабов, когда их движение было обречено, или в работе над своей книгой, где он пытался передать во всей полноте замысел – собственную душу дословно пересказать. Может быть, именно страшными порывами таких людей и жив еще этот мир, забывшийся в смертельном сне земли.

Стремительная душа Фейсала отображалась в порывистости его движений, во всем его облике – легком, будто иконописном. У него было удлиненное лицо со впалыми щеками и аккуратной бородкой и глубокие темные глаза («привлекательные», по определению Лоуренса). «Он был высок, грациозен, полон жизни и обладал самой прекрасной походкой и царственной осанкой. Он, конечно, знал об этом, и немалую часть его выражения на публике составляли знак и жест. ... Его обаяние, бесстрашие и трогательный намек на хрупкость как единственную оговорку этого гордого образа делали его кумиром для его последователей».[4] При помощи своего удивительного такта он умел располагать к себе людей, завладевая их умом и сердцем. Это влияние никогда не направлялось намеренно: оно было впечатлением от его сущности, укрепленное его происхождением, ибо семья Шерифа пользовалась глубоким почтением арабов.

Фейсал обладал музыкальным голосом с красивыми нотками и так же, как свои царственные жесты, умело использовал его в общении со своими людьми. Его речь была простой, искренней и эмоциональной: «Казалось, можно было увидеть сквозь тонкую завесу слов его чистый и очень смелый дух».[5]

Он был чувствительным и даже нежным, страстным не только в своем деле, а его отвага казалась порой почти безрассудством. Несмотря на то, что он был человеком разума, он не любил долгих размышлений, стеснявших его порывы: «Тягость этого приводила его черты в быстрые линии боли».[6] Так же, как и Лоуренс, он умел разбираться в людях и тоже, по всей видимости, обладал редким даром вчувствования – этим дорогим умением слышать и понимать другого. И такая же теплота исходила от него, столь же внимательного, чуткого и отзывчивого.

Благодаря пребыванию в окружении Абдул-Хамида, он научился дипломатии, военная служба в турецкой армии дала ему знание тактики, а жизнь в Константинополе и нахождение в турецком парламенте сделали его знакомым с европейскими вопросами и манерами. Он обладал хорошим образованием, владел турецким, английским и французским языками, знал и любил арабскую поэзию.

Вместе со своими братьями Фейсал получил суровое воспитание. Когда в 1908 году они вернулись в Хиджаз как молодые эффенди в европейских одеждах и с турецкими манерами, отец обязал их носить арабские одеяния и, чтобы освежить их арабский язык, который они знали хуже, чем турецкий, дал им мекканских сотоварищей и отправил вместе с верблюжьим корпусом в пустыню охранять дороги паломников. Вопреки ожиданиям молодых людей, это вовсе не оказалось увеселительной поездкой. Им не было предоставлено ни особого питания, ни мягких постелей, ни роскошных седел. В продолжение многих месяцев они должны были в любое время дня и года сторожить дороги, управлять людьми, учиться верховой езде и военному делу. Суровая жизнь закалила их и сде-

лала независимыми и смелыми.

В семье Фейсала не было той необходимой атмосферы взаимного доверия и понимания, что делает семью счастливой. Братья не открывались ни друг другу, ни отцу, которого почитали так, как обычно уважают учителя, наставника, но не родного человека. Может быть, именно этот постоянно присутствовавший обертон горечи неестественного отчуждения и развил в Фейсале чуткость к людям – так же, как домашний неуют – первое одиночество – создал удивительную теплоту Лоуренса.

Фейсал был воплощением идеи арабского освобождения, тем самым пророком, которого искал Лоуренс. «Это было все – и даже больше, чем мы надеялись, намного больше, чем заслуживало наше спотыкающееся продвижение».[7] А для самого Лоуренса это была вторая за два дня встреча с чудом и очередная обреченная надежда.

Глава LIX

Грезы. – Умонастроения Фейсала и его арабов. – Армия Фейсала и мнение Лоуренса о ней. – Обещания Лоуренса и его отъезд.

«Знание, полученное в тот вечер среди пальм, выросло и расцвело в моем воображении тысячей ветвей, увешанных фруктами и тенистой листвою, под которыми я сидел и наполовину слушал, наполовину созерцал видения...»[1] Фейсал, живое воплощение идеи освобождения, мог осуществить то, что давно желал Лоуренс, и надежда, как свежий порыв ветра, охватила Лоуренса, принеся с собой томящий образ будущего – осуществленной грезы. Охватила так же, как завораживала других, кому тоже было суждено стать только листьями на ветру, покинувшими свой зачарованный сад предвкушения и, в конце концов, брошенными на мертвую землю.

Пребывая у Фейсала, Лоуренс принимал участие в оживленных беседах, что велись в его шатре. Там собира-

лись шейхи джухейны и атейбы, жители Месопотамии, аджейли… Во время одного из разговоров, он, «как сириец», с сочувствием упомянул о сирийских арабских патриотах, казненных турецкими властями. К своему удивлению он узнал, что их смерть воспринимается как заслуженная: ведь они были готовы стать сюзеренами Франции или Англии в награду за помощь этих держав. В глазах арабов подобная склонность рассматривалась (и вполне справедливо) как предательство идеи независимости. Фейсал улыбнулся пораженному Лоуренсу, почти подмигнул ему и сказал: «Вы видите, что мы сейчас по необходимости связали себя с британцами. Мы рады быть их друзьями, благодарны за их помощь, ожидаем нашей будущей пользы. Но мы не является британскими подданными. Мы чувствовали бы себя более легко, если бы они не были столь несоразмерными союзниками».

Фейсалу не было известно о подписанном в мае соглашении, но соображения здравого смысла и знание британской политики подсказывали ему возможный исход: «Я не хиджазец по воспитанию, но, несмотря на это, клянусь Богом, ревностно отношусь к Хиджазу. И хотя мне известно, что британцы не желают его, что я могу сказать после того, как они завладели Суданом, тоже не желая его? Они жаждут свободных земель, чтобы отстроить их, и так однажды Аравия покажется им ценной. Ваше благо и мое благо: возможно, они различны, и насильственное благо, как и насильственное зло, заставят народ кричать от боли. Восхищается ли руда пламенем, которое преобразовывает ее? Нет причины для обиды, но слишком слабый народ держится за то малое, чем обладает. У нашей расы будет характер калеки, пока она не встанет на ноги». Простые люди аравийских племен, чуждые всякого политического знания, разделяли его мнение и для них, как и для него, идея свободы была жизненной необходимостью, равно как существование под чьим бы то ни было игом – медленной смертью. Это убеждение, одухотворяющее борющиеся за свою независимость народы, способно создать новый мир, но течение времени вымывает живые силы, чтобы однажды давно желаемая свобода стала гне-

том рутины, из-под которого снова начали звучать голоса недовольства. Может быть, единственно возможная свобода – животворящая и созидающая – в стремлении к ней.

Национальный подъем, поддерживаемый высокочтимым семейством Шерифов, имел все шансы на успех. В едином порыве забывалась – на время – межплеменная рознь, а восемьсот-девятьсот шерифов были сплачивающей основой. Но идеалом в этой борьбе бедуинов являлось приобретение независимости для отдельной единицы – клана, племени, селения: фактическая анархия. «Они сражались, чтобы избавиться от Империи, но не завоевать ее».[2]

Армия Фейсала насчитывала восемь тысяч человек. В этих войсках происходило постоянное перемещение: обычно на семью приходилось одно ружье, и сыновья служили по очереди, женатые колебались между лагерем и женой, целый клан мог, утомившись, взять отдых. Служили неподалеку от дома и сами снабжали себя провизией и транспортом. Шериф Хуссейн платил не только воинам, но и их семьям. Высшей властью для этой армии обладал Фейсал, далее шли шейхи племен, имевшие обычно около сотни последователей. Шерифы исполняли роль руководителей отрядов.

Эти бедуины отличались личной храбростью, но не признавали никакой дисциплины – необходимости регулярной армии, и Лоуренс, присмотревшись к ним, заключил, что они могут быть хороши только для обороны. Открытый бой, со многими потерями, привел бы их в потрясение и рассеял. Однако как партизаны в своих неприступных скалах и ущельях они оказались бы непобедимы для турок, мастеров осадной, но не стрелковой войны.

Трудность состояла в том, как преодолеть страх арабов перед артиллерией, один грохот которой заставлял их бросаться в укрытие, поскольку они считали, что сила разрушения пропорциональна шуму. Их не страшили ни пули, ни сама смерть – только образ ее, столь жуткий своей непривычностью, был невыносим. Лоуренс решил, что справиться с этой бедой можно только если снабдить арабов столь же шумным оружием, хоть бы и самым

бесполезным. И как раз вооружение было самым острым вопросом для всех – «от великолепного Фейсала до последнего оборванца».

В Египте мало верили в успех арабов, поэтому Лоуренс – единственный из англичан, увидевший восстание вблизи, – считал своим долгом представить своему руководству самую живую картину происходящего, чтобы движение могло получить необходимую материальную поддержку. Помочь – это и было целью его поездки.

Фейсалу он обещал, что его руководство сделает все возможное: организует базу в Янбо, соберет офицеров-добровольцев из пленных, захваченных в Месопотамии и на Суэцком канале, предоставит артиллерию, а он посоветует прислать английских офицеров в качестве помощников и офицеров связи. Фейсал с теплотой поблагодарил его и попросил возвращаться как можно скорее... Лоуренс объяснил, что его обязанности исключают действительную службу, но, может быть, начальство разрешит ему вторую поездку, когда обещания будут выполнены и дела Фейсала наладятся. Даже за эти несколько дней они успели оценить друг друга во всех отношениях и быть порознь казалось неверным.

Лоуренс попросил Фейсала помочь ему добраться до Янбо, и тот предоставил ему сопровождение из четырнадцати шерифов племени джухейна. В сумерках одного из последних дней октября Лоуренс покинул Хамру.

Глава LX

Обратный путь. – Доклад в Хартуме. – Разрешение вопроса Рабега. – Преображение Лоуренса. – Недоброе следствие доброй услуги.

Обратный путь пролегал по другому маршруту, через волны дюн и бурые лавовые поля, проступавшие, как ржавчина на поверхности земли. Яростное солнце отражалось от песка и камня. Страдание Лоуренса возобновилось: глаза снова заболели от яркого света, а общая уста-

лость немало изнурила его. Лишь редкие капли пота, падавшие прохладой с волос надо лбом на щеку, приносили некоторое облегчение, но и то слишком незначительное.

Проводники благополучно доставили Лоуренса в Янбо, в дом шейха Абд эль Кадера эль Абду, агента Фейсала. Там он провел четыре дня, заняв их написанием доклада, и 1 ноября взошел на борт парохода «Сува», направлявшегося в Джидду. Судном управлял капитан Бойль, известный ему по своей помощи восстанию в его начале. Лоуренсу не удалось произвести на него хорошего впечатления: для этого он был слишком усталый и потрепанный с дороги. «Но хуже всего было то, что я носил местный головный убор, в качестве комплимента арабам. Бойль не одобрил».[1] Англичане считали шляпу незаменимой вещью, и носить что-то иное казалось им не только странным, но даже в некоторой степени предосудительным. Для арабов, в свою очередь, шляпа представлялась ужасной принадлежностью. Их наиболее мудрые умы после долгих размышлений сделали вывод, что христиане закрываются полями шляпы от взгляда Божьего. Для Лоуренса же как «сирийца» самым удобным убором в том климате оказалась куфия.

4 ноября Лоуренс прибыл в Джидду, где пересел на «Эурайлас», на борту которого находился адмирал Вэмисс, собиравшийся нанести визит Вингейту в Хартуме. Вингейт, сирдар (главнокомандующий) египетской армии, руководил военной стороной британского содействия восстанию, сменив на этом посту МакМагона, в ведении которого оставалась политическая часть. Таким образом, Лоуренс считал необходимым встретиться с Вингейтом, чтобы доложить о положении дел в Аравии, и попросил Вэмисса о помощи в переправе через море, а также в получении места в его поезде на Хартум, что и было ему оказано.

В Порт Судане Лоуренс встретил двух английских офицеров египетской армии – Джойса и Давенпорта (внесших впоследствии немалый вклад в развитие восстания), а 7 ноября прибыл в Хартум, где представил Вингейту свой доклад и изложил мнение о том, что ситуация являлась

многообещающей при условии правильного руководства. Лоуренс подчеркивал желательность отправки в Аравию нескольких британских офицеров в качестве технических помощников, через которых, к тому же, осуществлялась бы связь с арабами.

Вингейт был рад получить обнадеживающие известия: восстание являлось его давним желанием, а Лоуренс теперь мог быть спокоен за будущее дела арабов, поскольку его сведения были переданы ответственному лицу. Отдохнув несколько дней в Хартуме, где время было занято чтением «Morte d'Arthur», 11 ноября он отправился обратно в Египет – поездом до Халфы, затем пароходом по Нилу до Асуана и оттуда снова по железной дороге в Каир.

В Египте продолжали попытку разрешить вопрос Рабега. К отправке были подготовлены несколько аэропланов; что же касалось бригады, то мнения по-прежнему расходились. Полковник Бремон, руководитель французской военной миссии в Джидде, настаивал на том, чтобы войска были направлены немедленно, и, желая побудить к этому англичан, доставил в Суэц несколько частей кавалерии, артиллерии и пехоты с алжирскими рядовыми и французскими офицерами. Вингейт направил в Лондон телеграмму, в которой указал, что для удержания Рабега требуется, по меньшей мере, еще одна бригада с артиллерией. В случае же отказа он просил о присылке хорошо подготовленного отряда в пять тысяч арабов, тоже с артиллерией. В Лондоне его телеграмму сочли доказательством того, что вмешательство повлечет за собой неограниченную ответственность. 2 ноября Робертсону снова пришлось отстаивать в военной комиссии свою точку зрения, когда министры указывали ему, сколь жалкой будет выглядеть Англия, если откажет в помощи нуждающемуся союзнику. Робертсон стоял на своем, и дело было передано в подкомиссию, в которую входили Эдвард Грэй, лорд Керзон и Остин Чемберлен. Подкомиссия предложила Робертсону доложить, какие силы потребуются для удержания Рабега, и он рассчитал, что для противодействия максимально возможному числу неприятеля потре-

буется около шестнадцати тысяч человек. К тому моменту Мюррей смог подготовить в Суэце две бригады.

Лоуренс был решительно против отправки войск и написал Клейтону яростный меморандум, в котором указал, что арабы способны сами отразить атаку, если предоставить им вооружение и помощников, иностранное же вмешательство будет ими расценено отрицательно и заставит покинуть позиции, тогда как сама бригада окажется не в состоянии противостоять туркам – как он заключил близ равнины Мастура. Аргументацию Бремона он обратил против него самого, выявляя, что тот действует из корыстных, а не военных соображений. Для Лоуренса было важно, чтобы арабы сами победили в своей войне, в противном случае помощь военного времени могла бы стать основанием для территориальных притязаний после заключения мира.

Клейтон передал меморандум Мюррею, который, как было сказано, являлся противником отправки бригады. Обнадеживающая оценка ситуации разрешила его последние сомнения.

Так совпали точки зрения младшего лейтенанта и главнокомандующего (хотя в основе их мнений лежали совершенно разные мотивы), и маленький раздражитель в фуражке набекрень преобразился в глазах штаба. Для самого Лоуренса это оказалось неожиданным и «довольно забавным». «Со мной стали вежливы, мне говорили, что я наблюдателен, обладаю метким словом, а также характером. Указывали, как хорошо было с их стороны сохранить меня для помощи арабам в их трудностях».[2] Благодарен ему был и Робертсон, позднее отдававший должное «вдохновению полковника Лоуренса». Таким образом, оптимистичный доклад одного «нежелательного» офицера разрешил затруднения и Египта, и Лондона.

Герой дня был вызван к начальнику штаба генералу Линдену Бэллу, и тот изумил его своей почтительностью. Он обрисовал, каким напряженным было положение главнокомандующего, сколь полезен оказался Лоуренс, и что неплохо было бы отправить его обратно продолжить столь добрые начинания... Лоуренс, внутренне забавляясь

его речью, ответил, что его заботой является снабжение арабов. Генерал обещал сделать все возможное – и сдержал свое слово. Лоуренс мог бы теперь быть доволен своей помощью, оказанной арабам, однако добрая услуга обернулась против него самого: его, столь полезного и наблюдательного, направили обратно в Аравию.

ЧАСТЬ IV
1916 – 1918

Важно не то, что сделал Лоуренс в Аравии, а для чего он это сделал.

Глава LXI

Нежеланное возвращение. – Г. Гарланд. – Положение в Хиджазе. – У Фейсала в Нахл Мубараке.

«Увеселительная поездка» с тайной целью оказалась для Лоуренса фатальной. Он мог бы до конца войны служить в Каире, а затем, даже если бы возвращение к прежней работе оказалось морально невозможным, он, по крайней мере, не ужаснулся бы самого себя и не бросился бы бежать от собственной уничтожающей химеры.

Лоуренс желал только помочь восстанию, выровнять сбившийся ход, найдя человека, который привел бы начатую кампанию к успеху. Эта незаметная помощь являлась неоценимой, и она была оказана. Другого дела для себя он не предполагал. А теперь его возвращали в Аравию в качестве офицера связи и советника для Фейсала. Это оказалось для него неожиданностью, почти полностью противной его воле.

Он не любил ответственность и к тому же предпочитал иметь дело с предметами, чем с людьми, и с идеями, чем с предметами. Он был человеком действия в духовном мире, во внешнем же являлся скорее созерцателем. Для него являлись жизненно необходимыми уединение и спокойствие, тогда как новое поручение вбрасывало его в средоточие бури, на ход которой ему предстояло некоторым образом влиять.

Что касается военной стороны, Лоуренс был хорошо

знаком с теорией по книгам, прочитанным в юности: Клаузевиц, Жомини, Фош... Он обладал знаниями, которые можно было применить на практике, однако не практика его интересовала, а теория. Он мог когда-то мечтать о том, чтобы возглавить «обратный крестовый поход» во имя свободы, но это была одна из тех страстных и ярких грез, что приятны лишь сами по себе. Он не хотел той надвигавшейся действительности, в которую столь неожиданно обратилась его мальчишеская мечта. Единственное, что могло его привлекать, это пребывание среди арабов, а особенно – возможность встречи с Фейсалом и Али.

Перед новой неизвестностью и напряжением, даже составление карт и документов о перемещениях турецкой армии показалось Лоуренсу «увлекательным занятием», милым в своей привычности и относительном спокойствии. Особенно он сожалел об «Арабском бюллетене», который оставлял ведению других.

В конце ноября Лоуренс прибыл морем в Янбо, где находилась база армии Фейсала и где в то время майор Герберт Гарланд – писатель, металлург и эксперт по взрывчатке – обучал арабов подрывному делу. В совершенстве владея арабским языком и будучи свободным от косных теорий саперной школы, Гарланд умел быстро и верно преподать своим ученикам-бедуинам, как совершать диверсии на железной дороге при помощи динамита. В отличие от других саперов, с трепетом относившихся к своим опасным инструментам, Гарланд обычно нагребал горсть детонаторов в карман вместе с бикфордовыми шнурами и беззаботно отправлялся верхом на верблюде к железнодорожной линии. Однако аравийский климат был слишком тяжел для его здоровья. «Слабое сердце беспокоило его после любого усилия или кризиса, но он относился к этим беспокойствам столь же легко, как к детонаторам, и упорно работал до тех пор, пока не подорвал первый поезд и не разрушил первый дорожный сток в Аравии. Вскоре он умер».[1] Именно Гарланд обучил Лоуренса подрывному делу.

Лоуренс нашел положение в Хиджазе заметно изменившимся. Фейсал передвинулся в Вади Янбо и пытался

обезопасить свой тыл, прежде чем атаковать железную дорогу. Часть племени харб совершала время от времени успешные налеты на турецкие линии сообщения между Мединой и Бир Аббасом. Другая часть племени оставалась враждебной, и против нее выступил Зейд из Рабега в Вади Сафру. Абдулла с армией в четыре тысячи человек, но с недостаточным вооружением, выдвинулся из Мекки к Медине и, обосновавшись с юга, востока и северо-востока, угрожал турецкому снабжению из Касима и Кувейта, однако не имел достаточных сил, чтобы осуществить задуманный Фейсалом план. Али в Рабеге располагал силами в три тысячи человек пехоты, из которых две тысячи были солдатами регулярной армии, под командованием Азиза эль-Масри. В Рабег были присланы четыре британских аэроплана под командованием майора Росса, а также были доставлены два десятка орудий, но в основном устаревших.

Прохладным пасмурным днем 2 декабря Лоуренс в сопровождении нескольких человек выехал к Фейсалу. После быстрой езды они прибыли ночью в Нахл Мубарак – финиковые сады южных кланов племени джухейна. Множество костров блистало между стволов, и пространство подсвеченной черноты было полно рева тысяч верблюдов, людских криков и выстрелов. Лоуренс знал, что здесь никого не должно было быть, и это необычное оживление показалось враждебным. Вместе со своими спутниками он осторожно пробрался в ближайший из домов и остался там, пока один из провожатых ходил на разведку.

Через полчаса тот вернулся и сообщил, что это была только что прибывшая армия Фейсала. Тогда они снова сели в седло и направились к шерифу сквозь столпотворение людей, верблюдов и огней, заполнивших всю долину, еще влажную после недавних дождей.

Наконец, преодолев этот шумный движущийся хаос, Лоуренс и его провожатые оказались посредине долины, где на «островке спокойствия» сидел Фейсал. Его ковер был расстелен на камнях; с одной стороны располагался Мавлюд, а с другой шериф Шарраф, каймmакам Имарета и Таифа. Перед Фейсалом коленопреклоненный секре-

тарь записывал приказание, а другой, стоявший позади, зачитывал доклады при свете лампы, которую держал один из слуг.

Фейсал с улыбкой приветствовал Лоуренса, закончил диктовать и извинился за столь неудобный прием. Он отослал слуг вместе со всеми посторонними, однако уединения это не создало. Чей-то заблудший верблюд выскочил на освободившееся пространство, танцуя и ревя. Мавлюд прыгнул к нему, чтобы оттащить его в сторону, но вместо этого верблюд оттащил Мавлюда, заодно уронив всю свою поклажу. Лавина сена обрушилась на Лоуренса, Шаррафа и лампу. «Слава Богу, – сказал Фейсал, – что это не было ни маслом, ни золотом».

От Фейсала Лоуренс узнал, что за последние сутки турки прорвали заградительные силы арабов в Вади Сафра и едва не схватили Зейда, спавшего в своем шатре. Однако его успели вовремя предупредить, и он смог оказать сопротивление достаточно долгое для того, чтобы часть шатров и багажа была упакована и увезена, а затем спасся бегством сам. Так его армия была обращена в толпу беглецов, направлявшихся к Янбо. Поскольку путь на Янбо был открыт для турок, Фейсал с силами в пять тысяч человек бросился на защиту своей базы. Однако его разведка смешалась перед надвигающейся опасностью, и от нее стали поступать противоречивые сведения. Фейсал не знал, собирается ли неприятель атаковать Янбо или только удержит проходы из Вади Янбо в Вади Сафра, когда основные силы направятся к Рабегу и Мекке. Самое лучшее было бы, если бы присутствие Фейсала в Нахл Мубараке привлекло турок, и они потратили бы несколько дней в попытке атаковать его армию: это дало бы время на укрепление Янбо.

Беседа Лоуренса, Фейсала и Мавлюда при редком участии молчаливого Шаррафа продолжалась до половины пятого утра. К тому времени лагерь уже затих, холодная туманная сырость поднялась от земли, увлажнив ковер и одежду, а бледнеющая луна освещала вздымающуюся громаду отвесной Джебель Рудвы. Окончив обсуждение неотложных дел, Лоуренс с Фейсалом съели по шесть фиников

и свернулись клубочком на отсыревшем ковре.

Через час холод поднял их. Был смутный рассвет, и со всех сторон прибывали посланники с известиями, что турки готовят атаку. Фейсал решил отойти на другие позиции. Для нового лагеря была выбрана небольшая долина к северу от сокрытого в деревьях селения Нахл Мубарак. Там Лоуренс провел с Фейсалом два дня, почти не разлучаясь с ним и живя в его палатке, что дало ему возможность лучше узнать как самого Фейсала, так и его методы командования.

Фейсал был доступен для любого и никогда никому не отказывал в просьбах, даже когда эти просьбы выражались в долгих горестных песнях, которые арабы пели в темноте, расположившись вокруг него и Лоуренса. Он старался помочь каждому, а если не мог сделать это сам, обращался к кому-нибудь из приближенных, чтобы те уладили дело. «Его крайнее терпение было для меня еще одним уроком, показывающим, что означает в Аравии местное руководство»,[2] – замечал Лоуренс.

Фейсал отличался удивительным самообладанием. Однажды, когда к нему пришел один человек от Зейда, Мирзук эль Тикейми, чтобы объяснить их отступление, Фейсал просто посмеялся на него и отправил подождать, пока все насущные вопросы не будут разрешены. Затем он пригласил посланника. Лоуренс опасался грозной сцены, но вместо этого Фейсал освободил для Мирзука место на своем ковре и сказал: «Садись! Расскажи нам больше о ваших ночах и чудесах сражения, позабавь нас!» И Мирзук начал красочно описывать Зейда при его побеге, ужас Ибн Таваба, известного разбойника, и самое страшное – как почтенный эль Хуссейн, отец шерифа Али, харита, потерял свои кофейные чашки... Так Фейсал старался ничем не обидеть человека, а в бедственном положении создать впечатление, что дело может быть легко исправлено. Когда дух его армии падал, он своей бодростью воодушевлял воинов, хотя эта живость была только внешней и скрывала глубины его усталости и временами почти отчаяния.

Дни в лагере проходили следующим образом. Перед рассветом армейский имам взбирался на холм и начинал

призыв к молитве, гулко отдававшийся в пустотах долины. После него разносилось воззвание имама Фейсала. Вскоре один из пяти слуг Фейсала (все они получили свободу, но не отказывались служить своему хозяину) приносил сладкий кофе. Спустя час Фейсал отбрасывал полог своего частного шатра: это было приглашением для домочадцев, которых обычно бывало четыре-пять. После беседы слуги приносили завтрак. В Вади Янбо его основу составляли финики. Иногда бабушка-черкешенка Фейсала присылала из Мекки тортики, приправленные пряностями. Время от времени Хеджрис, его слуга, угощал печеньем и кашами, приготовленными по собственным рецептам. После завтрака следовали попеременно горький кофе и сладкий чай, в то время как Фейсал диктовал секретарям письма. В восемь часов утра Фейсал прикреплял свой парадный кинжал и переходил в шатер для приемов, где принимал посетителей до полудня. Затем он возвращался в жилой шатер, куда собирались домочадцы (Лоуренс в том числе) и гости. Наступало время обеда. Умеренный Фейсал будто лишь для видимости копошился в бобах, чечевице, шпинате, рисе и пирожках, пока не решал, что остальные тоже сыты и не подавал знак унести поднос. Любители поесть оставались недовольны и потом возмещали ущерб, насыщаясь в своих шатрах.

За обедом следовала легкая беседа, с двумя чашками кофе и двумя стаканами сиропообразного зеленого чая. Затем до двух часов Фейсал отдыхал – читал или спал. Потом снова принимал посетителей в шатре для приемов, всех до последнего. «Я никогда не видел, чтобы хоть один араб оставался неудовлетворенным или обиженным: таковы были его такт и память. Казалось, он никогда не бывал в растерянности и не забывал фактов, а также не путался в чьих-либо отношениях».[3]

После второй аудиенции, если оставалось время, Фейсал беседовал с друзьями, прогуливаясь с ними. В должное время совершалась вечерняя молитва. Затем Фейсал планировал ночные патрули и разведку. Около 6-7 часов вечера был ужин, похожий на обед, только с добавлением плова.

Фейсал поздно ложился спать и свободные часы занимал беседами с шейхами, которые рассказывали истории округа и своих племен, слушал местных поэтов, изредка играл в шахматы – решительно и блестяще. Иногда он рассказывал ради Лоуренса о том, что видел в Сирии, эпизоды из тайной истории Турции или что-либо о своей семье.

В быту он был скромен. Обстановку его жилого шатра составляли походная постель, хороший курдский ковер, бедный ширазский и старый молитвенный коврик.

В один из тех дней Фейсал неожиданно спросил Лоуренса, не желает ли тот носить арабскую одежду. Лоуренс был рад сменить свою жаркую форму на это одеяние, что было «чище и приличнее в пустыне»[4] и, к тому же, позволяло жить среди арабов, не привлекая к себе ненужного внимания. Хаки вызывало у них ассоциацию с турками, тогда как преображение Лоуренса в араба помогло бы им принять его за своего. И Фейсал подарил ему великолепное свадебное одеяние, белое с золотом, недавно присланное из Мекки («Было ли это намеком?» – спрашивает Лоуренс в «Столпах»[5]). Видимо, оно являлось подарком, который Фейсал специально подготовил во время его отсутствия. Хеджрис подогнал наряд под рост Лоуренса, и тот, новенький и праздничный, отправился побродить в пальмовые рощи, чтобы привыкнуть к своему виду и полузабытому ощущению ласкающей ткани.

Ничто так не раскрывало его очарование, как эти струящиеся одежды, создававшие его легкий, словно тушью набросанный, образ. Не стесняя движений, они не будоражили понапрасну, в отличие от той жесткой материи военной формы, о которой Лоуренс писал в «Чеканке» как о слишком явственно напоминавшей слабой душе о существовании своевольного тела. Но, если что-то тревожило извне, эта мягкая легкость красноречиво подчеркивала волнение. О таком неудобстве он упоминал, говоря об отсутствии «одежды достаточно плотной, чтобы скрыть мужское естество». По-особенному трогательно-открытым стал теперь он, хрупкий и нежный в своей сущности.

Глава LXII

Исчезнувшие джухейны. – Оборона Янбо. – Планы о взятии Вэджха.

Лоуренс счел необходимым вернуться в Янбо, чтобы обсудить с Зейдом защиту этого порта. Фейсал дал ему превосходного верблюда и проводника, и через шесть часов пути, на рассвете 5 декабря, Лоуренс был на месте.

За последние трое суток он спал только три часа. В первую ночь холод поднял его, что-то беспокоило во вторую, а третья была проведена в дороге. Поэтому по прибытии в Янбо он, чувствуя себя совершенно разбитым, отправился в пустовавший дом Гарланда (жившего тогда на борту парохода в заливе) и лег спать. Однако вскоре его разбудили с известием, что прибывает Зейд со своей потерпевшей поражение армией.

Вместе с его армией в восемьсот человек в Янбо входил и Фейсал, которого турки вытеснили из Нахл Мубарака. Его войско насчитывало около двух тысяч человек, а джухейны подозрительно отсутствовали. Лоуренс с парапета Мединских ворот сделал снимок обоих братьев, а затем встретился с Фейсалом, который, «замерзший, мокрый, жалкий и усталый»,[1] был милосердно принят на борт «Хардинджа». Там он нашел ожидавшую его теплую каюту, мирный ужин и превосходную ванну. «Потом он откинулся в кресле, куря одну из своих постоянных сигарет, и мечтательно заметил мне, что теперь знает, какие блага должны быть на небесах».[2] Позднее Лоуренс узнал от него историю исчезнувшего племени.

Когда турки атаковали расположение арабов в Нахл Мубараке, джухейны были отправлены на защиту левого фланга, тогда как центр и правый фланг удерживала остальная часть армии при поддержке египетских артиллеристов. Несмотря на то, что орудия были жалкими реликтами бурской войны (британцы полагали, что для арабов и это сгодится), защитникам удавалось сохранять преимущество. Неожиданно Фейсал заметил, как его левый фланг дрогнул, смешался, а затем в смятении ретиро-

вался. Фейсал решил, что противник совершил прорыв, и приказал своим войскам отходить к Янбо. Джухейны остались где-то позади...

Лоуренс слушал эту историю и бранил малодушных, когда вдруг появился Абд эль Керим, один из вождей джухейны. Он как ни в чем не бывало поприветствовал Фейсала и сел рядом. Фейсал в изумлении воззрился на него, а Абд эль Керим принялся рассказывать, как его племя было обескуражено внезапным отступлением своего командира и как они были вынуждены в одиночку сражаться с турками, пока самим не пришлось отступить. «Почему же вы отступили к лагерю во время боя?» – спросил Фейсал. «Только для того, чтобы приготовить себе кофе. Мы сражались с самого рассвета, а уже настал вечер. Мы были очень усталыми и хотели пить». Фейсал и Лоуренс рассмеялись от души.

Теперь предстояло позаботиться о защите Янбо. Город располагался на коралловом рифе и был с двух сторон окружен водой, а с остальных простирались пески. При наличии артиллерии эти подходы можно было легко удержать.

Благодаря стараниям Бойля, за сутки в бухте были сосредоточены пять кораблей с орудиями на борту. За городом скрещивались огни прожекторов монитора «М-31» и «Дафферина».

Арабы были воодушевлены количеством кораблей. Для них тоже нашлось дело. Стены города, изъеденные морской солью, были укреплены, и на защиту этих позиций задействовали артиллеристов из армии Фейсала. Джухейн отправили обратно к Вади Янбо для отвлечения противника путем диверсий.

С наступлением темноты город замер: дневное волнение уступило место тревожному ожиданию. Прожектора чертили медленные линии в черноте пустынного пространства за городом, откуда ожидалось наступление неприятеля. Однако время шло, но никто не появлялся. Позднее Дакиль Аллах эль Кади, из джухейны, которому предписывалось провести турок к Янбо, рассказал Лоуренсу, насколько они были устрашены зловещей картиной

перекрещивающегося света в тех мертвых пустотах, что им предстояло преодолеть. «Так что они повернули обратно. И в ту ночь, я уверен, турки проиграли свою войну»,[3] – писал позднее Лоуренс, который сам той молчаливой ночью решительной победы спокойно спал на борту «Сувы». Восемь часов бестревожного сна в эти четвертые сутки были для него не менее важны.

Когда кризис миновал, Лоуренс выехал в Рабег, где намеревался переговорить с полковником Джойсом об отводе египетских войск, которые не слишком хорошо сочетались с арабами, и с майором Россом относительно воздушной разведки. По прибытии он, кроме того, встретился с Бремоном. Когда разговор зашел о Медине, Лоуренс выразил общую тогда для англичан точку зрения о необходимости занять город, чтобы обеспечить дальнейшие успехи восстания, на что Бремон горячо возразил, объясняя свои соображения тем, что арабы уже сделали достаточно, и теперь союзникам следует действовать самостоятельно. Остановка их движения обеспечила бы выполнение условий соглашения Сайкса-Пико, в чем был заинтересован Бремон. Лоуренс прямо заявил ему, что его аргументация не выдерживает критики. «Любопытный это был разговор, между старым солдатом и молодым человеком в странном одеянии»,[4] – замечал он в «Столпах».

Тем временем, турки неожиданно отступили к Бир Саиду, а Али удалось укрепиться в Рабеге. Численность его армии достигала теперь семи тысяч человек, и он смог развить успех, заняв Бир эль Хассани. Фейсал, в свою очередь, собрал до шести тысяч человек, чтобы помешать отступлению турок в Вади Сафра. Таким образом, неприятель мог оказаться зажатым в клещи. Однако ложные сведения о ненадежности одного из племен у Али заставили его войско дрогнуть и отступить от взятого пункта к Рабегу. В этот момент в Янбо прибыл Вильсон, чтобы убедить Фейсала в необходимости занять Вэджх, находившийся в 315 километрах к северу от Янбо.

Фейсал сам еще в октябре предлагал план взятия Вэджха, рассчитывая создать там новую базу и приобрести возможность совершать набеги на больший отрезок желе-

зной дороги, создавая таким образом угрозу гарнизону Медины. Но осуществление его замысла было отложено.

Вильсон предполагал занять Вэджх силами арабов при поддержке с моря. Фейсал опасался оставлять Рабег, поскольку турецкие войска еще обладали достаточной подвижностью (их численность в Вади Сафра и у дороги Султани составляла около пяти тысяч человек*), а армия Али оказалась не слишком боеспособной, и попросил о Вильсона о защите Рабега при участии флота. 24 декабря было решено занять оборонительную позицию на побережье у Рабега, однако Фейсал продолжал колебаться.

Глава LXIII

Предложение Лоуренса. – Опыт набега. – Выступление армии Фейсала на Вэджх. – Заботы Лоуренса в Янбо. – Прибытие в Умм Ледж. – Уточнение плана. – Трения Лоуренса и Викери.

Сомнения Фейсала рассеял Лоуренс. Он предложил провести отвлекающий маневр, который занимал бы турок во время продвижения армии Фейсала к Вэджху. Согласно его плану, Абдулла должен был достичь Кейбара и создать угрозу железной дороге к северу от Медины. Фейсал одобрил идею и значительно улучшил ее, вспомнив о Вади Аис, хорошо орошаемой долине в ста километрах к северу от Медины. Оттуда Абдулла мог угрожать линиям сообщения с Дамаском и перехватывать караваны, прибывавшие в Медину от Персидского залива.

План показался обоим вдохновением, и к Абдулле незамедлительно был отправлен посланник. Будучи уверен-

* Турки оказались не настолько проворны в своих перемещениях, как предполагалось: современная немецкая экипировка сдерживала их продвижение в этой сложной пересеченной местности. Вскоре смещение центра тяжести на хиджазском театре военных действий фактически выручило их из затруднительного положения.

ными в согласии того, Фейсал и Лоуренс решили выступить из Вади Янбо в первый переход по направлению к Вэджху. Конечным пунктом была выбрана группа колодцев в пятнадцати милях к северу от Янбо. «Собираюсь отбросить свои британские привычки и немного пройтись с Фейсалом»,[1] – так написал Лоуренс в Каир.

2 января он осуществил предварительную вылазку, чтобы приобрести опыт в выполнении набегов. Он взял с собой тридцать пять человек на верблюдах и направился на юго-запад к долине, находившейся неподалеку от турецких линий сообщения. Прибыв туда в сумерках, он оставил десять человек присматривать за верблюдами, а с остальными взобрался на горный хребет, поверхность которого являла собой изломанные линии острого камня. На окутанной холодным туманом вершине они пробыли до рассвета, когда, завидев верхушки турецких палаток, открыли по ним огонь. Турки тотчас отозвались, заняв позиции в траншеях и начав беспорядочную стрельбу. Так как противник имел численное превосходство, а появление возможного подкрепления отрезало бы пути к отступлению, отряд ретировался.

Солнечным днем 3 января армия Фейсала выступила. На земле, напоенной декабрьскими дождями и прогретой солнцем, поднимались тонкие травинки, а холмы казались подернутыми зеленою дымкой. Первым ехал Фейсал, в белом одеянии, слева от него – Лоуренс, в белом и алом, а справа – Шарраф, в крашеных хной тунике и плаще и красной куфии. Позади следовали три знаменосца с темно-красными знаменами, затем – барабанщики, игравшие марш, после – охрана Фейсала и за ними – многоцветный вал армии. В этот поход были взяты джухейны, харб, билли, атейбы и аджейли – всего около десяти тысяч человек. Сомнения в победе не оставалось. Лоуренс же тайно надеялся, что никакого сражения не будет.

«Мы желали этого марша, который стал бы заключительным актом войны в северном Хиджазе и известие о котором распространилось бы по всей западной Аравии. Он должен был стать крупнейшей операцией из всех, что помнили арабы, чтобы те, кто видел его, вернулись домой

с чувством, что их мир действительно переменился, и больше не было бы глупого отступничества и раздоров между кланами, мешавших нашему сражению».[2]

Умонастроение арабской армии к тому времени изменилось. Вдохновенный порыв начала миновал, и на смену ему пришла уверенность опыта. Влекущая идея освобождения, жившая в глубинах национального чувства, как весенние токи под землей, приобрела рациональную форму: патриотизм стал сознательным.

Разим, артиллерист Фейсала, и Абдулла эль Делейми, его офицер пулеметного расчета, сформировали из арабов отряды под управлением сирийских и месопотамских военных, перешедших на сторону восставших. Мавлюд получил от Лоуренса пятьдесят мулов и, распределив их между таким же количество своих обученных пехотинцев, образовал «кавалерию». Под его мастерским командованием этот импровизированный отряд стал самой сильной единицей в арабской армии и отлично подошел для разведки. Позднее его численность была удвоена.

После того, как был пройден незначительный отрезок пути, прибыл вестник с письмами к Фейсалу и с одним посланием к Лоуренсу, отправленным с парохода «Дафферин». В этом послании сообщалось, что погрузка войск Зейда не будет осуществляться, пока от Лоуренса не поступят подробные сведения о местном положении. Поэтому Лоуренс решил вернуться в Янбо, а Фейсал должен был ожидать известий от него в Оуаисе. Фейсал дал ему лучшего верблюда и нескольких аджейлей, и через три часа Лоуренс был на месте, оставив своих спутников далеко позади.

По прибытии он нашел, что Зейд благополучно погружен, и пароход отправился в Рабег. Лоуренс остался в Янбо, чтобы согласовать подробности наступления на Вэджх с морским командованием и наметить, какое количество транспорта может понадобиться. Кроме того, он был ответственен за снабжение. На случай атаки неприятеля артиллерийские запасы и провизия были помещены на «Хардиндж». Подготовка флота для поддержки наступления Фейсала шла полным ходом.

Когда все было организовано, Фейсалу сообщили об этом, и он выступил из Оуаиса. В тот же день пришло известие от Абдуллы, что он принимает предложенный план и приступает к его выполнению. Тем временем Али под давлением Вильсона и Шерифа продвинулся на шестьдесят километров от Рабега, а английская авиация производила бомбардировку расположения турецких войск.

Когда Фейсал находился на полпути к Вэджху, в районе Умм Леджа, расположенного примерно в ста милях к северу от Янбо, Лоуренс прибыл туда морем. На следующий день после его высадки туда же приехал в качестве советчика майор Чарльз Викери, артиллерийский офицер, десять лет отслуживший в Судане. Вскоре было проведено совещание, на котором Викери, Бойль, Лоуренс и Фейсал решили, что для дальнейшего продвижения армию следует разделить на отдельные независимые отряды, которые вновь соберутся вместе 20 января в Абу Зерейбате, в Вади Хамд, где имелись последние перед Вэджхом источники воды. Бойль обещал сгрузить с «Харлинджа» двадцать тонн воды в Шерм Хаббане, куда армия должна была прибыть двадцать второго числа.

Для атаки на Вэджх Бойлю были предоставлены несколько сотен арабов, в основном племени харб, которых следовало разместить на «Хардиндже». Они вместе с моряками должны были быть высажены на рассвете двадцать третьего к северу от Вэджха, где турки не имели никаких укреплений. К тому моменту армия Фейсала должна была перекрыть туркам пути отступления. В распоряжении Бойля имелись шесть кораблей с пятьюдесятью орудиями на борту и один пароход с посадочной полосой для гидросамолетов.

План выглядел настолько легким, а дела обстояли столь хорошо, что Лоуренс в восторге забылся и сказал при всех, кто присутствовал в палатке Фейсала, что через год арабы будут у ворот Дамаска. Но его воодушевление не было разделено. Более того, позднее у Бойля Викери громил заочно Лоуренса как хвастуна и мечтателя. Лоуренсу стоило бы сохранять свое вдохновение для одного Фейсала.

Таким образом, отношения его с Викери сразу стали напряженными. Тот был квалифицированным офицером, чуждым многих косных условий службы, но, тем не менее, не забывавший о жесткости иерархии. Лоуренс в его глазах казался юнцом, несведущим в военном деле. Он не остался в долгу и, признавая ценность Викери как военного, раздражался его неверием в силу восстания. Подобная слепота английских советчиков могла дорого обойтись арабам, ограничив их сферу действия.

Глава LXIV

Аджейли. – Снова Ньюкомб. – Привалы в Семне и Абу Зерейбате. – Шериф Назир. – Новые сторонники. – Отставание от плана. – Вступление в Вэджх. – Неисчислимое.

Из Умм Леджа армия Фейсала выступила 18 января. Перед Фейсалом и Лоуренсом ехали аджейли. Это были юноши от шестнадцати до двадцати пяти лет, родом из городков Неджда – сердца Аравии: «Милые ребята: большеглазые, веселые, немного образованные, общительные, умные, хорошие товарищи в пути. Среди них редко встречались неуклюжие. Даже во время отдыха, когда у большинства восточных людей лица кажутся безжизненными, эти парни продолжали выглядеть чуткими и красивыми. Они говорили на изящном и гибком арабском, а во внешних вещах были манерными, часто щеголеватыми. Их городская покладистость и сообразительность позволяла им заботиться о себе и своих вождях без повторения указаний. Их отцы имели дело с верблюдами, поэтому они были приучены к этому занятию с детства и следовали в пустыне интуиции, как бедуины; тогда как декадентская мягкость их природы делала их податливыми и терпимыми к трудностям и физическим наказаниям, что на Востоке являлось внешним доказательством дисциплины. Они

были по своей сущности покорными, но при этом обладали природой солдат и сражались разумно и храбро, если ими правильно руководили».[1] Тяжелого физического труда они не знали, так как «были слишком красивыми, чтобы становиться рабочими».[2] В отличие от племен бедуинов, аджейли не имели кровных врагов и, соответственно, чувствовали себя свободно на любой территории.

Через некоторое время впереди, на пустынных просторах, показались два всадника. Один был эмиром джухейны, а другой англичанином, в арабском плаще поверх формы и в косо повязанной куфии. По приближении Лоуренс признал в нем полковника Ньюкомба. Тот только что прибыл в Умм Ледж и, узнав, что армия уже выступила, вскочил на самого быстрого верблюда и отправился вдогонку. Ньюкомб поддерживал идею восстания и впоследствии внес немалый вклад в его развитие. Он умел разбираться в людях и уже успел оценить Лоуренса в новом качестве. Собственное старшинство в звании не имело для него значения, и первый вопрос, который он задал Лоуренсу, был «Чем могу быть полезен?». Тот представил его Фейсалу, и они, быстро найдя общий язык, начали живейшим образом обсуждать положение. В тот день все были оживлены и полны надежды – так же, как окружавшее пространство было полно легкости и свежести.

Следующим местом привала стала Семна – широкая долина круглых булыжников, где имелись источники. Здесь армия должна была оставаться до тех пор, пока разведчики искали впереди подходящие места с запасами воды. Фейсал отправил письма к двадцати пяти вождям племен билли, ховейтат и бени-атийе, в которых говорил о своем будущем вступлении в Вэджх. Названным племенам предстояло позаботиться об успешном осуществлении этого намерения.

После того, как вернувшиеся разведчики сообщили о двух источниках воды на побережье, в девяноста километрах от цели, было решено разделить армию, направив одну часть через те пункты, а другую через холмы, чтобы более быстро и безопасно добраться до Абу Зерейбата. К тому времени, когда армия расположилась в Семне, воды

и пищи уже недоставало. Последние пятьдесят миль были проделаны с половиной галлона воды и на пустой желудок. Однако это ничуть не повлияло на настроение воинства, сохранявшее достаточно веселости для того, чтобы напевать и шутить.

Продвижение на Вэджх было событием необычайным по масштабам и значимости. Никогда еще арабы не выступали сообща на земли других племен без намерения поживиться или совершить возмездие. Вечером в Семне один из молодых шерифов указал Лоуренсу с вершины отрога на мерцающие в долине созвездия костров и сказал с некоторой печалью: «Мы больше не арабы, но один народ». Ему было грустно оттого, что вместе с объединением племен, к которому стремился Фейсал, исчезали столь дорогие радости как набеги на соседей.

На следующий день в прозрачном свете солнца, вновь засиявшего после ночного дождя, армия выступила из Семны и после благополучного перехода достигла побережья – места следующего привала. Сюда прибыл посланник от Абдуллы с известием, что тот 13 января захватил турецкий караван с золотом, а 19-го обосновался в Вади Аис. Это были превосходные новости. Теперь, когда Мюррей нажимал на неприятеля в Синае, Фейсал находился недалеко от Вэджха, а Абдулла – между Вэджхом и Мединой, инициатива турок оказывалась подавленной, и им оставалось только обороняться.

По пути на Абу Зерейбат открывался Хамд – крупнейшее вади в Аравии, ширина которого достигала одной мили. Его дно покрывала высохшая глина со сложной сетью неглубоких каналов, созданных за годы ручьями. Местами виднелись островки песка, из которых поднимался кустарник. На середине долины он образовывал сплевшийся хаос. Там арабы пригнулись и, подобрав седельные сумки и полы плащей, устремились на верблюдах сквозь эти хитросплетения иссохших ветвей, поднимая густое облако пыли, и вскоре выбрались к коричневому пруду в восемьдесят ярдов длиной и пятнадцать шириной – Абу Зерейбат. На его северной стороне, являвшей собой обширную равнину песка и камня, был устроен при-

вал, и в сгущавшихся сумерках засияли костры, уютно выглядевшие в поднимавшемся тумане.

К ночи безлунное небо усеяли звезды. Туман плыл над землей светлыми волнами, из которых вздымались верхушки палаток и взметывались языки пламени. Грандиозные просторы Хамда и численность армии создавали впечатление небывалого величия, и один старый араб сказал Лоуренсу: «На Вэджх движется не армия, а весь мир», – выразив тем самым общее чувство единства, все более укреплявшееся в этих громадах пространства.

В этот вечер, 21 января, без предупреждения и парадов прибыл шериф Назир ибн Али ибн Ради Бени Хуссейн из Медины. Как только он вошел в шатер Фейсала, тот бросился ему навстречу, обнял его и представил присутствующим, в числе которых был Лоуренс. Лоуренс зачарованно воззрился на нового соратника. «Назир производил великолепное впечатление, будучи именно таким, каким мы знали его по рассказам, и именно таким, каким мы его ожидали увидеть. Он был первопроходцем, провозвестником движения Фейсала, человеком, который сделал свой первый выстрел в Медине и должен был сделать последний в Муслимийе за Алеппо в тот день, когда Турция попросила о перемирии; и от начала до конца все, что говорилось о нем, было только хорошим».[3] Он стал великим воином, одним из героев арабского восстания, хотя военное дело было глубоко чуждо ему, «человеку садов», любившему спокойствие и мир.

Назиру было около двадцати семи лет. Он отличался отвагой, честностью и доброжелательностью. Внешне живой и веселый, он обладал несколько трагическим мироощущением. У него была располагающая внешность: он был сильный и стройный, с проницательным взглядом, небольшой бородкой и «приятными губами»[4] (по слову Лоуренса). Лоуренс оказался впечатлен в третий раз за последние три месяца.

В продолжение двух месяцев Назир находился близ Вэджха, и его последними новостями было то, что турецкий верблюжий корпус, преграждавший путь армии Фейсала, отошел к главной оборонительной позиции.

В тот вечер и на следующий день к Фейсалу примкнули новые сторонники. Сначала появилось племя билли. Затем, поутру, из пыльных облаков возник Мирзук эль Тикейми со своими джухейнами. Они устроили своеобразный парад перед Фейсалом, кружа с флагами и саблями вокруг шатров и окутывая пылью всех и все, из-за чего впечатление получилось прямо противоположное. Позднее присоединились и другие.

Армия отставала от плана на два дня, и Ньюкомб выехал вперед, чтобы подготовить вторичную доставку воды и договориться по возможности об отсрочке атаки с моря.

На следующий день, приближаясь к Вэджху, можно было слышать гул орудий, доносившийся с его стороны. Несмотря на опасение, что атака уже начата, спешить было бесполезно, и армия тянулась сквозь бесчисленные большие и малые вади, пересекавшиеся, как «жилки листа».

Во время привала в Курне, опять в Вади Хамд, некоторые проворные джухейны не устояли перед соблазном похитить верблюдов у билли. Фейсал приказал им остановиться, но они были так увлечены, что не обращали на него никакого внимания. Тогда он выстрелил в сторону ближайшего из удальцов, отчего тот в страхе свалился с верблюда. Только тогда остальные пришли в себя, и Фейсал заставил их возвратить всю добычу. В противном случае из-за раздоров между этими племенами все расчеты на дальнейшее продвижение могли рухнуть, так как территория за Вэджхом принадлежала билли.

24-го числа армия достигла Хаббана. «Хардиндж» находился там, как и было условлено, и с него сгружали запасы воды. Лоуренс узнал на борту, что морская атака действительно была произведена, поскольку Бойль опасался, что турки могут покинуть город. Как оказалось, в тот день, когда Фейсал прибыл в Абу Зерейбат, турецкий губернатор Вэджха приказал своему гарнизону держаться до последней капли крови, а с наступлением темноты благополучно скрылся, оставив воодушевленный гарнизон держаться без него. Двести человек пехотинцев пытались отразить нападение, но силы были слишком неравными, к тому же атакующие вели упорный обстрел. В кон-

це концов, город был занят.

Эти известия и возможность добычи так воспламенили воображение арабов, что они стали продвигаться вперед отдельными группами уже ночью. На рассвете остальные были собраны в Вади Мийя, в двенадцати милях к югу от Вэджха, откуда выступили на город. Аджейли спешились, разделись до полунаготы и пошли в таком виде, чтобы в случае ранения «раны остались чистыми», как они объяснили, а одеяния сохранились в целости. «Было приятно смотреть на стройных смуглых людей в залитой солнцем песчаной долине, где лазурные лужицы соленой воды подчеркивали кармазинность знамен, которые два знаменосца несли впереди»,[5] – отмечал Лоуренс.

Арабская армия вошла в Вэджх без единого выстрела. Разрушенный яростным штурмом город находился в руках десантного отряда арабов, потери которого составляли двадцать человек. Кроме того, один британский лейтенант был смертельно ранен во время воздушной разведки, и один из британских моряков получил ранение. От радости Лоуренса не осталось следа. «Викери, командовавший боем, был доволен, но я не мог разделить его удовлетворение. Для меня ненужное действие, выстрел или потеря, являлись не только растратой, но грехом. Я не мог согласиться с профессиональной точкой зрения, что все успешные действия являлись приобретениями. Наши мятежники были не материалом, как солдаты, но нашими друзьями, полагавшимися на наше руководство. Мы командовали не из национальных соображений, но по приглашению, и наши люди были добровольцами, индивидуальностями, местными людьми, связанными родством, так что смерть оказывалась личным горем для многих в армии. Даже с чисто военной точки зрения этот штурм казался мне огромной ошибкой».[6] При сравнении с потерями на Западном фронте взятие Вэджха могло бы показаться очень «дешевой» победой. Однако смерть на цифры непереводима, и в каждой гибели – прорыв в небытие, незакрываемый никаким успехом. Если судить не с военной, а с человеческой позиции, победа ценой жизни – всегда поражение. Большинство побед в истории именно

таковы, и в этом поражение всего человечества – в непрекращающемся взаимном истреблении. Героев и проигравших, выигрыш и проигрыш можно увидеть лишь с одной – искажающей – стороны. Но достаточно взглянуть из положения «над схваткой», чтобы исчезла пристрастность и остались только всегда бессмысленная смерть и чье-то горе. За триумфом военачальников – вой обездоленных.

Победы Западного фронта измерялись нередко несколькими километрами и стоили сотен тысяч жизней. Иногда их стоили даже тупики – как бойня на Сомме в 1916 году. Там солдаты не значили ничего, представляя собой именно «материал», «океан без окна – вещество»,[7] покорное идее и воле военачальника. Не то было в этой партизанской войне. С военной точки зрения, потери не только бы уничтожили веру арабов в свой идеал свободы, но подорвали бы их силы на пути к нему, разрушая взаимосвязи внутри армии – не машины, но общины. С более важной человеческой позиции, триумф на трупах не значил бы ничего. Арабы завоевывали эту эфемерную земную свободу для себя и сами хотели ею наслаждаться – живые. «И бороться за воздух прожиточный –// Это слава другим не в пример».[8] Не победа любой ценой, но сохранение жизней станет целью Лоуренса в этой войне и основным принципом его стратегии. Что касается его мнения об участии англичан в восстании, то он писал Ньюкомбу 17 января: «Это война арабов, а мы только предоставляем средства, и арабы имеют право следовать своему пути и вести дело так, как им заблагорассудится. Мы только гости».

Штурмовать Вэджх не было никакой необходимости. Двести несчастных турок не имели ни транспорта, ни продовольствия и сдались бы через несколько дней.

Глава LXV

Итоги взятия Вэджха. – Укрепление политической основы. – Труды Фейсала. – Намерение Бремона. – Жизнь в Вэджхе.

Взятие Вэджха позволило расширить линию фронта и создать угрозу железной дороге, что заставило турок рассеять свои силы для ее охраны, а гарнизон Медины оказался осажденным. Таким образом, инициатива перешла к арабам.

Также были достигнуты и политические результаты. Их проявление стало возможным благодаря совету Лоуренса, который подсказал Фейсалу, что прежде чем начинать военные действия, следует укрепить политическую основу. Предпосылки ее формирования возникли еще во время марша, когда к армии начали примыкать новые союзники. Теперь их число возросло настолько, что Фейсал смог отправить джухейн в помощь Абдулле. Свою поддержку предложило племя билли, на земле которого располагался Вэджх. Проживавшее к северу бени-атийе также обещало свое содействие. За ними простирались территории, принадлежавшие Нури Шаалану, эмиру руаллы и вождю конфедерации анейза, властвовавшему над Вади Сирхан – цепью водоемов на протяжении трехсот пятидесяти километров. Доступ к этому вади позволил бы установить связь с восточным ховейтатом, вождем которого был Ауда, прославленный воин северной Аравии. Только благодаря его активной помощи было возможно развернуть военные действия от Вэджха до Маана.

Надежда на содействие обещала сбыться. 17 февраля руалла прислали Фейсалу подарок в виде вьючных верблюдов, а позднее в тот же день прибыл ибн Заал, двоюродный брат Ауды, чтобы передать приветствия от него. После беседы Фейсал, одарив гостя пышными подарками и обещаниями, подчеркнул, что желал бы встретиться и с самим Аудой.

Большая поддержка была получена в лице Джаафара-паши, багдадского офицера турецкой армии. Энвер-паша направил его в Северную Африку, но там он оказался взят

в плен. Его заключили в крепость в Каире, откуда он попытался сбежать, однако канат из одеяла оборвался, и он был возвращен в темницу. Тем не менее, после уплаты штрафа за испорченное одеяло его отпустили. Когда он узнал о расправе турок над арабскими патриотами, его друзьями, он перешел на сторону арабов. Фейсал был рад обрести в нем союзника и принял его в качестве главнокомандующего регулярными войсками, подготовка которых велась в ту зиму.

Фейсал требовал от новых сторонников торжественной клятвы на Коране «ждать, когда он ждет, идти, когда он идет, не повиноваться никому из турок, дружественно относиться ко всем, кто говорит по-арабски и ставить независимость превыше жизни, семьи и всяческих благ». Кроме того, он устраивал очные ставки для тех, между кем существовала кровная вражда, и улаживал их споры. «В течение двух лет Фейсал трудился так ежедневно, сопоставляя и устраивая в естественном порядке бесчисленные крошечные осколки, которые образовывали арабское общество, и располагая их в соответствии со своим замыслом войны с турками. В тех округах, через которые он проходил, не оставалось никакой непогашенной вражды. Для западной Аравии он был апелляционным судом, крайним и безоговорочным».[1]

В Каире теперь поверили в силу арабов и пообещали им снабжение разного рода, включая столь необходимые горные орудия (в скалистой местности полевые не годились). Однако последние так и не были получены, а вопрос артиллерии оставался острым на протяжении всего восстания. Это нерадение англичан в оказании помощи своему союзнику Лоуренс приписывал простой глупости, так как жадностью то явно не было – они выделяли немалое количество других материалов и денег.

В последних числах января Лоуренс вернулся на несколько дней в Каир. Там для него оказались неожиданностью поздравления Бремона с успешным занятием Вэджха. Тот надеялся получить от него помощь в осуществлении своего плана взятия Акабы – последнего турецкого порта на Красном море – англо-французскими сила-

ми при поддержке с моря. Лоуренс ответил, что подобная операция стала бы аналогом галлиполийской кампании: высаженный десант оказался бы под огнем на хорошо обозреваемом побережье, а окрестные ущелья являлись непроходимыми для тяжело экипированных войск. Лоуренс сознавал значение Акабы, но предполагал занять ее с суши силами арабов. Он понял, что цель идеи Бремона заключается в том, чтобы путем укрепления союзников на территории перед арабами заставить тех ограничить свои действия пределами Аравии. В свою очередь, для Бремона являлось очевидным, что Лоуренс стоит на стороне арабов, поэтому он закончил разговор словами о том, что он предложит свой план Фейсалу. В тот же день Лоуренс поспешил в Вэджх. Прибывший туда через десять дней Бремон не встретил сочувствия своему замыслу.

Лоуренс съездил в Каир еще на неделю и затем вернулся в Вэджх. Там он поселился вместе с Фейсалом, лагерь которого был разбит в миле от моря, на краю кораллового шельфа. Ныне число его шатров значительно возросло: шатры жилые, гостевые, штабные, для приемов, для слуг. Окрестности Вэджха заполняли палатки его армии. «Поскольку в Вэджхе было принято располагаться далеко друг от друга, даже очень далеко, все мои дни были заняты передвижениями взад и вперед – к шатрам Фейсала, к палаткам англичан, к палаткам египетской армии, в город, в порт, к радиостанции, – топая беспрерывно весь день вверх и вниз по этим коралловым тропам в сандалиях или босиком, приучая ноги и постепенно приобретая способность ходить без большого неудобства по острой обжигающей земле, а также закаляя уже натренированное тело для большего усилия. Бедные арабы удивлялись, почему у меня нет лошади, а я удерживался от того, чтобы озадачивать их непонятным разговором о закалке, равно как и от признания, что я лучше буду ходить пешком, чем ездить, чтобы пощадить животных. И первое, и второе было правдой. Что-то ранящее мою гордость, неприятное поднималось при взгляде на эти низшие формы жизни...»[2] «Если бы мир был моим, я исключил бы из него животных»,[3] – писал Лоуренс в 1923 году. Он брезговал

ими, – хотя эта «ненависть к животным»[4] не мешала беречь их как проявления жизни. При их единственной цели – размножении, их существование представляется бессмысленным противопоставлением человеческому. Однако явный контраст стирается животным началом самого человека – инстинктом и все тем же проклятием продолжения рода. Гордое разумное существо оказывается лишь разновидностью этих бессмысленных низших форм все той же жизни, и телесность унижает дух. Вот что ранит гордость. Животные являются неким напоминанием о несовершенстве человека, заключенном в его двойственности: духовно он – подобие Бога, телесно – животного. Тело является «животным», и отвращение Лоуренса к этому тягостному придатку души переносилось на его прообраз.

В лагере не обходилось без происшествий. Однажды несколько человек подорвались на бомбе, оставшейся от бомбардировки Бойля. В другой раз загорелась одна из палаток. Как-то аджейли взбунтовались против своего командира ибн Дакиля из-за его строгостей и после того, как разгромили его шатер и избили его слуг, припомнили старые счеты и помчались убивать атейб. Фейсал, завидев бунтовщиков, бросился их останавливать. Он смог задержать их, пока на помощь к нему не подоспели другие. В итоге два человека были убиты и тридцать ранены. Ибн Дакиль подал в отставку на следующий день.

Радостью в лагере стали две бронемашины «Роллс-Ройс», оставшиеся после кампании в восточной Африке и переданные арабам Мюрреем. Ими управляли англичане. «Арабы полюбили новые игрушки. Велосипеды они называли конями черта и детьми автомобилей, которые в свою очередь были сыновьями и дочерями поездов. Это создавало нам три поколения механического транспорта»[5]. Морские силы предоставили корабль «Эспигл». Кроме того, в Вэджх была доставлена армейская радиостанция.

Глава LXVI

Неожиданные перемены. – Путь Лоуренса в Вади Аис. – Вход в тупик.

Неожиданно пришло послание от Клейтона с требованием встретить египетский патрульный пароход, который должен был доставить некоторые новости. Спустя пару дней пароход прибыл, и Лоуренсу была передана копия перехваченной турецкой телеграммы, в которой Джемаль-паша приказывал Фахри немедленно эвакуировать гарнизон Медины в Маан. Это было благоприятно для арабов, но для англичан появление двадцатипятитысячной армии неприятеля на беэршевском фронте было более чем нежелательным. Поэтому Клейтон призывал арабов прийти на помощь и либо взять Медину, либо перехватить турецкий эшелон в пути. Лоуренсу пришлось самому принимать срочные меры, так как Ньюкомб находился в набеге на железную дорогу. Лоуренс сказал Фейсалу, что арабам придется пожертвовать своими интересами и вместо развития успеха оказать поддержку союзнику. Фейсал без лишних размышлений обещал сделать все, что было возможно.

Было решено направить отряд, включавший «кавалерию» на мулах, к Фагайру – первому источнику воды к северу от Вади Аис, чтобы атаковать определенный отрезок железной дороги. На следующий участок должен был совершить набег Али ибн эль Хуссейн. Ибн Маханне следовало выступить к станции Эль Ула, шерифу Назиру – к Каллат эль Муаддаму, а Мохаммеду Али – к Тебуку. Таким образом, арабы осадили бы сто пятьдесят миль железнодорожной линии. Фейсал, остававшийся в Вэджхе, был готов оказать помощь любому из этих отрядов. А Лоуренсу, болевшему тогда дизентерией, предстояло отправиться к Абдулле в Вади Аис, чтобы выяснить причины его бездействия в течение двух месяцев и убедить его атаковать турок при их выходе из Медины.

Фейсал дал ему двенадцать спутников – четырех аджейлей, четырех рифаа, одного из мерави-джухейны,

сирийца, марокканца и атейбу, и в девять часов вечера они выступили в поход. Через четыре часа они сделали привал, а когда рассвело, снова вышли в путь и, совершив два перехода в пять часов каждый, достигли Абу Зерейбата. Следующим утром, еще в полутьме, они проехали через Хамд, после чего вдруг оказались среди изломанных линий низких холмов. Когда рассвело, удалось отыскать потерянную дорогу и выехать к Сукуру, чьи странные округлые вершины отмечали путь на Вэджх. Две из них были серой массой вулканической породы, с красноватыми подтеками там, где ни солнце, ни ветер не обесцветили их. Третья, Сакара, поднимавшаяся поодаль, даже теперь вызвала интерес Лоуренса из-за своего необычного вида, напоминавшего коричневый футбольный мяч, наполовину погруженный в землю. Ее поверхность была отшлифована песчаными ветрами и пересечена трещинами, будто швами. То был «один из страннейших холмов в Хиджазе, краю странных холмов».[1]

Далее путь шел сквозь узкое ущелье с песчаным дном и отвесными голыми склонами, через крутой перевал и по земле гранитных обломков, где верблюды продвигались с большим трудом. Затем следовала широкая, поросшая деревцами долина, а потом – скалистые холмы, где путникам пришлось спешиться и вести верблюдов по узкой тропе, отполированной прошедшими по ней поколениями.

После этого перехода было облегчением достичь высокой седловины, на которой странники прежних лет сложили памятные кучки камней. «Такими же были пирамидки на обочине дороги в Мастуру, в мое первое путешествие по Аравии, из Рабега к Фейсалу».[2] Добавив свой камешек, отряд двинулся дальше, по песчаной долине в Вади Ханбаг, приток Хамда. Немного отдохнув там, путники добрались до Вади Китана. Из каменистого дна поднимались деревья, справа тянулись низкие холмы, а слева отвесно вздымались гранитные вершины Джидвы, багровые в лучах вечернего солнца, угасавшего в тяжелых тучах. Было 10 марта.

В этом вади сделали привал. Лоуренс, измученный головной болью и сильным жаром, прилег под скалу. В

тот день он дважды терял сознание, когда трудности перехода требовали от него чрезмерного усилия. «Дизентерия этого аравийского побережья была подобна удару молота и разбивала свою жертву за несколько часов, после чего острые проявления проходили, но оставались странная усталость и склонность к нервным срывам в течение нескольких недель».[3]

В то время, как Лоуренс лежал на мертвенной земле, довольствуясь этим скудным отдыхом, вдруг грянул выстрел. Он не обратил на него внимания. В долине было немало птиц и зайцев, и наверняка его спутники на кого-то охотились. Однако вскоре к нему подошел один человек из его сопровождения и попросил следовать за ним. Лоуренс с трудом поднялся и, преодолевая изнеможение, пошел с ним к противоположному склону долины. Там, в небольшом углублении скал, лежал убитым один из аджейлей. Трое остальных метались вокруг.

Лоуренс узнал, что убийцей был марокканец Хамид. Он послал на его розыски, а сам пополз обратно к багажу, скорее чувствуя, чем думая, что, как назло, это должно было случиться именно в тот день, когда ему было так плохо. Добравшись, он снова лег под скалу и погрузился в болезненное забытье. Спустя некоторое время он услышал чье-то движение и, открыв глаза, увидел Хамида, склонившегося над багажом. Лоуренс взял его на мушку и держал так до тех пор, пока не подошли остальные. После краткого допроса удалось выяснить, что Хамид поссорился с тем аджейлем и застрелил его в приступе ярости. Аджейли требовали смерти виновного, другие поддерживали их, и все попытки Лоуренса переубедить их были тщетны. Мучительная головная боль смешивала его мысли, но даже в добром здоровье ему едва ли удалось бы заставить их изменить свое решение, ибо бессмысленное убийство дружелюбного человека являлось для них двойным преступлением.

Разрешить аджейлям совершить акт возмездия означало бы дать начало розни между этим племенем и остальными марокканцами в армии Фейсала: дело нескольких человек могло нарушить единство целой армии. Поэтому

Лоуренсу ничего не оставалось, как исполнить приговор самому, на пределе телесной слабости и почти теряя сознание.

Он отвел осужденного в узкую расщелину, сумрачную и влажную, поросшую сорной травой. Каменная тяжесть вертикальных откосов сдавливала пространство, сужавшееся в глубине до трещины в несколько дюймов. Лоуренс встал на входе, тогда как обреченный с безнадежными рыданиями бросился на землю. Подождав, Лоуренс приказал ему подняться и выстрелил в грудь. Тот с криком упал на траву, и кровь толчками забила из раны. Дергаясь в судорогах, он подкатился почти к ногам Лоуренса. Лоуренс, весь дрожа, выстрелил снова, но промахнулся и только перебил несчастному запястье. Хамид продолжал кричать, но тише, и лежал теперь на спине, ногами ко входу. Склонившись над ним, Лоуренс выстрелил в последний раз, под челюсть. Тело дернулось и затихло. Лоуренс позвал аджейлей, и они похоронили убитого в той же теснине.

Позднее теснина бессонной ночи надвинулась на Лоуренса. К физическому изнурению добавился духовный коллапс, как будто его чувствительная, сострадательная душа сама оказалась зажатой в ту черную расщелину смерти. Казалось, ее чистота была безвозвратно утрачена, и, убив человека, он искалечил человека в себе.

Задолго до рассвета он поднял своих спутников и заставил их отправиться в путь: настолько сильно ему хотелось поскорее освободиться от дурного бреда Вади Китан.

Последние лучи его прежней жизни угасли, и Лоуренс стоял у входа в сужающуюся расселину своего будущего.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА

ИЛЛЮСТРАЦИИ

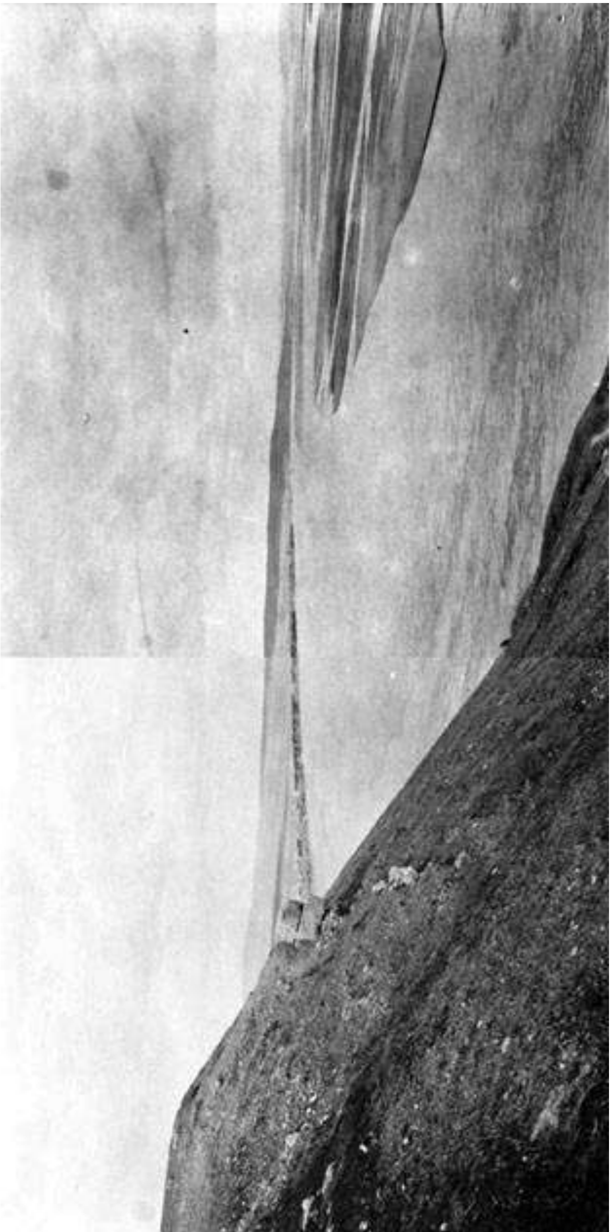
Дом семьи Лоуренсов в Оксфорде, Полстид Роуд, 2

Домик Томаса в саду, Оксфорд

Маршрут велосипедной поездки Лоуренса по Франции в 1908 году

Каркассон
Фото Лоуренса. 1908 г.

Шартр. Философ
Фото Лоуренса. 1908 г.



Кархемиш. Вид на север.
Фото Гертруды Бэлл, 1909 г.

Кархемиш. Вид на юг.
Фото Г. Бэлл, 1909 г.

Холм Кархемиша, на котором велись раскопки

Общий вид раскопок. 1914 г.

Лоуренс и Ч.Л. Вулли

Кархемиш, 1913 г.

Дахум

Фото Лоуренса. Кархемиш, лето 1912 г.

Слева направо: Дахум, Абд ас-Салам, Грегори, шейх Хамуди.

Кархемиш, 1912 г.

Экспедиция на Синай, 1914 г.: Вади Аин Кадеис

В Вади Дейра. На фото, должно быть, Дахум.

Экспедиция на Синай: византийская цистерна на Дарб эль-Шур, близ Бир Биреин. На фото, по всей видимости, Дахум.

Экспедиция на Синай: резервуар в Рахейбе.
Снова, по всей вероятности, запечатлен Дахум.

Фейсал

Фото 1919 года

Лоуренс в Вэджхе

Январь 1917 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Обозначения: *HL* – «Home Letters of T.E. Lawrence and His Brothers” [Письма Т.Э. Лоуренса и его братьев к родным]; *SP* – *“Seven Pillars of Wisdom”* [Семь столпов мудрости]; *The Mint* - «Чеканка»; T.E.L. – Т.Э. Лоуренс; W.G.L. – Уильям Лоуренс; ibid. (лат.) – «там же».

Глава I

[1] к Ш. Шоу, 10.06.24.
[2] *Seven Pillars of Wisdom,* ch.92.
[3] Из стихотворения Элис Мэйнелл “Parentage,” включенного в “*Minorities.*”
[4] Талмуд.
[5] к Ш. Шоу, 14.04.27.
[6] к Ш. Шоу, 10.06.24.
[7] к Ш. Шоу, 14.04.27.
[8] ibid.
[9] ibid.
[10] к В. Ричардсу, 1923.
[11] к Ш. Шоу, 14.04.27.
[12] ibid.
[13] ibid.
[14] V.Richards, *Portrait of T.E. Lawrence.*
[15] Из вступления Э. Баркера, написанного в марте 1953 г., к разделу писем Уильяма в *Home Letters*.

Глава II

[1] *Portrait of T.E. Lawrence.*
[2] *The Mint*, p.43.
[3] *SP,* ch.83.
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] to his family, 4.08.09.
[7] к Э. Гарнетту, 23.12.27.
[8] к Э. Паунду, 7.12.34.
[9] *Portrait of T.E. Lawrence.*
[10] Bossuet*, Sermon sur l'ambition.*

[11] ibid.
[12] к Л. Кёртису, 19.03.23.
[13] к Л. Кёртису, 14.05.23.
[14] ibid.
[15] ibid.
[16] Savonarola, *Sermone dell'orazione*.
[17] *SP,* ch.103.
[18] Lc. 14-11.
[19] *Portrait of T.E. Lawrence*.
[20] *HL,* 28.03.13.
[21] Ин. 5-41
[22] Ин. 17-5
[23] Bossuet, *Sermon sur l'honneur du monde*.
[24] ibid.

Глава III

[1] *HL,* 12.09.12.
[2] *Dream Comrades*.
[3] *Portrait of T.E. Lawrence*.

Глава IV

[1] *«Иисус Неизвестный»,* с. 17.
[2] *The Mint,* p. 178.
[3] Т.Э. к матери.
[4] *«Иисус Неизвестный»,* с. 55-56.
[5] Bossuet.
[6] к Ш. Шоу, 14.04.27.
[7] к Брюсу Роджерсу.
[8] *«Иисус Неизвестный»,* с. 14.
[9] ibid., с. 13.

Глава V

[1] к семье, 27.08.17.
[2] *Portrait of T.E. Lawrence*.
[3] ibid.
[4] 31.01.11.

[5] к Э. Алтуняну, 9.01.33.
[6] к Р. Бакстону, 22.09.23.
[7] к Дж. Брофи, 19.11.29.
[8] к Ш. Шоу, 5.12.30.
[9] *Portrait of T.E. Lawrence.*
[10] к Ш. Шоу, 8.01.23.
[11] *Portrait of T.E. Lawrence.*
[12] G. Nordensvan, *De bildande konsternas historia under 19de århundradet.*
[13] *Portrait of T.E. Lawrence.*

Глава VI

[1] L. Green, *Religion of the Eyes.*
[2] Savonarola.
[3] L. Green, *Intimacy.*
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] ibid.
[7] ibid.
[8] ibid.
[9] *Dream Comrades.*
[10] ibid.
[11] из моего стихотворения «В людской пустыне...» – *О.К.*
[12] *Dream Comrades.*
[13] ibid.
[14] L. Green, *Randwick Woods.*

Глава VII

[1] *HL*, 13.08.05.
[2] ibid., 4.08.06.
[3] ibid., 9.08.06.
[4] ibid., 14.08.06.
[5] ibid., 17.08.06.
[6] ibid.
[7] ibid., 28.08.06.
[8] ibid., 28.08.06.
[9] ibid., 14.08.06.
[10] ibid., Apr. 1907.

[11] *Portrait of T.E. Lawrence*.
[12] ibid.
[13] ibid.
[14] ibid.
[15] к миссис Ридер, 11.08.11.

Глава VIII

[1] к Э. Гарнетту, 9.10.22.
[2] к Ш. Шоу, 29.03.27.
[3] *HL,* 17.12.33.

Глава IX

[1] ibid.*,* 11.08.07.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.*,* 26.08.07.
[5] ibid.
[6] ibid.
[7] ibid.
[8] ibid.

Глава X

[1] Из воспоминаний Лидса в “*Letters to E.T. Leeds.”*
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.

Глава XI

[1] *HL,* 2.08.08.
[2] ibid.*,* 16.08.08.
[3] ibid.*,* 23.07.08.
[4] ibid.*,* 2.08.08.
[5] ibid.

[6] ibid.
[7] Lucretius, V. 1203
[8] *HL*, 2.08.08.
[9] P.B. Shelly, *'Stanzas written in dejection, near Naples'*
[10] *HL,* 2.08.08.
[11] ibid.
[12] ibid., 6.08.08.
[13] ibid., Aug. 1908.
[14] ibid.
[15] ibid.
[16] ibid.
[17] ibid., 16.08.08.
[18] ibid.
[19] ibid.
[20] ibid.
[21] ibid.
[22] ibid.
[23] ibid., 28.08.08.
[24] ibid.

Глава XII

[1] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс»*.
[2] *HL,* 29.06.09.
[3] ibid., 2.07.09.
[4] ibid., 6.07.09.
[5] ibid., 2.08.09.
[6] ibid.
[7] ibid.
[8] ibid.
[9] ibid., 2.08.09.
[10] ibid.
[11] ibid.
[12] ibid.
[13] ibid.
[14] Мт. 16,13.
[15] *HL,* 2.08.09.
[16] ibid.
[17] ibid.
[18] Лк. 4,31.

[19] Ин. 6,1.
[20] *HL,* 2.08.09.
[21] ibid.
[22] ibid.
[23] ibid., 13.08.09.
[24] ibid.
[25] ibid., 29.08.09.
[26] ibid., 7.09.09.
[27] ibid.
[28] ibid.
[29] ibid.
[30] ibid.

Глава XIII

[1] *HL,* F.H.L., 25.08.10.
[2] ibid., 19.08.10.
[3] ibid.,Т.Э.Л., авг. 1910.
[4] ibid., Sept. 1910.
[5] ibid.
[6] ibid.

Глава XIV

[1] ibid., Dec. 1910.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] ibid.
[7] ibid.
[8] ibid.
[9] ibid.
[10] *Letters to E.T. Leeds,* 12.12.10.
[11] *HL,* 16.12.10.
[12] ibid.
[13] ibid.
[14] ibid.

Глава XV

[1] ibid., 31.12.10.
[2] ibid., 31.01.11.
[3] ibid., 24.01.11.
[4] ibid.
[5] Суд. 5,21.
[6] *HL*, 26.02.11.
[7] ibid.
[8] ibid.

Глава XVI

[1] ibid., 31.03.11.
[2] *Letters to E.T. Leeds*, 27.03.11.
[3] *HL*, 31.03.11.
[4] ibid., 19.05.11.
[5] ibid., 31.03.11.
[6] ibid., 20.03.11.
[7] ibid.
[8] ibid. 31.03.11.
[9] ibid.
[10] ibid., 20.03.11.
[11] ibid.
[12] ibid., 20.03.11.
[13] ibid.
[14] ibid., 31.03.11.
[15] ibid., 11.04.11.

Глава XVII

[1] L. Green, *Intimacy*.
[2] *HL,* 29.04.11.
[3] T.E.L., *Dedication*.

Глава XVIII

[1] *HL,* 16.12.10.
[2] *Seven Pillars of Wisdom,* ch.1.

Глава XIX

[1] *HL,* 29.04.11.
[2] ibid.
[3] ibid., 23.05.11.
[4] ibid., 13.06.11.
[5] ibid.
[6] ibid., 8.06.11.

Глава XX

[1] ibid., 13.06.11.
[2] ibid., 24.06.11.
[3] to Mrs. Rieder.
[4] ibid.
[5] к миссис Ридер, 11.08.11.

Глава XXI

[1] 1 Кор. 11,7.
[2] John Boswell, *Same-Sex Unions in Premodern Europe,* p. 109.
[3] 14,4.
[4] John Boswell, *Same-Sex Unions*, p. 159.
[5] ibid., p. 287. *Hymn to Saints Serge and Bacchus.* VI cent. Greek.
[6] John Boswell, *Same-Sex Unions in Premodern Europe,* pp. 291-294.
[7] ibid., p.295. *Office for Same-Sex Union.* Grottaferrata, XI cent. Greek.
[8] *Seven Pillars of Wisdom*, ch. 93.
[9] Ин. 21,22.
[10] Ин. 16,2-3.
[11] Ин. 17,14.

Глава XXII

[1] T.E.L., *Dedication.*

Глава XXIII

[1] *HL,* 13.06.11.

[2] ibid., 18.06.11.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.

Глава XXIV

[1] *The Mint,* p. 28.
Все остальные цитаты из *“The Diary Kept by T.E. Lawrence while Travelling in Arabia During 1911.”*

Глава XXV

Все цитаты из *“The Diary...”*

Глава XXVI

[1] к Л. Кёртису, 30.05.23.
[2] к миссис Ридер, 26.09.11.
[3] *HL,* 13.12.11.
[4] ibid., 13.06.11.

Глава XXVII

[1] к Д. Дж. Хогарту, 16.12.11.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] *HL,* 19.12.11.
[7] ibid., 28.12.11.
[8] ibid.

Глава XXVIII

[1] к миссис Ридер, 23.01.12.
[2] *HL,* 18.01.12.
[3] к миссис Ридер, 23.01.12.
[4] Из очерка Лидса.

[5] *HL*, 11.01.12.
[6] ibid.
[7] ibid.
[8] ibid., 18.01.12.
[9] ibid.
[10] ibid., 11.01.12
[11] ibid., 18.01.12.
[12] ibid., 26.01.12.
[13] ibid., 31.01.12.
[14] ibid., 12.09.12.

Глава XXIX

[1] ibid., 25.02.12.
[2] *Letters to E.T. Leeds,* 25.02.12.
[3] *HL,* 20.02.12.
[4] ibid., 20.03.12.
[5] *Letters to E.T. Leeds*, 18.03.12.
[6] *HL,* 20.03.12.
[7] ibid., 6.04.12.
[8] ibid.
[9] *Letters to E.T. Leeds,* апрель 1912.
[10] *HL,* 16.04.12.
[11] ibid., 6.04.12.

Глава XXX

[1] *Letters to E.T. Leeds,* 6.05.12.
[2] *HL,* 29.04.12.
[3] ibid., 4.11.12.
[4] ibid., 11.05.12.
[5] ibid., июнь 1912.
[6] ibid., июнь 1912.
[7] ibid., июнь 1912.

Глава XXXI

[1] ibid., 24.06.12.
[2] ibid., 24.06.12.

[3] ibid., 23.06.12.
[4] ibid., 23.06.12.
[5] ibid., 21.07.12.
[6] ibid., 16.07.12.

Глава XXXII

[1] *Jesus College Magazine,* Vol.I, № 2, январь 1913.
[2] *Seven Pillars of Wisdom,* ch.1.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] ibid.
[7] ibid.
[8] ibid.
[9] *HL*, 13.09.12.

Глава XXXIII

[1] ibid., 18.09.12.
[2] ibid., 18.09.12.
[3] ibid., 13.09.12.
[4] ibid., 23.04.14.
[5] to R.A.M. Guy, 25.12.23.
[6] стихотворение Т.Э.Л. “Photograph from Carchemish.”
[7] ibid.

Глава XXXIV

[1] *HL,* 8.10.12.
[2] ibid., 8.10.12.
[3] ibid., 15.10.12.
[4] ibid., 22.10.12.
[5] ibid., 22.10.12.
[6] ibid., 14.11.12.

Глава XXXV

[1] ibid., 8.02.13.
[2] ibid., 13.03.13.
[3] к Хогарту, конец февраля.
[4] *HL,* 22.02.13.
[5] ibid., 6.03.13.
[6] ibid., 23.03.13.
[7] ibid., 26.04.13.
[8] *Letters to E.T. Leeds,* 13.05.13.
[9] ibid., 13.05.13.
[10] *HL,* 15.06.13.
[11] ibid.
[12] ibid.
[13] ibid., 21.06.13.

Глава XXXVI

[1] из очерка Лидса.
[2] *HL,* 30.09.13.

Глава XXXVII

[1] ibid., 25.08.13.
[2] из очерка Лидса.
[3] *HL,* 9.09.13.

Глава XXXVIII

[1] *HL,* W.G. Lawrence, 12.09.13.
[2] ibid., 11.09.13.
[3] ibid., 12.09.13.
[4] ibid., 14.09.13.
[5] ibid., 27.09.13.

Глава XXXIX

[1] *Maurice.*

[2] *HL,* 3.10.13.
[3] ibid., 10.12.13.
[4] ibid., 17.12.13.
[5] ibid., 4.12.13.
[6] ibid., 10.12.12.

Глава XL

[1] *HL, W.G.L.,* 22.01.14
[2] *The Wilderness of Zin,* introduction by T.E.L.
[3] Л. Гарт, *«Полковник Лоуренс».*
[4] *HL,* 17.01.14.
[5] ibid., 29.01.14.
[6] *Letters to E.T. Leeds,* 6.02.14.

Глава XLI

[1] *The Wilderness of Zin,* a part by T.E.L.
[2] ibid.
[3] *Letters to E.T. Leeds,* 28.02.14.
[4] ibid.
[5] *The Wilderness of Zin.*
[6] *Letters to E.T. Leeds,* 28.02.14.
[7] Мое стихотворение – *О.К.*
[8] *Letters to E.T. Leeds,* 28.02.14.

Глава XLII

[1] *HL,* 18.05.16.
[2] ibid., 17.05.14.

Глава XLII

[1] В. Швейцер, *«Быт и бытие Марины Цветаевой»,* с. 77.
[2] ibid.

Глава XLV

[1] Мое стихотворение – *О.К.*
[2] Выделенные курсивом слова – из моего сна, увиденного весной 2011 года, в котором я читала некое письмо Лоуренса, где были и они. Разумеется, сны источниками не являются, но все-таки мысль интересна. – *О.К.*

Глава XLVII

[1] *HL,* 20.02.15.
[2] *Letters to E.T. Leeds,* 16.11.14.

Глава XLVIII

[1] Г.Б. Лиддел Гарт, «*Полковник Лоуренс*».
[2] *SP,* ch. 6.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] ibid.
[7] ibid.
[8] к Ч.Ф. Бэллу, 18.04.15.
[9] ibid.
[10] *HL,* W.G.L., 20.10.14.
[11] ibid., T.E.L., 20.02.15.
[12] ibid., W.G.L., 27.03.15.
[13] к Ч.Ф. Бэллу, 18.04.15.

Глава XLIX

[1] Дж. Киган, «*Первая Мировая война*».
[2] *HL,* июнь 1915.
[3] ibid., 4.06.15.
[4] ibid., июнь 1915.
[5] ibid.
[6] ibid., 3.07.15.

Глава L

[1] ibid., 16.01.16.
[2] *Letters to E.T. Leeds,* 18.01.16.
[3] ibid.
[4] *HL*, 18.05.16.
[5] ibid.
[6] ibid.
[7] ibid.
[8] ibid.
[9] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс»*.
[10] ibid.

Глава LI

[1] *SP,* ch. 4.
[2] ibid.
[3] ibid., ch. 5.
[4] ibid.

Глава LII

[1] Письмо от 14.07.1915.
[2] Здесь я путем собственных размышлений пришла почти к той же мысли, что Лоуренс в декабре 1910. Он предлагал Уильяму подумать, «является ли цивилизация мерилом для того, чтобы оценивать характер и достижения народов, живущих иначе, чем мы сами?» Эти слова я привожу в главе XVIII – *О.К.*

Глава LIII

[1] Лиддел Гарт замечает по этому поводу: «Этот относительный иммунитет от той жажды крови, что имеется у большинства живущих здесь рас, является свидетельством здравого смысла арабов, но в то же время он не указывает на арабов как на «хороший материал» для крестового похода, который требует фанатического энтузиазма». Заявление более, чем странное для представителя «цивилизации» и военного историка, повествующего об этом самом «крестовом походе», в котором арабы одержали блестящую победу над турками, не убивая женщин и детей и не выжигая селений, – то есть без того, что им столь цинично названо «фанатическим энтузиазмом».

Глава LIV

[1] *HL,* 1.07.16.
[2] *SP,* ch.7.
[3] *HL,* 22.07.16.
[4] *SP,* ch.7.
[5] ibid.

Глава LV

[1] *SP*, ch.7.
[2] ibid., ch.8.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] ibid., ch.9.

Глава LVI

[1] ibid., ch.10.

Глава LVII

[1] ibid., ch. 12.

Глава LVIII

[1] ibid., ch.13.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid., ch.19.
[6] ibid., ch.13.
[7] ibid.

Глава LIX

[1] ibid.
[2] ibid., ch.14.

Глава LX

[1] ibid., ch. 16.
[2] ibid.

Глава LXI

[1] ibid., ch.17.
[2] ibid., ch.19.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.

Глава LXII

[1] ibid., ch.82.
[2] ibid.
[3] ibid., ch.20.
[4] ibid., ch.21.

Глава LXIII

[1] к К. Корнуоллису, 27.12.16.
[2] *SP,* ch.22.

Глава LXIV

[1] ibid., ch.24.
[2] ibid., ch.26.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid., ch.27.

[6] ibid.
[7] О. Мандельштам, *«Стихи о Неизвестном солдате»*.
[8] Там же.

Глава LXV

[1] ibid., ch.30.
[2] ibid., ch. 29.
[3] к Л. Кёртису, 27.06.23.
[4] ibid.
[5] *SP,* ch.29.

Глава LXVI

[1] *SP,* ch.31.
[2] ibid.
[3] ibid.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие на английском 8
Предисловие на русском 9

ЧАСТЬ I
1888 – 1910
Глава I. Семья Лоуренса и ее особенность. – Дурнота продолжения рода. – Отношения с матерью и с отцом. – Отношения с братьями 10
Глава II. Аскетизм. – Быт Лоуренса. – Привычки: питание, сон, внешний вид. – Отношение к деньгам. – Отношение к власти, почестям и славе 24
Глава III. Терпение в страдании. – Своя чужая боль. – Дар теплоты и безысходность одиночества 33
Глава IV. Вера, Христос и Библия в жизни Лоуренса 37
Глава V. Школа. – Археология. – Средневековье: архитектура, крестовые походы и военное дело. – «Миссия» Лоуренса. – Любовь к литературе. – Стремление к творчеству. – Увлечение музыкой. – Ручная работа и фотография. – Навеянная Уильямом Моррисом мечта об издательстве. – Полнота радости 42
Глава VI. Первая любовь Лоуренса. – Идеи Леонарда Грина и его образ 54
Глава VII. Путешествие по Франции в 1906 году. – Первый армейский опыт. – Поездка по Уэльсу в 1907 году. – Поступление в колледж и особенности учебы Лоуренса 63
Глава VIII. Вивьен Ричардс. – Его отношения с Лоуренсом. – Его образ. – О книге Ричардса 71
Глава IX. Путешествие по северной Франции в 1907 году 76
Глава X. Знакомство с Э.Т. Лидсом. – Жизнь Лидса. – Его отношения с Лоуренсом 78
Глава XI. Путешествие Лоуренса по Франции в 1908 году: Цель. – Рацион. – Интерес к событиям в Турции. – Испытания вне представления древних. – «Таласса!» – Эге-Морт. – Средиземное море. – Безье. – Каркассон. – Тулуза. – Альби. – Корде. –

Несносные собаки Лимузина. – Шартр 82
Глава XII. Первое путешествие Лоуренса в Сирию, 1909 год: Задача. – Предостережения. – Путь по морю. – Порт-Саид. – Бейрут. – Сидон. – Местные блюда. – Гостеприимство. – Восточные жители и их жилища. – Набатийе. – Дорога в Баньяс (Кесарею Филиппову). – Баньяс. – В Сафед. – Генисаретское озеро и Тивериада. – Палестинский зной. – Харошет. – Обратно в Бейрут. – Джебейль. – Калаат аль-Хосн (Крак-де-Шевалье). – Происшествие у Масияда. – Путь к Халебу. – Халеб. – Неприятности продолжаются. – Итоги 94
Глава XIII. Последнее путешествие Лоуренса по Франции, 1910 год: Замок Куси. – Бовэ: храм и книги. – Еще торжественный Реймс. – В сени Шато-Геллар. – Благодать в Каэне. – Канун новой жизни 110

ЧАСТЬ II
1910 – 1914
Глава XIV. Зачисление Лоуренса в археологическую экспедицию на Восток. – Путь в Сирию, декабрь 1910 года: Неаполь. – Афины. – Константинополь. – Снова в Джебейль 114
Глава XV. В Джебейле. – Путь в Кархемиш. – Начало новой жизни 120
Глава XVI. История Кархемиша и его исследование. – Начало раскопок. – Мастерство Лоуренса. – Быт археологов. – Впечатления Лоуренса 124
Глава XVII. Величайший из Божьих даров. – Миг сотворения 129
Глава XVIII. Начало любви. – Отношение Лоуренса к арабам. – Значение для него Дахума 132
Глава XIX. Научные надежды и разочарования. – Будни. – Ночное происшествие. – «Колдовство». – Испытание Гертруды Бэлл 136
Глава XX. Способности Дахума. – Сближение с ним. – Несколько трудных слов 140
Глава XXI. Любовь истинная и любовь-химера. – Отношение ранних христиан к однополым союзам. – Узы, освященные Крестом 144

Глава XXII. «Бесконечность истории» и прообраз Бытия. – Первое единение 153
Глава XXIII
Научное разочарование. – Еще одна обязанность Лоуренса. – Его планы 155
Глава XXIV. Путешествие Лоуренса по северной Сирии в июле 1911 года 157
Глава XXV. Болезнь Лоуренса. – Его внезапное решение. – Отъезд 166
Глава XXVI. Конец сомнений о будущем раскопок. – Возвращение в Кархемиш 171
Глава XXVII. В Джераблусе. – Спор о кархемишском холме. – «Самое памятное Рождество» 173
Глава XXVIII. Флиндерс Петри. – Мумии. – Тленное и вечное. – Быт на раскопках. – Находки. – Неосуществленная идея. – Впечатления Лоуренса от раскопок, Египта и египтян. – Мысли о Сирии 176
Глава XXIX. В Халебе. – Дорога в Кархемиш. – Беспокойные раскопки. – Появление Леонарда Вулли. – Победа над каймакамом. – Добрая слава Лоуренса. – Новая атака каймакама. – Взломщики. – Раритетное жилище 181
Глава XXX. Дни Лоуренса. – Его выражения счастья. – Наука фотографии. – Итоги второго сезона 188
Глава XXXI. Новый Авессалом. – Просьба к Лоуренсу. – Сельская слава Лоуренса и ее причины. – Блаженство свободы. – Борьба со смертью 192
Глава XXXII. Каср Ибн Вардани. – Богатство простоты. – На побережье мечтаний. – Открывшийся тлен 196
Глава XXXIII. Эпидемии. – Новые атаки немцев. – Занятия Лоуренса в ожидании нового сезона раскопок. – Связь с Востоком. – Братство 206
Глава XXXIV. Чествование археологов в Кархемише. – Новый сезон работ. – Первая Балканская война. – Занятия Лоуренса. – В темнице. – Недолгая разлука 211
Глава XXXV. Поездка в Александретту. – Кладбище в Деве-Хюйюк. – Февральские занятия. – Явления из прошлого. – Посетители. – Старания Лоуренса. – Хадад. – Раскопки у

селения Юнус и завершение IV сезона. – Неосуществленный план. – Покой. – Последний посетитель сезона и состязание в стрельбе 215
Глава XXXVI. Поездка Дахума и Ходжи в Англию: Впечатление Оксфорда. – Отблески грез. – Арабы в музее Эшмола. – Апогей восхищения. – Впечатления гостей 222
Глава XXXVII. Очередное покушение на историю. – Археологическая разведка в Хаммаме и Кара-Казаке. – Утраченные ценности 226
Глава XXXVIII. Приезд Уильяма в Кархемиш в сентябре 1913 года: Дамаск. – В Кархемише. – В гостях у курдов. – Расставание 228
Глава XXXIX. Поразительная горгулья. – Одиночество личности. – Способы фотографии. – «Загадочное» изображение. – Страстный читатель. – Собрание головоломок. – Дары Дахума и Бусрави. – Хищный сторож. – Салюты. – Неожиданное поручение 232
Глава XL. Цели экспедиции. – Археологические задачи. – Пустыня Син и Кадеш-Барнеа в библейской истории. – Предыдущие исследования местности. – Филистия. – Гезер. – Ашдод. – Газа. – Беэр Шева. – Ньюкомб. – В пустыне. – Каласа. – Эсбеита. – Эль-Ауджа. – Тель эс-Серам. – Дарб эль-Шур. – Пропавшие археологи. – Коссаима. – В Кадеш-Барнеа. – Разделение. – Синай: облик и история 236
Глава XLI. Пространства Бога. – По старой дороге к Акабе. – Акаба. – Невиданная флотилия. – Джезирет Фараун. – Растерянный эскорт. – Ненастная ночь у могилы Аарона. – Вади Араба. – Петра. – Наибольшая красота 250
Глава XLII. Возвращение в Кархемиш. – Итоги экспедиции. – Благоприятные перспективы работ. – Сражение местного значения. – Песня грома. – Цветы. – Велосипед в Джераблусе. – Завершение сезона 258
Глава XLIII. Мир накануне Великой войны 263
Глава XLIV. Причины Первой Мировой войны. – Гибельное решение 267

ЧАСТЬ III

1914 – 1916

Глава XLV. Время смерти 270
Глава XLVI. Лето 1914 года: Неизвестность. – Патриотический всплеск. – Ожидание Лоуренса. – Последняя встреча 271
Глава XLVII. Зачисление Лоуренса в Географический отдел. – Первые обязанности. – Произведение в лейтенанты. – «Идеальный офицер». – Вступление Турции в войну. – «Урок смирения». – Под поверхностью рутины 275
Глава XLVIII. Турция в войне. – Опасности для Британии на Востоке. – Каирский штаб. – Деятельность Лоуренса в штабе. – Тщета. – Тревоги. – Западный фронт осенью 1914 года. – Потери в 1914 году. – Невстреча. – Тоска по дому 278
Глава XLIX. 1915 год: положение на Востоке и на Западе. – Первая потеря. – Страх за Дахума. – Вторая утрата 286
Глава L. Только память. – Каирская бессмысленность. – Миссия в Кут эль-Амара. – Убийственный доклад возмутительного младшего лейтенанта 291
Глава LI. Истоки арабского восстания: История порабощения. – Арабский национализм. – Тайные общества. – Противодействие турок. – Обращение турецкого правительства к Шерифу Мекки. – Давление на шерифов. – Опасность продовольственной блокады в Хиджазе и призыв Шерифа к Англии. – Обращение к Шерифу арабских патриотов. – Посланничество Фейсала в Дамаск. – Нежеланные гости и великодушие Фейсала. – Начало борьбы 300
Глава LII. Корреспонденция МакМагона-Хуссейна. – Соглашение Сайкса-Пико 306
Глава LIII. Неудача арабов при Медине. – Гибель селения Ауали. – Освобождение Мекки. – Английская делегация в Хиджазе. – Освобождение Джидды и Таифа. – Продолжающиеся трудности Фейсала. – Иностранный контроль за положением в Аравии. – Дилемма Рабега. – Заинтересованность Франции в восстании арабов 309
Глава LIV. «Арабский бюллетень» и марки для Шерифа. – Воодушевление Лоуренса. – У Лоуренса появляется некая идея. – Маленький источник большого раздражения. – Перевод Лоу-

ренса в Арабское бюро 316
Глава LV. Время настало. – Поездка Лоуренса в Джидду. – Встреча с Абдуллой. – По улицам Джидды. – Музыка пленников 319
Глава LVI. Лоуренс в Рабеге. – Али бин Хуссейн. – Начало пути. – «Обратное паломничество». – Явление красоты 325
Глава LVII. Через пустыню. – Подозрительный незнакомец. – Вади Сафра. – Встреча с Фейсалом 330
Глава LVIII. Трудности Фейсала и его планы. – Образ Фейсала 334
Глава LIX. Грезы. – Умонастроения Фейсала и его арабов. – Армия Фейсала и мнение Лоуренса о ней. – Обещания Лоуренса и его отъезд 338
Глава LX. Обратный путь. – Доклад в Хартуме. – Разрешение вопроса Рабега. – Преображение Лоуренса. – Недоброе следствие доброй услуги 341

ЧАСТЬ IV
1916 – 1918

Глава LXI. Нежеланное возвращение. – Г. Гарланд. – Положение в Хиджазе. – У Фейсала в Нахл Мубараке 346
Глава LXII. Исчезнувшие джухейны. – Оборона Янбо. – Планы о взятии Вэджха 353
Глава LXIII. Предложение Лоуренса. – Опыт набега. – Выступление армии Фейсала на Вэджх. – Заботы Лоуренса в Янбо. – Прибытие в Умм Ледж. – Уточнение плана. – Трения Лоуренса и Викери 356
Глава LXIV. Аджейли. – Снова Ньюкомб. – Привалы в Семне и Абу Зерейбате. – Шериф Назир. – Новые сторонники. – Отставание от плана. – Вступление в Вэджх. – Неисчислимое 360
Глава LXV. Итоги взятия Вэджха. – Укрепление политической основы. – Труды Фейсала. – Намерение Бремона. – Жизнь в Вэджхе 367
Глава LXVI. Неожиданные перемены. – Путь Лоуренса в Вади Аис. – Вход в тупик 371

Иллюстрации 375
Примечания 393

Cover: a statue of Jesus Christ near the Cathedral Basilica of St. Francis Xavier in Grodno (Belarus)

© Ольга Кавецкая, текст, оформление, макет, 2018 г.

All rights reserved. No part of this work may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the author.